ЛЕВ СЛАВИН

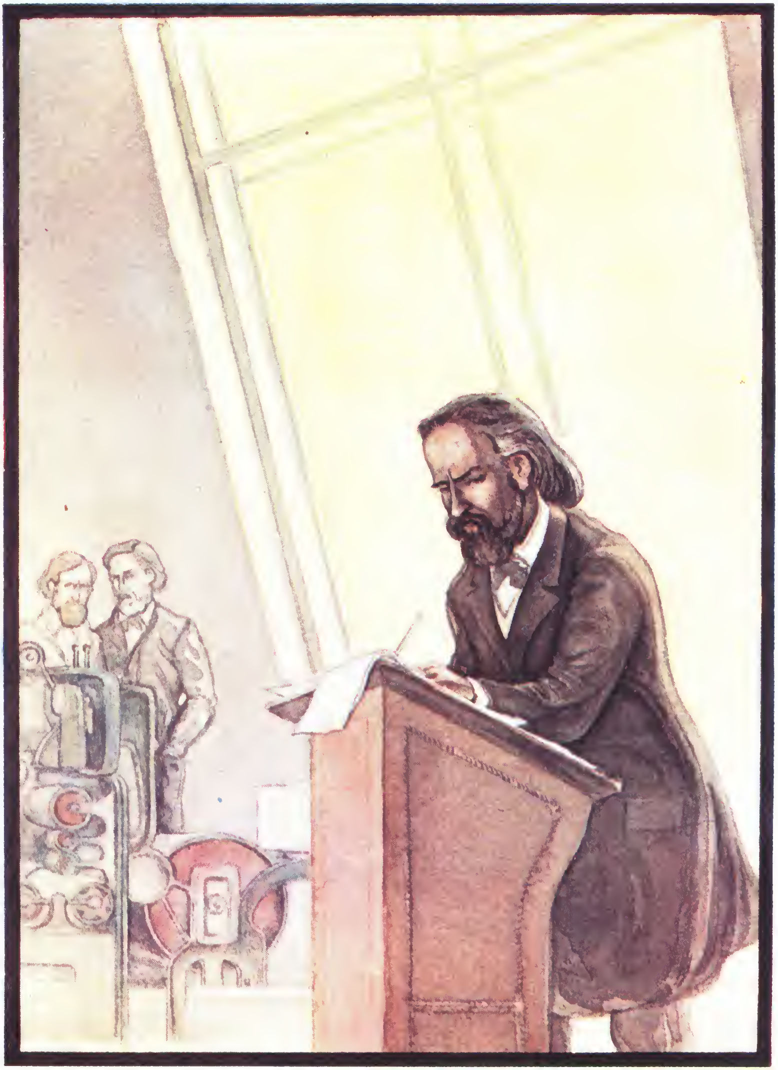
# УДАРИВШИЙ В КОЛОКОЛ

Диме
в день рож-
дения
27.8.83.

10 лет

ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

# АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН



ЛЕВ СЛАВИН

# УДАРИВШИЙ В КОЛОКОЛ

**Повесть об Александре Герцене**

*Издание второе*

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1983

Р2
С47

Творчество Льва Славина широко известно советскому и зарубежному читателю. Более чем за полувековую литературную деятельность им написано несколько романов, повестей, киносценариев, пьес, много рассказов и очерков. В разное время Л. Славиным опубликованы воспоминания, посвященные И. Бабелю, А. Платонову, Э. Багрицкому, Ю. Олеше, Вс. Иванову, М. Светлову.

В серии «Пламенные революционеры» изданы повести Л. Славина «За нашу и вашу свободу» (1968 г.) — о Ярославе Домбровском и «Неистовый» (1973 г.) — о Виссарионе Белинском. Его новая книга посвящена великому русскому мыслителю, писателю и революционеру Александру Герцену. Автор показывает своего героя в сложном переплетении жизненных, политических и литературных коллизий, раскрывает широчайший круг личных, идейных связей и контактов Герцена в среде русской и международной демократии.

Повесть, изданная впервые в 1979 г., получила положительные отклики читателей и прессы и выходит вторым изданием.

С $\frac{0505010000-066}{079(02)-83}$ 269—83

© ПОЛИТИЗДАТ, 1979 г.

## *Дело у Синего моста*

...Не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством...

ГОГОЛЬ

«...Написавши такое письмо, я всякий раз делаюсь болен,— усталь, дрожь, бессилие и волнение. Вероятно, это то самое чувство, которое испытывают публичные женщины, первые раза продавая себя за деньги — хотя и защищаясь нуждой etc. Полного отпущения сознательному греху нет. Человек чувствует себя запятнанным. Да может, я этим спасу свою индивидуальность...»

Он отшвырнул перо с досадой, чувствуя, что хитрит, что начинается ложь. Он поймал себя на этом. Довольно того, что он изгиляется во лжи перед ними. Но корчить из себя непризнанного гения с глазу на глаз с лучшим, довереннейшим другом, каким он считал свой дневник!

Герцен схватил перо с ожесточением, роняя кляксы, писал:

«...Да нужна ли индивидуальность моя для чего б то ни было, или нужна ли на что-нибудь индивидуальность, спасаемая таким образом? Где же внутренняя жизнь, если человек не может покориться обстоятельствам, как бы они скверны ни были, с гордым сознанием правоты?»

Перо не поспевало за мыслями. Герцен откинулся в кресле. Он вспомнил двух людей, которыми восхищается всю жизнь. Очень разных. Даже противоположных. Что из того, что они не из жизни, а из трагедии Гёте, от этого

в них не меньше плоти и крови, чем в старом юноше Коле Кетчере, с которым так славно пьется шампанское, или в Нике Огареве, юном старце, который близок Герцену не менее, чем Наташа или даже, пожалуй, вот этот дневник?

Приникнув к бумаге, он писал поспешно, чтобы не отстать от убегающей мысли:

«Эгмонт и Оранский! Эгмонт рыцарской доблестью купил плаху. Но надо быть Оранским, чтобы стяжать право поступать, как он. Спасая себя хитрыми уступками, он спасал страну. А я — спасая себя? Но неужели моя жизнь кончена...»

Перо повисло над бумагой как бы в некотором колебании. Герцен встал и прошелся по комнате в любимой своей позе — руки в карманах, голова откинута назад. Это сообщает его осанке вид непокорный, задиристый, что, впрочем, нимало не согласуется с его открытым, общительным нравом.

Взгляд серо-голубых глаз, всегда энергичный и проницательный, сейчас печален и блуждает задумчиво в потолке, тонущем во мраке. В уголках полного рта гнездится насмешливая улыбка, в ней — горечь.

Сейчас, когда он медленно шагает по комнате и виден во весь рост, так понятно, что слово «коренастый» происходит от слова «корень». Да, есть в Герцене что-то устойчивое, цельное, даже кряжистое, с чем, впрочем, не спорит живость его движений. Когда он нетерпеливо, как бы желая смахнуть досадливые мысли, проводит по лбу рукой, она поражает изяществом почти женским.

Он и похож на мать, в нее лицом, широким, округлым, приветливым,— отнюдь не в отца с его сухой, продолговатой, долгоносой, уныло-скептической, желчной физиономией. Близости с отцом никакой. А какая душевная близость возможна с этим себялюбцем, окоченевшим в старческом эгоизме? Да своего пса Роберта он уважает больше, чем людей! Все же изредка, выполняя сыновний долг, са-

дится Герцен за бюро и выжимает из себя письмецо. Чёрт догадал его втиснуть в одно из писем эту столичную сплетню! Из-за нее все и обернулось так ужасно!

Герцен резко шагнул к столу и решительными взмахами пера приписал в дневнике:

«Я не могу долго пробыть в моем положении, я задохнусь, и как бы ни вынырнуть — вынырнуть!..»

Псковский купец Иннокентий Картузов заключил в Петербурге выгодную сделку на поставку большой партии льна. Деловой разговор завершился в ресторации. Уже была ночь, когда Картузов возвращался в номера, отвергнув спутников, ибо пребывал в том блаженном бесстрашии, которое наступает после щедрого принятия бодрящих напитков.

Однако, достигнув середины пустынного плаца, он ощутил некоторое беспокойство. Когда он только вступал на него, эти темные безлюдные просторы еще не пугали его. Он даже хорохорился: «Вот я вас!» Кого это, собственно, «вас»? Сейчас на Картузове новая шуба на бобрах, а в заднем кармане сюртука приятно оттопыривается изрядная кипка ассигнаций. Тут ему случилось споткнуться, с правой ноги слетела теплая калоша. Картузов в сердцах чертыхнулся, и в пустынной площади его голос отдался протяжным эхом. Картузову стало как-то не по себе. Он трезвел. Он не стал искать калошу, а как мог быстро зашагал к огоньку, мигавшему на дальнем конце плаца. Он почти бежал, ветер смел снег с мостовой, и нога без калоши клацала о гранит, и этот звук в безмолвии ночи почему-то пугал еще больше.

У будки стоял будочник с алебардой в руке, плюгавый мужичок в непомерно широкой собачьей дохе и в фуражке с высокой тульей. Он смотрел на Картузова со странным напряжением, как бы оценивая, к чему он пригоден.

Купец принялся протискиваться в будку. Вдруг будочник сорвал с Картузова шапку. Картузов и удивиться не успел — страшный удар в голову сразил его.

Через два дня тело его всплыло в большом разводье недалеко от слияния канала с рекой. Нашли калошу в снегу, а в самой будке — часовую цепочку, оброненную душегубом. Схватили будочника. В Градской тюрьме у Поцелуева моста на допросе с пристрастием будочник сознался, что Картузов был его шестой жертвой.

Об этом зашептались во всем Петербурге, не только на базарах, но и в казенных присутствиях, заговорили даже в дворцовых покоях, но всюду шепотком и обязательно с глазу на глаз.

Как раз в эти дни Герцен отправил отцу письмо, где среди других сообщений описал убийство у Синего моста, присовокупив сентенцию: «По этому вы можете судить, какова здесь полиция».

Эта роковая фраза дорого обошлась Герцену. Какова полиция, он узнал очень скоро: в его случае она сработала оперативно. Письмо его было вскрыто в «черном кабинете» почтамта. А сам он незамедлительно препровожден в III отделение канцелярии его императорского величества. Здесь ему было объявлено, что он разносит слухи, пятнающие наше белоснежное правительство. А вечером жандарм сволок его к генералу Дубельту, который сообщил ему, что в России управление отеческое и что по его делу есть высочайшая резолюция государя, ее г. Герцен сподобится услышать из уст самого шефа жандармов генерала Бенкендорфа, существа ангельской доброты. Генерал Бенкендорф, стоя и при всех орденах, объявил Герцену:

— До сведения государя императора дошло, что вы участвуете в распространении вредных слухов для правительства. Его величество, видя, как мало вы исправились, изволил приказать вас отправить обратно в Вятку.

Герцен не хотел покоряться обстоятельствам. Он хотел преодолеть их. Но какой ценой? Как ни мала она, эта цена,— несколько самооправдательных слов в письме в высокие сферы,— даже эта малость далась ему с трудом и вызвала жгучие нравственные мучения. Кого просить — венчанного палача? Кнутобойское правительство? И все же он подал власть имущим письмо с просьбой об отставке, которое было, в сущности, замаскированной просьбой о смягчении приговора.

Даже от Наташи в пору самой большой в нее влюбленности Герцен не ждал ответа с большим волнением, чем от III отделения по поводу своих хлопот с упованием на монаршее милосердие.

Он записал в дневнике:

«Тридцать лет! Половина жизни. Двенадцать лет ребячества, четыре школьничества, шесть юности и восемь лет гонений, преследований, ссылок...»

## *Ребяческий сон души*

— Какой крикун! — сказал Иван Алексеевич, глядя возмущенно на младенца, оравшего во всю мочь легких.

Иван Алексеевич не выносил ничего резкого, хватающего через край. В крике новорожденного сына он усмотрел несдержанность, едва ли не дурной тон.

Брат его, Лев Алексеевич Яковлев, бывший посланник в Вестфалии, камергер двора и сенатор, молвил с такой важностью, словно он выступал на чрезвычайном заседании в Опекунском совете, коего был непременным членом:

— Вырастет — поутихнет.

Иван Алексеевич, скептик по натуре, обронил фразу, не подозревая о ее пророческом значении:

— Поутихнет ли? Ты уверен в этом?

Дальнейший разговор между братьями протекал не-

сколько принужденно: материя уж очень тонкая. Как ни странно, Лев Алексеевич настаивал на том, чтобы Иван Алексеевич женился на матери своего сына. Странность позиции Льва Алексеевича объяснится несколько позже. Разговор происходил по-русски, и мать, семнадцатилетняя немка Генриетта-Вильгельмина-Луиза Гааг, вывезенная Иваном Алексеевичем из Штутгарта, ничего не понимала.

— Разность религий,— буркнул Иван Алексеевич.

— Так ли уж трудно,— возразил камергер,— перейти ей в православие?

— Не вижу необходимости. Истинная взаимная привязанность не нуждается в матримониальных обрядностях.

— У вас сын! — воскликнул камергер.— Как он будет чувствовать себя в положении бастарда?! И потом — фамилия.

— Ах, фамилия...

Луиза с некоторым испугом смотрела на повздоривших пожилых мужчин. Она моложе Ивана Алексеевича почти на тридцать лет. Она прижала к себе младенца и шептала:

— Mein Herz! Mein Herz! [1]

Иван Алексеевич прислушался и сказал торжественно:

— Пусть мой сын всегда помнит, что он появился на свет не вследствие сватовства, холодной светской свадьбы или брака по расчету. А что он — дитя слияния сердец. В знак сего я даю ему фамилию Герцен.

Он принял ребенка осторожно из рук матери и сказал задумчиво и еле слышно:

— Кто знает? Быть может, он ее прославит...

Он приблизил к младенцу свое остроносое умное лицо, сейчас дышавшее нежностью, и тут же воскликнул:

---

[1] Сердце мое (*нем.*).

— Нянюшка! Ребенок сходил под себя!

Камергер засмеялся и сказал:

— Какая же это фамилия: Герцен...

Иван Алексеевич пристально посмотрел на него, отер рукав и сказал, отчеканивая каждое слово:

— Во всяком случае в ней больше вкуса, чем в фамилии Львицкий.

Лев Алексеевич смутился и быстро вышел.

Причина столь поспешной ретирады в том, что Лев Алексеевич сам жил с крепостными девушками, ждал от них детей и приготовил незаконнорожденным фамилию Львицкие.

Вообще, куда ни посмотришь, кругом бастарды. В этом же доме — зачем далеко ходить? — у Ивана Алексеевича еще один сын, девятилетний Егор, прижитый от крепостной. Через пять лет у другого брата Александра Алексеевича родится Наташа, или, как все ее будут звать на французский лад, Натали, от крепостной крестьянки Аксиньи Захарьиной. В семье их хороших знакомых Астраковых в скором времени появится на свет Танюша — внебрачная дочь хозяина и крепостной девушки, домашней служанки. А если перенестись из дома Яковлевых хотя бы в область изящной словесности, то там мы обнаруживаем, к примеру, стихотворца Пнина Ивана Петровича, плод любви князя Репнина и безвестной крестьянки, «полубарыни», как впоследствии называл Герцен в романе «Кто виноват?» этих барских любовниц. Перу Пнина, кстати, принадлежит трактат о побочных детях «Вопль невинности, отвергаемой законом». Известный поэт Александр Полежаев, нашумевший своими дозволенными и потаенными стихами,— сын пензенского помещика Струйского и его крепостной девки Аграфены. Да и сам прославленный наш поэт Василий Андреевич Жуковский — незаконнорожденный сын тульского помещика Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальхи, от которой автор

«Певца во стане русских воинов» унаследовал томные глаза с поволокой. В жилах многих аристократов текла мужицкая кровь. Что ж, это только улучшало породу...

Саше Герцену четырнадцать лет, Ник Огарев не намного моложе. Мальчики в сопровождении гувернера Карла Ивановича Зонненберга пришли в Колонный зал Благородного собрания, что на углу Охотного ряда и Большой Дмитровки. Они вырядились в свои лучшие костюмы. В бархатных куртках с кружевными жабо они похожи на пажей. Они робко жмутся к стене, наблюдая пышную праздничную публику. Волшебно мерцают мраморные колонны, среди которых огромная сияющая елка.

Вдруг Саша замер. Ткнул под локоть Ника.

— Смотри!

Мимо проходил невысокий господин с характерно изогнутым носом и курчавой головой.

— Неужели это он? — прошептал Ник.

Мальчики не отводили глаз от Пушкина. В ту пору он был их богом. Саша вытвердил наизусть всю первую главу «Евгения Онегина». И не только ее, а также потаенные стихи Пушкина, ходившие в списках,— «Ода на свободу», «Кинжал», их тайком проносил в чопорный дом Яковлевых домашний учитель Протопопов.

— А кто это с ним? — спросил Саша, указывая на спутника Пушкина.

— Мне кажется,— сказал Ник неуверенно,— что это Баратынский.

— Ты чувствуешь, что мимо нас проходит слава России!

— Мне жаль...

— Чего? — удивился Саша.

— Я мог бы захватить свою тетрадь со стихами. Я бы передал их ему...

Саша промолчал. При всей привязанности к Нику он счел его намерение кощунством.

В том же году Саша и Ник дали свою знаменитую клятву на Воробьевых горах. В свете заходящего солнца, стоя в вышине над Москвой, мальчики поклялись посвятить свою жизнь борьбе за свободу. Эта клятва была чем-то несравненно большим, чем ребячьим взволнованным криком, чем мальчишеским восторженным порывом... «Вся наша жизнь,— впоследствии сказал зрелый Герцен,— была посильным исполнением отроческой программы».

## *У Никитских ворот*

Семнадцати лет Герцен — своекоштный студент физико-математического факультета Московского университета. Какая сила заставила его предпочесть естественные науки гуманитарным? Этой страстью его заразил двоюродный брат, ученый. Герцен никогда впоследствии не жалел об этом. От точных наук в немалой степени зависит зарождение его интересов к материалистической философии. И они же, несомненно, плодотворно повлияли на самый стиль его, точный и конкретный. «В математике,— говаривал Герцен,— мудрено отделываться кудрявыми фразами, алгебра неумолима».

В университете вокруг Герцена быстро сбилась компания. Он стал солнцем этого кружка, не прилагая к тому никаких усилий. Возле него сгруппировались астроном Савич, историки Сазонов и Пассек, филологи Сатин, Разнорядов, Ляин, примкнул и медик Кетчер. И конечно, Ник Огарев. Герцен поражал товарищей кипением ума, мгновенностью и меткостью реакций. И это отнюдь не в ущерб значительности суждений. Да, это был ослепительный, никогда не меркнувший огонь интеллекта.

С Герценом было интересно. Общительный по приро-

де, он сразу располагал людей к себе широтой и приветливостью нрава. Но и спорщик отчаянный. Состояние спора он вообще считал естественным.

— Ненавижу покорность в друзьях,— заявлял он, напоминая при этом, что слово «полемика» происходит от греческого слова polemos, что означает «война».

Но спорщик он был не во что бы то ни стало, не из любви к искусству, как, скажем, славянофил Хомяков, не для тренировки ума, а только в защиту того, что он считал истиной.

И в то же время в этом человеке изощренного ума и образованности, до того обширной, что она дала повод писателю Гончарову сказать о зрелом Герцене, что образованность его «достигает степени ученого»,— в то же время, по словам Кавелина, в натуре Герцена были некоторые «наивность и ребячество», которые делали его еще более обаятельным.

По-видимому, Кавелин имеет в виду непосредственность, открытость характера Герцена. Сам-то Константин Дмитриевич был человек расчетливый, осторожный, предусмотрительный, и душевная распахнутость Герцена не могла не поражать и даже восхищать его, может быть и против воли.

Собирались обычно у Огарева в его огромной квартире, совершенно пустой, благо отец, Платон Богданович, проживал почти безвыездно в своем пензенском имении Старое Акшено. Не обходилось без жженки. Великий мастер возжигания пунша был Коля Кетчер. Пока он священнодействовал над чашей, наполняя ее крепким араком, чаем, лимонами и сахаром, и пробки, по выражению Герцена, любившего иногда щегольнуть математическим термином, летели параболами, а Кетчер при этом что-то благоговейно шептал и дремучие брови его двигались как отдельные от него существа, во всех углах комнаты шумели споры.

Розовощекий, похожий на девушку Сатин, уже возбужденный пуншем, втолковывает Вадиму Пассеку, нимало не смущаясь тем, что тот в это время, так сказать, встречным монологом, объясняет Сатину, что не видит разницы между лицедействием и лицемерием.

— Наш театр велик Мочаловым,— говорит, не слушая его, Сатин.— У него душа, а у вашего столичного Каратыгина все ходульно, все подделка, все холодно, как сам Петербург.

Огарев поднял бокал и в своей тихой меланхолической манере провозгласил тост:

— Да здравствует заходящее солнце на Воробьевых горах!

Герцен подхватил:

— ...которое было восходящим солнцем нашей жизни!

Он поднял бокал, но, увидев, что это херес, отставил. От хереса у него неотвратимо двусторонняя мигрень. Зачерпнул из чаши пунша, сказав:

— Благородное шампанское не оставляет горьких упреков на утро.

Он отнюдь не чурался вина, особенно в доброй компании, но был привередлив, не любил бургундского и коньяка, говорил, что они так горячат, что можно опасаться апоплексического удара. Предпочитал бордо, но, разумеется, не московское, не «садово-каретных» лоз, как говорил он смеясь, а марки «Леовиль».

Валерий Разнорядов, щекастенький верткий словесник, недавно введенный в эту компанию неразборчивым в людях Сазоновым, торжественно открыл большую бонбоньерку с шоколадными конфетами. Он принес ее, прослышав, что Герцен — сластена.

Огарев долго крепился, наблюдая, с какой песьей умиленностью Разнорядов заглядывает в глаза Герцену. Потом взял Герцена под руку, чтобы отвести для конфиденциального сообщения. Но тот отмахнулся.

— Фамилия у вас занятная,— сказал Герцен, закладывая в рот конфету и с интересом вглядываясь в Разнорядова.

— Я, изволите видеть, из семинаристов. А там, знаете, подчас давали воспитанникам чудацкие фамилии.

— Да, но больше мифологические или античные, иногда библейские. Откуда все эти Беневоленские, Капернаумовы, Амфитеатровы? Забавлялись святые отцы в часы благочестивого безделья. А впрочем, образование давали основательное по части мертвых языков и русской стилистики. Но что разительнее всего — именно из этих рассадников благомыслия и верноподданничества выходили самые ярые отрицатели самодержавия и самые неистовые атеисты.

— Ох, как это верно! — воскликнул Разнорядов, с восхищением глядя на Герцена. И тут же вставил ласково: — А кто именно? Кого имеете в виду?

— Простите,— сказал Огарев, настойчиво оттягивая Герцена.— J'ai à te dire une nouvelle très importante[1].

Отведя Герцена, он прошептал:

— Ты с ума сошел, братец! Как можно так откровенно с первым встречным!

— Ты что-нибудь слышал про него? — спросил Герцен смущенно.

— Прямо нет. Но я наблюдал этого типа в кружке Белинского, куда он проник бог знает как. А вторично — на большом приеме у Уварова. У Белинского он не прочь поблистать либерализмом...

— Я тоже заметил, что он любит нравиться. Страстишка, в сущности, невинная.

— Не в этом дело. А в гостиной Уварова, там другой расклад, чиновный, там Разнорядов с такой же легкостью пускал в ход свои казенные свистелки.

---

[1] Мне нужно сказать тебе чрезвычайно важную вещь (*фр.*).

— Это другое дело. Это уже попахивает определенной специальностью. В чем ты прав, Ник, это в том, что в нашу компанию стали затесываться случайные люди. А все Сазонов. Кто, например, этот жирный малый, который разглагольствует с Кетчером?

— Я не знаю его фамилию, только кличку. Его прозвали Аяин.

— Что это значит?

— Видишь ли, все свои реплики он начинает словами: «А я...» Он с трудом дожидается, когда ты кончишь говорить,— я подозреваю, что он от нетерпения топочет ногами, чтобы заявить: «А я» — и далее что-нибудь о себе.

— Понимаю. Это от неосознанного ощущения своей недостаточности, от желания утвердить собственную личность.

— Кроме того, он заявил, что он идеалист, что не мешает ему быть практичным в самом низменном значении этого слова.

— Ник, ты иногда перегибаешь. Твоя мерка слишком узка. Я сам в нее влезаю, только ободрав бока до крови,— сказал Герцен, захохотав.

Подошел к Аяину; дотронулся до его плеча. Тот от неожиданности шарахнулся.

— Не бойтесь, я ведь не ем идеалистов. Вряд ли такая деликатная пища мне по нутру,— сказал Герцен притворно серьезным тоном.

Губастое лицо Аяина приняло важное выражение.

— А я,— сказал он,— считаю, что каждый мыслящий человек неизбежно должен прийти к идеализму.

«Эге, братец,— подумал Герцен, внимательно рассматривая Аяина,— да ты просто дурак...»

Аяин продолжал, значительно подчеркивая каждое слово:

— А я пришел к идеализму через спиритизм.

Он оглядел комнату и сказал:

— Мы могли и здесь сделать сеанс. Круглый стол есть, а мсье Разнорядов, мне кажется, потенциальный медиум.

Мсье Разнорядов приосанился:

— Охотно готов,— сказал он,— вызвать дух Рылеева, коего стихи, вероятно, наличествуют у уважаемого Николая Платоновича, поскольку он сам поэт, и даже дух Полежаева, хоть он и жив.

Герцен рассердился. Уж слишком грубо прет Разнорядов в интимную дружбу в поисках нелегальщины.

— У меня натура реальная,— сказал он холодно,— я родился совершенно земным человеком. От моих рук не вертятся столы, и от моего взгляда не качаются кольца. Дневной свет мысли мне роднее лунного освещения фантазии.

Он повернулся к ним спиной. Они оба надоели ему — и самовлюбленный дурак Аяин, и профессиональный проныра Разнорядов. Шепнул Огареву:

— Знаешь что, Ник? Ускользнем!

— Сейчас?

— Да! Пойдем шататься по Москве. Хочется движения, хочется, чтоб над головой был не потолок, а небо.

Они незаметно вышли на улицу. Короткая летняя ночь кончалась. Пока они шли от Никитских ворот до Арбатской площади, рассвело. Но утренняя звезда еще не ушла, пылала драгоценным огнем. Они спустились к реке, стали на Каменном мосту. Говорить не хотелось. Кремль постепенно превращался из воздушного силуэта на бледнеющем небе в тяжеловесную крепостную массу, давящую своей громадой.

Очарование исчезало. Герцену вспомнился тот жаркий августовский день, когда он, четырнадцатилетний, стоял здесь же, у Кремля, и наблюдал коронацию Николая I. Месяц с небольшим прошел тогда после удушения пяти декабристов на кронверке Петропавловской крепости. Саша едва сдерживал слезы негодования, наблюдая тор-

жество венчанного палача. Он тут же мысленно поклялся мстить российскому трону, отдать этому жизнь...

Огарев глянул на Сашу, увидел на его лице следы внутренней бури. Провел ласково рукой по его плечу. Герцен словно очнулся.

— Давеча мы с тобой говорили об этом типе Разнорядове,— сказал он.— Друг мой, мы встречаем эту породу на каждом шагу. Знаешь ли, у меня есть примета: не вступать в разговор с незнакомым в публичных местах, особенно если он сам его начнет. Такой человек почти наверняка из породы слушателей на жалованьи. Кстати, знаешь ли ты Висковатова?

— Не из пишущих ли?

— Он самый. Степан Иванович. Каждый из нас может, ничего не подозревая, пожать ему руку.

— Значит, и он...

— А вот послушай. Один чиновник, тайно мне сочувствующий, списал для моего сведения донос Висковатова. Он еще близок к тем незабываемым дням. Его дата: 18 июля 1826 года.

— То есть примерно через пять дней после казни наших мучеников?

— В этом все дело. Фон Фок, управляющий III отделением, отрядил Висковатова для подслушивания, какие идут в народе толки о расправе с декабристами. Вот что доносчик сообщал, передаю дословно, ты знаешь мою память: «О казни и вообще о наказаниях преступников в простом народе и в особенности в большей части дворовых людей и между кантонистами слышны такие для безопасности империи вредные выражения: начали бар вешать и ссылать на каторгу, жаль, что всех не перевешали, да хоть бы одного кнутом отодрали и с нами поровняли; да долго ль, коротко ль, им не миновать этого».

— Щегольски завернуто.

— О, этот гнусняк тщательно отделывает свои доносы.

Он же, кстати, и провокатор, то есть сам вовлекает в вольные речи.

— Но вот насчет кантонистов он перехватил. Среди них много евреев, а эта нация известна своей строптивостью. А где он печатается?

— Воейков тиснул в своих «Новостях литературы» его оду под вдохновенным названием «Его Императорскому Величеству Государю Императору Николаю Павловичу Самодержцу Всероссийскому». Вот несколько перлов из нее, которые удержала моя беспощадная память:

Монарх! Забудь сих жертв Геенны!
Россияне прямые — верны:
Привыкли обожать царей!

А Воейков, этот пройдоха и шантажист, снабдил эти верноподданнические помои примечанием: «Сочинитель имел счастие получить высочайшее благоволение Его Императорского Величества и всемилостивейшее вознаграждение бриллиантовым перстнем». Хорош?

— Да ведь поговаривают, что и Воейков...

— Причастен к III отделению? Еще бы! Так же как малопочтенная литераторша Екатерина Пучкова. О Булгарине уж и не говорю.

— Воейков, кажется, родственник очень порядочного человека.

— Жуковского, что не мешало ему разразиться эпиграммой:

Державин спит в сырой могиле;
Жуковский пишет чепуху;
И уж Крылов теперь не в силе
Сварить «Демьянову уху».

Зависть в нем клокочет. Злобен, как бешеная собака. Ты его не видел? Ничего не потерял. Все пороки написаны на его лице, очень уж дурен, изможден, как все запойные пьяницы, к тому ж хром, гунняв.

— Друг мой, оставим это,— сказал Огарев,— пусть они разлагаются и смердят среди своих привилегий. Заткнем носы и отвернемся. Нам предстоят большие дела.

— Но мы не готовы,— крикнул Герцен, и к тонкой матовой коже его лица прихлынула кровь.— Ни ты, Ник, ни Сатин, ни Сазонов, ни Кетчер, ни я — никто из нас не достиг интеллектуального совершеннолетия. Мы — философы в подростковом возрасте. Все, что мы пишем, неполно, неразвито, шатко. Нам надо закалить наш меч и выучиться владеть им!

## *Добрые мечтания*

Он пошел дальше Гегеля, к материализму, вслед за Фейербахом.

*ЛЕНИН*

Ученики Фурье и Сен-Симона —
Мы поклялись, что посвятим всю жизнь
Народу и его освобожденью,
Основою положим социализм.

Так писал тяжеловесно, но искренне Огарев. Он шел по пятам за Герценом. Иногда вырывался вперед и попадал в тупик, который впоследствии через много лет окажется безысходным, когда Огарев примкнет к Бакунину и Нечаеву.

Веку было тридцать лет. Герцену — восемнадцать. Он был полон смутных стремлений. Он жаждал воевать за свободу, рушить деспотизм. Но как? В этом году во Франции вспыхнула и погасла Июльская революция. Глубокое разочарование овладевает юношей. Сливки с революции сняла буржуазия. Политическая свобода ничего не стоит без социальной свободы, политическое равенство — без со-

циального. Тогда-то Герцен погружается в социалистические учения со всей юношеской неудержимостью своего страстного темперамента.

В учении Сен-Симона, в его «Письмах гражданина Женевы к современникам» он увидел больше чувства, чем политики. Его не отпугивали религиозные моменты сенсимонизма, ибо Герцен в ту пору не отрицал практической нравственности христианства, особенно раннего.

Правда, до увлечения сенсимонизмом Герцен исповедовал веру в Великую французскую революцию 1789 года и в наш русский декабризм. Но впоследствии разглядел, что революция восемьдесят девятого года при всем своем величии только разрушала, а сенсимонизм призывает к созиданию. И хотя Герцен всю жизнь преклонялся перед героями и мучениками 25 декабря, он понимал, что движение, в которое не вовлечен народ, обречено на провал.

Да, конечно, сенсимонизм — за освобождение рабочего класса, уничтожение нищеты, плановое руководство промышленностью, но в то же время — никакой революции, безмятежное примирение классов. Это был мечтательный социализм. Принято называть его утопическим. Он сменил в сознании Герцена «последекабрьский» либерализм ребячьих лет.

Ну, а Фурье? Этот бог нескольких поколений революционеров? Герцен познакомился с его учением, прочтя статью Трансона в «Revue Encyclopédique»[1]. Произошло это в 1833 году, а статья появилась в февральском номере за 1832 год.

— Год пропал! — воскликнул Герцен с досадой.

Фурье пленял его не только новизной и смелостью мысли, но и самим способом изложения. Фурье остроумен. Чего стоит одно только его блестящее положение: «В цивилизации бедность порождается самим избытком»! А опи-

[1] «Энциклопедическое обозрение» *(фр.)*.

сывая буржуазное общество, Фурье достигает сатирической силы Свифта и Рабле. Однако иногда и мельчит. Это когда он ударяется в психологию. Он взрезает душу человека. Он находит в ней двенадцать страстей. Он перечисляет их в своем сочинении «Теория четырех движений и всеобщих судеб». Это — осязание и честолюбие, обоняние и страсть к интриге, зрение и чувство отцовства и так далее. Он призывает объединяться в социалистические коммуны — фаланстеры. Они возродят павшего ангела, то есть человечество.

В этих фаланстерах — Фурье был увлечен точным бухгалтерским исчислением — $^{5}/_{12}$ доходов фаланстера за труд, $^{3}/_{12}$ за талант. Как видите, в знаменателях этих дробей та же дюжина страстей. Все затруднения человек будет преодолевать своей гордостью.

Фурье тоже против революции. Он обращается к капиталистам за денежной поддержкой для организации социалистического общества. За это он обещает им нетрудовой доход — $^{4}/_{12}$ от доходов фаланстеры. И этот умный человек всю жизнь ждал, ослепленный собственной теорией, что вот сегодня — и именно почему-то в полдень — откроется дверь его квартиры и войдет миллионер, который, умиленно улыбаясь, отдаст ему свое огромное состояние для построения социалистического общества по модели Фурье.

Нет такой идеи, которая не увлекла бы какое-то количество людей. Проницательный, реалистический гений Герцена, склонный подмечать все смешное и нелепое, не остался безучастным к некоторым сторонам учения Фурье. Герцен замечает в своем дневнике: «У Фурье убийственная прозаичность, жалкие мелочи и подробности, поставленные на колоссальном основании».

Пожалуй, если не длительнее, то глубже всего владел помыслами Герцена англичанин Роберт Оуэн. Самый образ его завораживал Герцена. Насаждавшиеся Оуэном социалистические общины, ячейки будущего общества, выгляде-

ли привлекательнее монастырски-бухгалтерских фаланстеров Фурье. Увлечение Герцена личностью Оуэна долго не проходило. В конце концов уже в зрелые лета Герцен написал о нем этюд. Блестящий! Лев Толстой восхищался им. И все же в Оуэне, как и в Сен-Симоне и Фурье, было что-то просветительское. Как и они, Оуэн был против революции и за добровольное примирение классов. Он даже в благотворительном ослеплении своем обращался со своими филантропическими затеями к Николаю I и Луи-Филиппу. Явное огорчение по поводу заблуждений благородного человека чувствуется в словах Герцена:

«И Роберт Оуэн звал людей семьдесят лет кряду и тоже без всякой пользы».

Герцен тогда точно нащупал основное заблуждение Оуэна. Он называет его «ошибкой любви и нетерпения, в которую впадали все преобразователи и предтечи переворотов — от Иисуса Христа до Томаса Мюнстера, Сен-Симона и Фурье».

И все же, когда в 1852 году Герцен лично познакомился с Оуэном, он испытал чувство, близкое к благоговению.

«...Если б я был моложе,— вспоминает он об этом волнующем моменте,— я бы стал, может, на колени и просил бы старика возложить на меня руки».

Роберту Оуэну было в ту пору восемьдесят один год. Герцену — сорок.

Но никогда ни о Сен-Симоне, ни о Фурье, ни даже о своем любимце Оуэне не говорил Герцен так, как о Гегеле:

«Дочитал вторую часть Гегелевой «Энциклопедии»... гениальные мысли, заставляющие трепетать, поразительные простотою, поэзией и глубиной, рассеяны везде».

В те годы, раньше и позже, были распространены насмешки над тяжеловесностью языка Гегеля. Они достигли даже театральной сцены. В водевиле, например, «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» высмеивалась, конеч-

но, не сама гегелевская философия — на такие теоретические высоты водевиль не посягал,— но своеобразная терминология. Между прочим, Герцен предполагал, что философия Гегеля — эта, как он ее называл, алгебра революции — намеренно дурно формулирована, то есть как бы зашифрована.

Сам Герцен пишет о ней своим несравненным точным и образным языком, сообщающим философским утверждениям силу и блеск художественного произведения:

«...Всякое положение отрицается в пользу высшего... только в преемственной последовательности этих положений, борений и снятий проторгается живая истина... это ее змеиные шкуры, из которых она выходит свободнее и свободнее».

Гегель не был для Герцена одной из модных новинок европейской мысли. И философия — лишь университетским предметом. Он говорил о Гегеле, придавая звучным своим голосом особую выразительность словам:

— Пространствовать феноменологию духа, исходить горячею кровью сердца, горькими слезами очей, худеть от скептицизма, жалеть, любить многое, много любить и все отдать истине — такова лирическая поэма воспитания в науку.

Однако Герцен вовсе не лежал в прахе у ног Гегеля и не расшибал себе лоб в гегельянском экстазе. Его, например, не устраивали, а по живости его натуры просто бесили отступления Гегеля в идеализм. И когда Гегель пишет: «...лишь идея существует вечно, потому что она есть в себе и для себя бытие... во времени природа является первым, но абсолютным prius'ом... тот абсолютный prius[1] есть последнее абсолютное начало, альфа есть омега», то Герцен взрывается бурным протестом:

— А я так начинаю с Гегелем ссориться, что он на все натягивает идеализм.

[1] — прежде, сначала, раньше *(лат.)*.

## *Кучка бессильных*

> ...Состояние совершенного бесправия, горячечное состояние какой-нибудь Испании, например, по крайней мере заставляет прощать бесправие в вихре, в борьбе партий, в взаимной опасности; а здесь отобрали кучку бессильных и бьют их, сколько душе угодно, опираясь на огромную кучу оторопелых или слабоумных.
>
> *ГЕРЦЕН*

Но довольно колобродить по немецкой философии. Приглядимся попристальнее к этим молодым людям.

Даже самой одеждой они старались выразить протест против тирании самодержавия: трехцветный шарф — цвета́ французской республики, черный бархатный берет — в подражание иенскому студенту Карлу Людвигу Занду, заколовшему кинжалом литератора, а по совместительству секретного царского агента Августа Коцебу.

Однажды небольшая компания, не герценовская, совсем другая, собралась на вечеринку у братьев, носивших странную фамилию Скаретка. Друзья — там был поэт Соколовский, художник Сорокин, отставной офицер Ибаев, чиновник Уткин — удивились тому, что на столе необычно много вина. Один из братьев, отставной поручик Иван Скаретка, объяснил, что сегодня высокоторжественный день его ангела, то есть, попросту говоря, именины. Друзья не знали, что вино куплено на деньги, отпущенные для этой цели полицией, и что в комнате за ширмой притаился сам московский обер-полицмейстер Цынский. Провокация удалась. Когда друзья, основательно нагрузившись, затянули песню, сочиненную Уткиным:

Боже! Коль силен еси,
Всех царей во прах меси...

Из-за ширмы вышел обер-полицмейстер, и друзей немедленно подмели. Пошли обыски. У Соколовского нашли письма Сатина, у Сатина — письма Огарева, у Огарева — письма Герцена.

На следующий день после этого полицейского спектакля Герцена разбудил камердинер Огарева. Спросонья Александр не сразу сообразил, где он, как сюда попал камердинер Огарева и что он говорит. Через минуту все понял: Огарева взяли. Почему? Вот этого он не понимал. Впрочем, в эту пору повышенной подозрительности могли укатать человека просто за вольные разговоры. А уж их-то ни Ник, ни Александр никак не чурались.

Однако не в натуре Герцена было оставаться бездеятельным. Надо выручать Ника. О себе он не думал. Первая мысль — обратиться к отцу. У старика Яковлева должны были сохраниться могучие связи в сферах. Но ведь отец все и всех презирает. Хотя Ника он и признает как родственника, но и к нему относится пренебрежительно, так же как — и это главное — к высоким сферам.

Тут Герцену пришло в голову: а не обратиться ли к Зубкову? Все же он бывший декабрист, правда, из мало прикосновенных и горячо покаявшихся. Но все-таки чуточку отсидел в Петропавловке. А сейчас хоть и щеголяет либерализмом в узкой компании, однако состоит при московском генерал-губернаторе Голицыне и, говорят, у него в большой милости. А к Герцену благоволит.

Решено! Герцен мчится к Зубкову за Воронцовское поле. Узнав, что Огарев взят, этот вольнодумец изменился в лице и наотрез отказался хлопотать перед генерал-губернатором. Не дослушав его благоразумных советов вести себя потише, Герцен выбежал из его дома, поклявшись, что больше ноги его там не будет.

Он решил толкнуться к дяде Льву Алексеевичу, камергеру двора и сенатору, разжалобить его, черт побери! В конце концов есть у него сердце или нет!

Александр вернулся домой и застал Льва Алексеевича и своего отца за интересным занятием. Они рылись в его книгах, что-то отбрасывали, Сен-Симона например, даже «Девственницу» Вольтера, причем опасались поручать слугам относить книги в коляску, а сами делали это. Умилительное зрелище являли собой эти два высокопочтенных старца, таскавших охапки книг в коляску!

Тут только Саша понял: ждут его ареста... Это показалось ему до того нелепым, что он рассмеялся. А впрочем...

Ему подали письмо, полученное в его отсутствие: Михаил Федорович Орлов звал его сегодня к обеду. «Будут Чаадаев и Николай Раевский»,— приписал он.

Это, конечно, само по себе заманчиво, особенно Чаадаев, с которым Саша давно мечтал познакомиться. Но главное, не может ли Орлов выручить Ника? Хотя сам он сейчас не у дел, даже в опале, но ведь брат его, Алексей Федорович,— ближайшее лицо к царю. Он и вымолил у царя прощение Михаилу. Он выбрал для этого удачный момент, когда царь шел в дворцовую церковь приобщиться святых тайн, пребывая в некотором размягченном состоянии. Царь потом жалел о своей минутной слабости, молвив как-то сокрушенно: «Михаила Орлова следовало повесить первым...» Он так бы и сделал, не посмотрев, что Михаил Орлов — герой Отечественной войны и его войскам капитулировал Париж. Царь никогда не забывал признания Сергея Трубецкого, намеченного декабристами в диктаторы и устрашенного властолюбием Пестеля: «Его должно заменить Орловым...»

Итак, решено: к Орлову!

Приоделся. Сделал это тщательно, расстался с вольностями в одежде: долой берет и трехцветный шарф. Он знал, что Чаадаев большой модник и придерживается строгого вкуса в костюме. Саша не хотел первым же впечатлением

отвратить его. Извозчика не взял, понесся едва ли не вприпрыжку — Пречистенка рукой подать.

За столом Герцен самый юный, ему ведь только двадцать два. Орлов — богатырь по сложению и с лицом античного героя — старше более чем вдвое. Чаадаеву пошел пятый десяток. Моложе их Николай Раевский, ну, и сестра его, жена Орлова Екатерина Николаевна, из-за твердости своего характера прозванная «Марфой-Посадницей». Герцен тогда еще не мог знать, что Екатерина Николаевна послужила Пушкину моделью для образа Марины Мнишек в «Борисе Годунове». Только много лет спустя кто-то, читавший письмо Пушкина к Вяземскому, процитировал оттуда строчку, написанную с фамильярностью, которую Пушкин иногда допускал по отношению к своим героям: «Моя Марина славная баба: настоящая Екатерина Орлова! Знаешь ее? Не говори, однако ж, этого никому».

Имя Пушкина часто поминалось за столом. Все Раевские — его друзья. Николаю он посвятил «Андре Шенье» и «Кавказского пленника». Послания к Чаадаеву всем известны. Герцен мысленно повторял: «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» Совсем неробкий по природе (скорее напротив), Герцен сейчас робел Чаадаева, рассердился на себя за это и заставил себя обратиться к Чаадаеву со смелым вопросом:

— Не собираетесь ли вы публиковать что-нибудь?

Чаадаев, нисколько не изменяя скульптурной застылости лица, ответил отнюдь не надменно, попросту — бесстрастно:

— Я ничего не печатаю.

После небольшой паузы:

— Хотя много пишу.

Только Герцен, пустившийся во все тяжкие, собирался спросить, что, собственно, пишет Чаадаев, как тот сказал:

— Впрочем, в «Телескопе» я поместил рассуждение об архитектуре.

Он прибавил, слегка вздохнув:

— Но тому уже два года...

— Как же я не заметил! — воскликнул Раевский.

— Я его не подписал...

Орлов поднялся во весь свой огромный рост и собственноручно зажег свечи в большой люстре над столом. В этом доме предпочитали обходиться без слуг в иные моменты, в частности когда здесь бывали Чаадаев и Раевский,— поменьше посторонних ушей. Свет зазмеился по голому цилиндрическому черепу Чаадаева и столь же голому куполу шарообразной головы Орлова, лишь на висках опушенной черными с проседью кудрями.

— В каком же жанре то, что вы пишете сейчас? — не угомонялся Герцен.

Екатерина Николаевна посмотрела на него с некоторым упреком.

Но Чаадаев ответил просто:

— По-прежнему в эпистолярном.

И помолчав немного, продолжал:

— Вообразите молодую женщину, которая вдруг почувствовала пустоту своей жизни. И вот под влиянием автора обращенного к ней письма она начинает искать более осмысленное существование.

Внезапно он прервал себя:

— Я не вижу причины скрывать в данном обществе, кто это. Вы, может быть, знаете писателя Александра Дмитриевича Улыбышева, пишущего преимущественно о музыке? Это его сестра, Панова, моя соседка по имению. Цель моя — вырвать ее из рабской атмосферы крепостничества. Но в письмах к ней я не удерживался в пределах только этих советов, а доводил их до уровня своего рода сочинения о России и о ее роли в мировом историческом процессе. Вероятно, Карамзин остался бы недоволен моим взглядом на Россию. Почему? Да потому, что полвека назад были найдены летописи. Опираясь на них, Карамзин

возвышенным стилем описал подвиги русских государей. А вслед за ним бездарные писатели, невежественные ученые и неудачливые поэты, не обладающие эрудицией немцев и пером Карамзина, с большим апломбом искаженно воспроизводят эпохи и нравы, забытые давно и справедливо. Как же можно из этих ничтожных усилий извлечь серьезное предвидение судьбы, ожидающей Россию?

— А вы-то сами в чем ее видите? — спросил Герцен голосом, срывающимся от волнения, так потрясли его слова Чаадаева.

— В отрыве от растленной Византии,— ответил Чаадаев своим мягким и непреложным голосом,— и в приобщении к великим духовным движениям Запада. Обо всем этом трудно говорить в случайной беседе за столом.

Он повернулся к Орлову:

— Ведь я и тебе писал письмо, Михаил Федорович, где я излагал свои мечты о великих идеалах России и человечества. Ответа не ждал, да и не жду, хотя твоя речь в Киевском отделении библейского общества о пользе образования до сих пор памятна. Вяземский сказал, что у тебя перо, очиненное шпагой. Сейчас же скажу тебе только, что России будет дарована милость последних и чудесных вдохновений.

Слова эти при всей их недоговоренности волновали Герцена. Его чаровал этот оригинальный полет мысли. В то же время у него возникали вопросы, хотелось кой-чему возражать, развивать свои соображения.

Нет, он не робел. Другое. Он сидел как на иголках. Мысль об Огареве не давала ему покоя. А время идет. Улучив минуту, он шепнул Орлову, что хотел бы с ним поговорить.

— А впрочем,— тут же сказал он громко,— в этом нет никакой тайны: Огарев арестован. Без всякой видимой причины!

— Что вы хотите,— сказал Чаадаев, усмехнувшись,— наше внутреннее правление — это система злодеев, соединенных тесно.

Орлов, конечно, откликнулся немедленно и написал письмо генерал-губернатору. Ответ последовал на другой день. Огарев замешан в «деле о возмутительных песнях, петых в злоумышленной компании». Герцен недоумевал.

А июльской ночью около двух часов его арестовали.

Дело дошло до царя. Он нарядил следственную комиссию.

Дело «О лицах, певших в Москве пасквильные песни» разворачивалось в закрытый политический процесс.

Герцена посадили в маленькую сводчатую камеру. Он забирался с ногами в глубокую нишу у зарешеченного окна — к свету — и читал Данте, томик которого захватил с собой.

В следственной комиссии было два князя Голицына, разных, может быть даже противоположных,— один попечитель Московского учебного округа, незамысловатый старичок, sancta simplicitas[1], другой — Александр Федорович, тонкая петербургская штучка, из III отделения, первая скрипка следствия. В членах комиссии — московский комендант Стааль, прямодушный рубака, которому все это следствие претило, он и не стал посещать его заседаний, жандармский полковник Шубинский, личность безмолвная, и аудитор Оранский, исполнявший секретарские обязанности, ханжа в очках, нестарый, но лицо, словно траченное молью, все в выбоинах и вмятинах.

Герцен долго и с интересом вглядывался в это лицо,

---

[1] — святая простота *(лат.)*.

изъеденное низменными страстями. Оно ему чем-то напоминало кончик плохо очиненного карандаша, какое-то утлое, колючее и даже словно бы расщепленное. Герцен решил: «Тартюф!»

Был еще и третий Голицын — Дмитрий Васильевич — московский генерал-губернатор. Он не был в составе следственной комиссии, но по должности ознакомился с материалами следствия, в частности с письмами Герцена и Огарева. И написал отзыв с некоторым пренебрежением к правилам правописания, но не лишенный здравой мысли:

«Только сия переписка есть сообщение один другому своихъ мыслей на щетъ ихъ чтение и предметы ихъ учение. Тогда также обнаруживаются ихъ образъ мыслей который согласен съ духомъ времени и не может ихъ въ оном обвинить».

Не очень грамотно, но благоприятно для обвиняемых — вероятно, именно поэтому мнение третьего Голицына было отвергнуто двумя первыми.

Конечно, ни Герцен, ни Огарев, ни еще два привлеченных студента, чьи имена были найдены при обыске, Лахтин и Сатин, не имели никакого отношения к «Делу о песнях». Но они были взяты, выражаясь иезуитски-канцелярским языком аудитора Оранского, «как лица, обращающие на себя внимание образом мыслей своих».

Их обвинили. В чем? Нет, они не были на провокационном вечере у Скаретки и не пели злоумышленные песни. Но они виновны в том, что «суждения их имеют вид умствований непозволительных,— возвышенным стилем писал в приговоре Оранский, который был из духовного звания, но предпочел карьеру сутяги,— и, укореняясь временем, могут образовать расположение ума, готового к противным государственному порядку предприятиям, а также эти лица могут обольщать ими других».

Характеристика Герцена при сем такая: «смелый вольнодумец, весьма опасный для общества».

Однажды перед допросом к нему явился Александр Федорович Голицын. Герцен невольно отодвинулся. Он с трудом переносил присутствие этого публичного мужчины, как он обычно называл агентов III отделения. Голицын был не толст, не из числа откормившихся на казенных хлебах, напротив, тощий, желчный, насекомообразный. Сейчас он явно старался умерить общую зловещность своей наружности, даже силился придать мягкое выражение своим маленьким колючим глазам, укрытым под нависающими бровями.

Он начал:

— Вы молоды, еще можете сделать карьеру.

Герцен сразу понял, куда он гнет. В нем начала накипать ярость.

Голицын продолжал, поматывая своей головкой хорька:

— Ваш отец очень принял к сердцу ваш арест. Вы можете заслужить монаршую милость. Назовите заблудших людей, которые вовлекли вас...

Герцен прервал его. Подавив готовый вырваться негодующий крик, он сказал сквозь сжатые зубы:

— Напрасно стараетесь, князь. Я больше ни слова не прибавлю к моим показаниям.

Голицын встал. Его лицо покраснело от злости и даже как бы ощетинилось на Герцена всеми своими колючками. Он выдавил из себя:

— Не хотите — пеняйте на самого себя.

Герцена приговорили к ссылке в Пермь под строгий полицейский надзор.

Мчась к месту ссылки на перекладных под конвоем жандарма среди не везде еще растаявших льдов, снежных просторов и апрельской ужасной грязи, Герцен печально думал:

«А ведь эти инквизиционно-канцелярские учреждения

в современной России Николая I такие же, как при батюшке Иване Грозном, этом гениальном изверге, казнившем и упекавшем в ссылку тысячи безвинных. Россия как была, так и есть — один обширный острог, к замерзшим дверям которого привален Николай I, этот далай-лама в ботфортах...»

## *„Кто виноват?“*

Слово тоже есть дело.
*ЛЕНИН*

«Город Малинов» — так в «Записках одного молодого человека» назвал Герцен Вятку. Сюда он был переслан из Перми для отбывания ссылки. Срок ее не был обозначен. И это больше всего угнетало Герцена — пожизненная, что ли?

Он задыхался в вятском безлюдье, посреди захолустного чиновничества, куда он был ввергнут монаршей прихотью. Друзья разогнаны, сосланы, из Москвы ужасающие вести — Чаадаев за «Философическое письмо» объявлен сумасшедшим и отдан под надзор полицейского психиатра, запрещены один за другим журналы «Московский телеграф», «Европеец», «Телескоп». Герцен жаловался ссыльному архитектору Витбергу, его единственной отраде в Вятке:

— Кругом глушь, молчание, все безответно, безнадежно и притом чрезвычайно плоско и мелко...

Он крепко подружился с Витбергом, вошел в его жизнь, пустил его в свою. А в то же время другой частью своего существа почти бессознательно, просто в силу мощной потребности своей натуры, наблюдал его, запоминал, запечатлевал в каком-то уголке мозга его повадки, нрав, всю сложность его личности, самую наружность его — больше-

глазый, кудрявый, с маленьким крепко стиснутым ртом, с общим выражением упорства почти фанатичного. И впоследствии изобразил его в этюде «Александр Лаврентьевич Витберг», составившем одну из блестящих глав «Былого и дум».

Герцен ознакомился с его проектом храма «Во имя Спасителя» — в честь русской победы над Наполеоном,— проектом, пленившим Александра I и впоследствии погубившим Витберга: казнокрады свалили на него свои чудовищные хищения. Герцен восхитился этим проектом, называл его гениальным и страшным.

На какое-то короткое время Витберг заразил Герцена своим мистическим умонастроением. Оно, между прочим, подогревалось экзальтированными письмами Натали Захарьиной из Москвы. Зарождалась и росла любовь, преодолевая огромные российские пространства, разделявшие молодых людей. Мистическое поветрие недолго мирилось с трезвой иронической натурой Герцена. Вспоминая это время, он обмолвился:

— Всегда серьезная беседа Витберга иной раз утомляла меня...

Трехлетняя ссылка в Вятке вдруг, благодаря дружескому вмешательству поэта Жуковского, была заменена ссылкой же во Владимир и уже этим одним смягчена.

«Прелесть! Объедение! — воскликнул Белинский, прочитав «Записки одного молодого человека», появившиеся в журнале «Отечественные записки».— Ум, чувство, оригинальность, остроумие!»

Самая форма этого произведения была необычна. Герцен не мог писать «обычно». Он перемежает повествование вставками «От нашедшего тетрадь». Дневник и вымысел, автобиографическое и придуманное соседствуют. В сущности, это — преддверие «Былого и дум». Впоследствии Герцен и включил туда это раннее произведение.

А в «Записки» он частично включил другой рассказ — «Германский путешественник». Один из героев рассказа, Трензинский,— первоначальный набросок будущего портрета Бельтова в романе «Кто виноват?»: деятельный человек, разочаровавшийся во всякой деятельности и впавший в иронический скептицизм. Однако любопытно, как Герцен описывает его: одинок, высокомерно умен, высок, строен, худощав, белолиц, холен, глаза серо-голубые, скульптурность в чертах, голова — «чело, как череп голый», как выразился Пушкин о Барклае де Толли.

Позвольте! Так это ж портрет Чаадаева!

«...Не думая, не гадая, сделал портрет Чаадаева...» — писал впоследствии Герцен, признавая, таким образом, что могущество таланта наряду с сознательным плановым усилием содержит элемент непреднамеренности, даже непредвиденности, некой стихийности.

Цензура пощипала «Записки», но не заметила довольно прозрачного намека, уподобляющего цензуру псу, который и выдрал из этого произведения ряд дорогих автору мест.

Он с горечью записал в дневнике:

«Упрекают мои статьи в темноте,— несправедливо, они намеренно затемнены.— Грустно!»

Он написал до этого повесть «Елена». Но сам же признал ее неудачной. Он был к себе беспощаден. Нисколько не поэт, Герцен как-то однажды погрешил стихами, даже поэмой. Но после уничтожающего отзыва Белинского никогда не пытался публиковать ее. И вообще более не возвращался к стихам, поняв, что это не его стихия. Понимал ли он, что его проза достигает музыкальности поэзии?

И все же повесть «Елена» была неудачна так же, как было что-то надуманное, искусственное в том жизненном случае, который Герцен положил в основу повести: свое увлечение Прасковьей Петровной Медведевой, женой вятского чиновника. «Умна, красавица, прелесть, образо-

ванна»,— писал он Кетчеру, познакомившись с ней. Увлечение прошло быстро. Герцен признался в нем в письме к Наташе Захарьиной. Он говорил о ней, как о прошлом: «Здесь встретил лилию и сорвал ее для того, чтоб насладиться запахом, и задушил ее».

Надо сказать при этом, что Герцен сделал и обратное признание: открыл Медведевой, что любит свою кузину Наташу Захарьину. «Лилия» пережила этот удар. И впоследствии, уже в Москве, Герцены встречались с ней как с другом, правда изредка.

Помимо «Елены» Герцен описал всю историю своего увлечения Медведевой в «Былом и думах». Но эти страницы, написанные с обычной для него беспощадностью к самому себе и с предельной художественной силой, Герцен при жизни никогда не печатал.

Наша первая встреча с Наташей Захарьиной, ставшей вскоре женой Герцена, происходит на страницах романа «Кто виноват?». Герцен писал его героиню Любоньку Круциферскую с Наташи. Ей же он посвятил роман. Он звал Любу-Наташу от жизни одним сердцем к широте интересов, к богатству умственных переживаний, эстетических эмоций, даже политических чувствований, может быть действий. Здесь герой романа выражал мысль автора, которого настораживала постоянная романтическая восторженность Наташи.

В том, что Люба Круциферская — это Наташа Захарьина, нет никаких сомнений. И дело не только в цвете глаз — темно-голубых, в лице, где энергия сопрягается с апатией и холодностью, в том, что ей «сверх красоты самая задумчивость придавала что-то такое, почему нельзя было пройти мимо ее». Сходство в самой душевной сути, в том, что она «скрытно-пламенная», что «она тигренок, который еще не знает своей силы».

Конечно, этот небольшой роман «Кто виноват?» был и мощным ударом по крепостничеству. Только ли? Герцен

в своих художественных вещах никогда не замыкался в пределах одной темы. Необъятность воззрений, широкая россыпь ассоциаций влекут его к решению разнообразных задач. На немногих страницах этого романа он проникает в вопросы брака, задумывается над положением женщины в обществе, обсуждает судьбы интеллигенции — дворянской и разночинной.

Все образы, все сюжетные положения романа емки. Если Герцен пишет о Любоньке, что она была в доме отца «дочерью и недочерью, живущей у него по праву и по благодеянию», то это касалось многих внебрачных детей, в том числе и его самого, не говоря уже о Наташе.

Не вызывает сомнений, что другой персонаж романа, доктор Крупов,— несколько идеализированный Кетчер: сходство не только во внешности и в медицинской профессии, но и в грубоватом прямодушии, характерном для друга молодости Герцена.

Для царской цензуры роман «Кто виноват?» оказался орешком не по зубам. Она проморгала его политический накал. Замечания цензора были «незначительны, что не мешает им быть очень глупыми», пишет Герцен.

Успех у читающей публики — поразительный. Но что замечательно, роман, несмотря на свой почти полуторастолетний возраст, совсем не устарел. И сегодня, читая его, впитываешь с наслаждением этот блеск ума и таланта. Восклицаешь: «Ах, вот что это было за время!» Как всякое подлинное произведение искусства, «Кто виноват?» — концентрат своего времени. Если каждый настоящий писатель — либо защитник, либо обвинитель, то Герцен — судья. Это, между прочим, сразу подметил Белинский:

«Он изображает с поразительною верностию сцену действительности для того только, чтобы сказать о ней свое слово, произвести суд».

Не обошлось, как это частенько бывало в российской литературе, без доноса. Булгарин не был бы платным ли-

тературным доносчиком, если бы не написал в секретной докладной записке в III отделение:

«Тут изображен отставной русский генерал величайшим скотом, невеждою и развратником... Дворяне изображены подлецами и скотами...» И на доносе — резолюция Дубельта: «...я нахожу всю повесть предосудительною...»

Можно ли считать образ Бельтова автопортретом, как это думают некоторые? Конечно нет! Бездеятельный, без главного интереса в жизни, «лишний человек», «умная ненужность», Бельтов попросту противоположен кипучему, целеустремленному Герцену. Скорее тут есть черты некоторых его друзей — больше всего Сазонова, отчасти Боткина, даже Бакунина с их «деятельною ленью», как писал Герцен Огареву, «отсутствием всякого практического смысла в жизни», с их «многосторонним бездействием». Это их имел в виду Герцен, когда писал Огареву, что образ жизни Бельтова, да и Круциферского напоминает ему «биографии всех знакомых», и прибавлял: «Да и наши несколько». Это уже был камешек в огород Огарева. Но конечно, когда Герцен характеризует Бельтова как одаренного «смелым и резким мышлением», то в этом случае он пишет о себе.

## *Наташа—Natalie*

В Москве все женятся.
*ГЕРЦЕН*

Владимирская ссылка несравненно легче. Москва под боком. Губернатор снисходителен к Герцену, смотрит сквозь пальцы на его тайные отлучки в Москву. Это настраивает Герцена на радостный лад, и, озирая из своего окна город, он начинает находить «что-то тихое, кроткое в его чертах, осыпанных вишнями». Все три поездки в Москву — весенние, тридцать восьмого года: 2 марта, 16 ап-

реля, 8 мая. Все три к Наташе. Но этим прелестным русским именем никто ее не называл в чопорном доме княгини Хованской на аристократической Поварской улице. Она была Натали[1]. А свидания были, конечно, тайные.

Герцен все проверял себя. Он боялся пылкости своей натуры. Любовный эпизод с Прасковьей Медведевой насторожил его, даже испугал. А вдруг любовь, которую он испытывает к Натали,— тоже прихоть темперамента, способного увлечься до самозабвения и быстро остыть?

Еще так недавно он звал ее «сестра». А теперь он жаждет назвать ее «жена».

Натали в это время писала ему из Москвы. Между ними была оживленная переписка, тоже тайная, потому что княгиня Хованская терпеть не могла своего строптивого племянника Сашу Герцена, человека без религии и правил, к тому же ссыльного, да еще бастарда — никак не партия для ее приемной дочери. Кроме того, самая тайна всегда имела в себе нечто привлекательное для Натали. Это так романтично!

«Твой образ,— писала она ему,— сияет надо мной, за меня нечего бояться...»

Это звучит не столько сердечно, сколько восторженно. Быть может, Натали чувствовала сильнее и глубже, чем Саша. Натуре ее был свойствен некоторый переизбыток чувств, доходящий в своем крайнем выражении до экзальтации. Она называла в переписке с Герценом себя и его «Натаксандр», слив воедино оба имени, что должно было выразить идеальное, по ее мнению, слияние, полную нераздельность двух существ.

---

[1] Об этом офранцуженном имени Герцен сам пишет: «Я очень хорошо знаю, сколько аффектации в французском переводе имен, но как быть? Имя — дело традиционное, как же его менять?» Поэтому и автору придется применять имя Натали, изредка только сбиваясь на Наташу, что ему гораздо милее.

Увидев, что влечение их друг к другу непреодолимо, княгиня Хованская решила как можно быстрее окрутить Натали, выдав ее замуж за достойного, с ее точки зрения, человека.

Скоро усилиями свахи и привлеченный запахом стотысячного приданого нашелся соответствующий полковник вполне пристойной наружности, а что касается возраста, то для мужчины это не имеет решающего значения. Натали до того выразительно проявила свое отвращение к полковнику, что он отказался от нее. Не совсем, он потребовал увеличения приданого, так сказать, надбавки за отвращение. Княгиня подкинула еще одну деревеньку. Однако полковник предпочел другую партию, хоть и с меньшим приданым, но без отвращения.

Нашли другого кандидата в женихи, помоложе и вообще не такого дремуче-уездного. Натали написала ему письмо, где просила отстраниться от нее, потому что она любит другого. Так отпал и второй претендент.

Герцен решился. Он боялся, что в третий раз Наташа не ускользнет от насильственного брака. Он умыкнул ее. Помогал ему Кетчер, который всегда рад был принять участие в авантюре гусарского свойства. Но не только поэтому. В ту пору он любил Герцена. А узнав Натали, он стал боготворить ее.

— Ты дрянь перед своей женой! — говорил он Герцену в своем бесцеремонном стиле.

Натали относилась к Кетчеру, как к отцу, которого у нее не было.

— Если вы любили Кетчера, этого человека с лицом последнего могиканина,— говорил Герцен,— вы не могли сердиться на его живописную манеру выражаться.

Со своими резкими чертами лица и сросшимися бровями он был похож на одомашненного черта.

Натали — невеличка, худенькая до воздушности, голосок тоненький, тихий и безрадостная улыбка: губы раздвинет, а глаза грустные. На вид девчонка, в сумерках ее принимали за подростка. Проницательный взгляд мог обнаружить в этой нежной оболочке что-то мучительное, какую-то трагическую тень.

Красива? Да. Но неброской красотой, притом что черты лица несколько крупны. Большеглаза. Взгляд ясный. Ничего в чертах ее яковлевского, все от матери — крепостной крестьянки Аксиньи Ивановны Захарьиной. Что-то татьянинское в ее лице.

Да, было в ней еще кое-что, не вдруг приметное. Это требует объяснения. Белинский, познакомившийся с Натали, пришел в восторг. И отписал Боткину:

«Что это за женственное, благороднейшее создание, полное любви, кротости, нежности и тихой грации!»

Белинский, впрочем, был влюбчивый. Но не в этом дело. Через два года он пишет невесте:

«...Эта женщина... прекрасная, тихая, кроткая, с тоненьким голоском...»

Дальше следует «но», которого в первом письме не было:

«Но страшно энергичная: скажет тихо — и бык остановится с почтением, упрется рогами в землю перед этим кротким взглядом и тихим голосом».

Итак, Белинский разглядел, что в этом небесном создании, в этом воплощении кротости живет волевая, размашистая, безудержная, страстная душа. Вид хрупкий, тростинка, мнится — дуновение ветра сломит ее, улыбка словно вымученная, как у непрощенной Магдалины, и при этом голова, полная огненных фантазий, и непоколебимо твердая воля в их достижении.

А ведь поначалу она показалась Герцену безжизненной, холодной. Сказались навыки к скрытности, развивавшиеся у Натали еще в детстве, как сопротивление деспо-

тическому самодурству княгини Марии Алексеевны и ее могущественной приживалки «звенигородской вдовы» Марьи Степановны.

Конечно, Натали была влюблена в Сашу Герцена страстно. В дневнике своем записала: «Боготворение Александра».

Впоследствии она низвела его с пьедестала. Это произошло после случая с крепостной девушкой Катей, горничной матери Герцена. «Случай всегда находится, особенно когда ни с одной стороны его не избегают»,— с грустью вспоминал Герцен.

«Случай» произошел через несколько лет после брака: поддавшись зову плоти, Герцен сошелся с горничной Катей. Это длилось одну ночь, но и ее было довольно, чтобы Герцен самобичующе воскликнул: «Я добровольно загрязнился!» Катя, собираясь в церковь на говенье, во всем призналась Наташе, не зная, что сам Александр опередил ее. Конечно, этот «случай» не мог не ранить Наташу, которая писала накануне брака: «Нас все будет окружать необыкновенное, все прекрасное и изящное».

Оскорбительное ощущение от измены превратилось у Наташи в рану, которая со временем хоть и затянулась, а все же продолжала ныть. «Вера ее в меня поколебалась, идол был разрушен»,— писал Герцен. И это бессильно было излечить покаяние Александра в том, что он «загрязнился».

Память о «падении» Герцена, хотя и прощенном, никогда не была до конца утрачена, и какой-то темный подсознательный мотив отмщения сыграл впоследствии свою роль.

Но все это в будущем. А пока Натали перестала любить в Александре бога, но продолжала любить человека.

А человек Герцена был очень земной, преданный всем радостям жизни.

В том числе — смеху.

Вот чего начисто была лишена Натали — юмора. Он не наличествовал в наборе ее возвышенных чувств. Герцен зря расточал перед ней бесценные сокровища своего юмора, своего сверкающего балагурства, «демонического начала критики и иронии», выражаясь его же словами. Оттенок досады чувствуется в письме Герцена к Витбергу, где он пишет:

«Кстати, я хотел вам написать. Она тоже, как вы, не любит смех, никогда не произносит напрасно имя бога и не любит Гогартовых карикатур».

Натали внушала любовь всем, не только мужчинам, но и женщинам. За исключением Авдотьи Панаевой. И Эммы Гервег. Но вот, к примеру, Татьяной Астраковой владела, по выражению Герцена, «религиозная любовь» к Натали.

Что касается мужчин, то тут дело доходило до обожания, даже до преклонения. Белинский восхищался ее «тихой грацией». Грановский писал о ней своей жене: «Дорогою я, кажется, еще больше полюбил ее». Циник Бакунин, ниспровергатель святынь, писал из Берлина сестрам Беер: «...она — святое, любящее, истинно женственное существо». Огарев считал Натали самой прекрасной женщиной из всех, кого он знал. Он находил в ней непревзойденное изящество духа и физического облика.

Ну, а если красавица Авдотья Панаева в своих воспоминаниях упрекает Натали за «слишком явное ее самомнение», то в Панаевой говорила зависть одной звезды к другой.

## *Развитое меньшинство*

Потустороннее его мало интересовало. «Потом будет видно. В качестве покойника я, может быть, смогу извлечь радости из этого состояния. Пока что, будучи живым, я довольствуюсь тем, что наслаждаюсь жизнью».

*ЖАН РЕНУАР. «Огюст Ренуар»*

Шмель сел на репей. Он тщательно обследовал его круглую головку с шипами, похожую на маленькую булаву. Перебирая ножками, шмель ловко облазил репей, таща за собой свой жирный полосатый зад. Сложенные на спине слюдяные крылышки похожи на короткий плащ, какие носили придворные пажи.

«Какое нарядное добродушное существо!» — думал Герцен, с любопытством разглядывая шмеля.

И улыбнулся. Следующая мысль позабавила его. Он пожалел, что рядом нет собеседника, с которым он мог бы ею поделиться:

«Право, иной раз становится досадно, что человек не может перечислиться в другой род зверей — разумеется, быть ослом, лягушкой, собакой приятнее, честнее и благороднее, нежели человеком XIX века...»

Герцен гулял по саду один. Как всегда, он встал на рассвете. Всю жизнь для сна ему нужно было не более четырех часов. Сколько он выигрывал на этом! Длинный рабочий день! А какой воздух здесь в Соколове, вдали от Москвы! Впрочем, сегодня суббота, значит, из Москвы гости, благо до города не более двадцати верст по Тверской дороге.

— Да, воздух,— он вздохнул во всю ширь своей просторной груди,— бальзамический. И — что гораздо драгоценнее — это воздух свободы.

Свободы... Он усмехнулся — разве только по сравнению со ссылкой. Столько времени прошло после ссылки, а она все еще лежит на памяти чугунным гнетом. Да полицейский надзор все еще не снят.

— Но все-таки,— Герцен машинально водил глазами за полетом шмеля, уже не замечая его,— но все-таки я принадлежу себе. Я более не собственность губернаторов, плац-адъютантов, столоначальников, приставов, фельдъегерей, жандармов и прочей полицейской нечисти. Свобода... Но до чего же куцая! Все еще не спускает с меня глаз светская инквизиция, учрежденная Николаем. И где гарантия, что среди обилия гостей, наезжающих сюда по субботам, порой полузнакомых, а случается, и вовсе незнакомых, не затесался шпион? Они ведь так и снуют вокруг меня...

Герцен стал мысленно перебирать список возможных гостей. Среди них есть непременные и очень желанные...

Рядом Химки, где снял дачу Михайло Семенович Щепкин, чтобы быть по соседству с Герценом, которого он обожал. Он будет обязательно в своем широченном парусиновом балахоне и такой же необъятной соломенной шляпе, окруженный крестьянскими ребятами. Он любил детей. Он и Герцена любил за его по-детски открытый, светлый нрав. «Зачем только он занимается наукой? — ворчал Щепкин.— Зачем политикой? Это высосет из него все лучшее...»

Часам к одиннадцати спустится, позевывая, с антресолей лежебока Огарев. Позднее выйдут из флигеля Грановские, из домика садовника — Кетчер. Друзья под руками. А там, к обеду, нагрянут из Москвы Боткин, может быть, Витберги, приехавшие в Москву, может быть, Белинский, Каролина Павлова, Некрасов, Панаевы, Анненков, да мало ли кто! Некоторые приезжали и вовсе без приглашения, например Разнорядов. Но не выгонять же человека, проделавшего двадцативерстный путь, специаль-

но, чтобы увидеть «глубокочтимого Александра Ивановича и поприсутствовать на этом конгрессе литераторов, профессоров и просто исключительных личностей, как справедливо называют воскресные обеды в Соколове, прильнуть, так сказать, к источнику и т. д.». Герцен махнул рукой и по своему добродушию пригласил и Разнорядова на обед.

Хлебосольная душа Герцена не терпела одиночества. Природа? Да! Это божественно! Но ведь со шмелем не поговоришь, как и с богом. Кстати, Герцен тут же дал себе слово в разговоре с Грановским не затрагивать проблемы бога, ни бессмертия, этой Jenseits, как они предпочитают называть все потустороннее.

...Из сада не хочется уходить. Хорош этот ранний час среди росистой зелени.

Герцен сел под дерево. Закинул голову. Глазам представился длинный трепещущий конус. Он суживался, уходя вверх, как дорога: зеленый путь в небо...

Сладко-бездумное состояние. Но по стремительности натуры Герцен не мог долго пребывать в блаженном растворении себя в природе.

За работу! Есть еще время прибавить несколько страниц к «Письмам об изучении природы».

Он обогнул дом, вошел в свой флигель, неслышно ступая на носках, чтоб никого не разбудить, прошел в кабинет, раскрыл бювар и на чистом листе бумаги написал вверху своим отчетливым изящным почерком: «Письмо девятое».

Он еще не писал, покуда только заглядывал в «Philosophie der Natur» [1] Гегеля, в декартовы «Les passions de l'âme» [2], в «Novum Organum» [3] Бэкона.

Изредка он подымал затуманенный взгляд к окну, в

[1] «Философия природы» *(нем.)*.
[2] «Страсти души» *(фр.)*.
[3] «Новый Органон» *(лат.)*.

глаза хлынет зеленый разлив липовых и березовых крон, излучина реки, отливающая платиной, и поля, бесконечные поля. Но вряд ли сейчас он все это видел. Мысли его были в той философской природе, которая возникла в его воображении.

Восемь «Писем об изучении природы» уже были опубликованы. И вот нынче...

Он прислушался к смутно, но уже властно встающим в нем образам из совсем другого мира, из нашего, из сегодня.

Решительным движением он отодвинул рукопись, еще не начатую, на ней значилось только название. Потом секунда колебания — и он вынул из ящика стола другую рукопись.

Его еще привлекают гигантские фигуры Спинозы и Лейбница.

И все же он не написал девятого письма.

Мыслитель и художник в нем не всегда были в согласии. Иногда они боролись. Сейчас брал верх художник. Герцена влекло желание — оно достигало силы непреодолимой потребности — написать роман. Заготовки к нему он сделал исподволь, еще в новгородской ссылке. Даже и название тогда нащупалось: «Похождения одного учителя». Потом он замарал его и написал сверху: «Кто виноват?» И первоначальные главы тогда же тиснул в «Отечественных записках».

Сейчас, сидя у распахнутого окна, писал он небыстро, но уверенно, почти не марая, как пишут о глубоко заветном и прочно устоявшемся в сознании. Спинозе и Лейбницу оказалось не под силу бороться с Бельтовым и Любонькой Круциферской.

Перед обедом пошли к пруду. Тут царил Щепкин. Он был отличным пловцом, несмотря на свою тучность. Или,

может быть, благодаря ей: жир держал его на воде, придавал ему плавучесть. Как всегда, шумное восхищение вызвал излюбленный трюк Щепкина: он ложился на воду спиной, скрывался в воде полностью, оставляя снаружи только живот, полный и круглый, как холм. Трюк этот назывался «остров».

Он выходил из воды под аплодисменты, отряхивался. К нему спешили с теплым халатом, но он отстранял его.

— Я не зябну,— говорил он,— я ведь от природы положен на вату.

Все хохотали. Один Огарев оставался холоден, ни тени улыбки на его серьезном лице. Герцен взглядывал на него с беспокойством.

— Нет, мне не плохо,— отвечал на этот взгляд Огарев,— мне просто скучно. Знаешь ли, отчего мне так скучно почти со всеми? Оттого, что все готовят в своей маленькой кухне и говорят про свой именно картофель, который никого не интересует.

Обед накрывали на лужайке перед домом. Хватились — хозяина нет. Кетчер ринулся на поиски. Нашел его в неожиданном месте: над бочажником. Кетчер недоумевал:

— Помилуй, братец, что любопытного в этой яме с водой?

— Слово дорого: бочажник.

Кетчер не понимал интереса Герцена к словам, не видел, как тот подбрасывает их в воздух, как они взлетают, переливаются бликами, потом падают в руки — веские...

Хозяйничали Натали и Елизавета Богдановна Грановская, молчаливая. Она могла бы стать выдающейся пианисткой, но предпочла раствориться в любви и преданно-

сти мужу. Их согласная жизнь была для нее выше искусства и славы.

Начинали обедать поздно, в шампанском не было недостатка, в спорах тоже. Присутствие дам клало предел вольности мужских речей. Даже сам Кетчер удерживался в рамках того, что он считал хорошим тоном. Правда, у него была другая мерка, и дамы порой морщились под градом его экстравагантностей. Окидывая критическим взглядом батареи бутылок, он заявлял Герцену:

— Ты свистун, братец, не умеешь заранее распорядиться.

На что Герцен хладнокровно ответствовал:

— Перестань орать, скучно.

Когда взглянешь на суровое, словно вытесанное из гранита лицо Кетчера, не скажешь, что он весельчак, буян, выпивоха, богема и большой охотник до назидательных советов, которые только смешили его друзей. Но очевидно, эта страсть к поучениям была его преобладающей чертой, и она под старость дала себя знать, когда Кетчер превратился в ханжу, брюзгу и реакционера. Его тяжеловесные прозаические переводы пьес Шекспира вызывали смех своей неуклюжестью. Тургенев почтил их эпиграммой:

Вот еще светило мира!
Кетчер, друг шипучих вин;
Перепер он нам Шекспира
На язык родных осин.

И сейчас он азартно встревал в споры, то и дело вспыхивавшие за столом. Но где ему угнаться за Герценом! Медлительный Анненков смотрел на Герцена удивленно, с примесью восхищения. Его поражал этот неистощимый вулкан остроумия, эти неожиданные соединения в одну упряжку, казалось бы, далеко отстоящих друг от друга понятий, и при этом с проникновением в самую суть пред-

мета, хотя он порой не брезговал и блестящей игрой слов. Герцен в конце концов заметил несколько оторопелое выражение лица Анненкова и истолковал его неправильно.

— Вы со мной несогласны? — спросил он, впиваясь в Анненкова энергическим взглядом и готовый броситься в новый бой.

Анненков сказал, отдуваясь:

— С вами ходишь точно по краю пропасти, с непривычки голова кружится.

Споры за обеденным столом в Соколове далеко не всегда были безобидными. Порой они взрывали самые коренные проблемы, нравственные и политические, и иногда оказывалось, что убеждения самых близких людей совсем не совпадают, а временами полярно противоположны.

Собственно, это назревало давно. Но, любя друг друга, Герцен и Огарев, с одной стороны, и Грановский — с другой, избегали прямого столкновения. Это волновало Герцена. Он поверил свою тревогу дневнику:

«Наши личные отношения много вредят характерности и прямоте мнений. Мы, уважая прекрасные качества лиц, жертвуем для них резкостью мысли. Много надобно иметь силы, чтобы плакать и все-таки уметь подписать приговор Камиля Демулена!»

Вот из-за Робеспьера, подписавшего этот приговор, была первая вспышка за обеденным столом в Соколове. По началу разговора это трудно было предвидеть. Грановская сказала, что ей очень понравилась статья Герцена о публичных лекциях ее мужа.

— Спасибо, Елизавета Богдановна,— ответил улыбаясь Герцен.

Он сидел рядом с ней и поцеловал ей руку.

— Да это же общее мнение о твоих чтениях,— продолжал он, обращаясь к Грановскому.— Чаадаев говорит, что твои лекции — это событие. Жаль только, что ты удерживаешься на средних веках. Новое время дало бы тебе бес-

ценный материал для сравнения с нашей действительностью.

— Это так,— сказал Грановский,— но ведь французская революция — это опасная почва. Самые имена Марата, Дантона, Робеспьера подействуют на наших охранителей, как красная тряпка на быка.

Вмешался Кетчер:

— Мне говорили, Тимофей, что Белинский осуждает твое отношение к Робеспьеру. Он, напротив, его яростный поклонник. Это верно, Александр?

Герцен молчал. Он не хотел ввязываться в разговор о Робеспьере. Он не хотел подходить к невидимому барьеру, разделявшему друзей. За столом, еще минуту назад таким шумным, наступило молчание. Герцен сказал уклончиво:

— Белинский — фанатик, человек крайностей. Но всегда открытый, сильный, энергичный. Его можно любить или ненавидеть. Я истинно его люблю.

— А Робеспьера? — вдруг раздался голос.

Это спросил Разнорядов, сидевший в конце стола.

Герцен недовольно посмотрел на него. Что за шустрый малый! Что это — наивность, доходящая до глупости, или что-нибудь посерьезнее? Он ответил по-прежнему уклончиво:

— Белинский из той же породы, что и Робеспьер.

Заговорил молчавший покуда Грановский. А ведь, в сущности, разговор-то шел о нем.

— Ты хочешь сказать, Александр, что, по мнению Белинского, убеждения — все, человек — ничто?

— Пожалуй.

— А ты как полагаешь?

Герцен вздохнул. Он не мог увернуться, он вынужден был нанести удар. Он сказал тихо:

— Я согласен с Белинским.

Кетчер крикнул:

— Когда пал Робеспьер, тогда кончилась революция! И пришли к власти авантюристы. А Робеспьер был человек идеи!

— Да, он был человек идеи. Он был идейный палач.

Грановский сказал это тихо, но твердо, чуть шепелявя, как всегда, когда волновался.

Герцен смотрел на него с грустью. Ему вспомнились слова Белинского: «Тимофей — человек хороший, но одно в нем худо — умеренность». Он все еще не терял надежды затушить спор. Он сказал, стараясь перевести все в шутку, в беззаботную застольную болтовню:

— Ты Кетчера не слушай. Он вместо молитвы читает на ночь речи Робеспьера.

— Холодные и риторические,— проговорил Грановский с презрением.

И эта нотка презрения вдруг взорвала Герцена. Забыв о своих благих намерениях затушить разыгравшийся за столом спор, он вскричал:

— Если так, значит, ты осуждаешь Карла Занда? По-твоему, он не должен был убить этого мерзавца Коцебу, из-за которого гибли на каторге и в петле десятки людей?

Грановский оглянулся на жену. Щеки ее пылали. Она смотрела на Герцена с возмущением. Грановский устало провел рукой по лбу.

— Знаешь, Александр, в односторонность твоего мнения я не хочу вдаваться,— сказал он.

Герцен промолчал.

Они оба уходили от спора. На этот раз успели. Но груды взрывчатого материала по-прежнему лежали между ними.

Все вышли из-за стола и пошли прогуляться в поле. Анненков приблизился к Огареву.

— Николай Платонович, я не узнаю Герцена,— сказал он,— что он вдруг так мягок?

Огарев обмахивался самодельным веером из листа лопуха. Обильная пища и шампанское разморили его. Он прилег бы с удовольствием, но не хотел оставлять Герцена: у него было предчувствие грозы. Спор о Робеспьере — это только первые отдаленные раскаты надвигающегося грома.

— Потому что Герцен — хозяин,— сказал Огарев, как всегда, словно с ленцой.— Хорошо воспитанному человеку не годится нападать на своих гостей. А во-вторых,— и, вероятно, это главное — он любит Грановского. Он ему прощает. И он надеется его переубедить.

— Мне кажется, что Грановский при всей своей душевной мягкости несгибаем, как скала. А нападки Кетчера...

— Ну, это пустое. Кетчер — буян. Но...

— Что «но»? Кончайте уж.

— Да нет, Павел Васильевич, я хотел только сказать...

Он взял Анненкова под руку и сказал, приблизив к нему лицо:

— ...что буян-то, в сущности, Герцен. А в Кетчере ярится затянувшаяся молодость. Посмотрим, каков он будет через десяток лет. Пойдемте, однако, побыстрее. Мы отстали.

Солнце еще не село. Гости, где по двое, где по трое, шли по меже среди ржи. Крестьяне выпрямлялись, смотрели на нарядную толпу господ. Мужики, все по пояс голые, портки подвернуты. Да и бабы и девки с высоко, повыше колен, подоткнутыми подолами, рубашки сползали с голых загорелых плеч.

— Бог в помощь! Ну как жнитво? Не рано ли? — крикнул Разнорядов, поглядывая на Герцена, мол, слышит ли, как ловко он обходится с простым народом.

Ответствовала молодая бойкая баба, нисколько не стесняясь того, что грудь ее еле прикрыта:

— Самое время, барин, а то как бы зерно не утекло.

Вася Боткин, накинувший на свою лысину клетчатый носовой платок, заметил вполголоса:

— Какой, однако, бесстыжий наш народ, даже женщины оголяются на людях, напрочь лишены стеснительности.

— Ну,— сказал Огарев, иронически сощурившись,— на балах наши светские барыни с не меньшей ретивостью выставляют напоказ свои прелести, почему за их спинами и выстраиваются мышиные жеребчики для наблюдений с птичьего полета.

Герцен от души расхохотался.

Но если Боткин рассчитывал найти сочувствие у Грановского, шедшего рядом с ним, то он опростоволосился. Грановский ответил с необычной для него горячностью. Он даже остановился посреди межи, стали все и впереди, и сзади и прислушивались.

— То, что ты называешь бесстыдством, Боткин,— говорил Грановский, шепелявя в возбуждении больше, чем обычно,— самый факт этот и в самом деле составляет позор, но вовсе не для русской женщины, а для тех, кто довел ее до того, кто привык относиться к ней цинически. И большой грех за это лежит на нашей русской литературе. Я никак не могу согласиться с тем, что она хорошо делает, потворствуя косвенно этому цинизму, да, именно распространением цинического взгляда на народность.

Немедленно вломился Кетчер со свойственной ему шумливой пылкостью. Нервно похохатывая, он орал:

— Как же можно обобщать каждое пустое замечание и вытягивать из него разные смыслы? Ведь это уже сыск! А если по существу, так ты бы, Грановский, спросил сам себя: не участвовал ли сам народ в составлении дурных привычек своих и, следственно, наших? А?

Грановский презрительно смежил ресницы. Его мало интересовал этот болтун Кетчер. Грановский метнул стрелу в молчавшего покуда Герцена, а через него в Белинского, и вовсе отсутствующего.

— Во-первых,— сказал Грановский уже более спокойно, профессорским тоном, как если бы он стоял на кафедре, а не средь волнующегося моря ржи,— во-первых, брат Кетчер, случайные замечания не так уж случайны, ибо они выдают затаенные мысли. И скажу тебе прямо, что во взглядах на русскую народность я сочувствую гораздо более славянофилам, чем Белинскому.

Герцен насторожился: назовет ли Грановский его?

— И,— продолжал Грановский,— чем «Отечественным записками», и чем нашим доморощенным западникам.

Назвал-таки! Иносказательно, но назвал.

Крестьяне с любопытством прислушивались, о чем бают баре. С чего это они так ерепенятся?

— О чем это они так повздорили? — спросила молодайка с полуобнаженной грудью, на которую с вожделением косился Разнорядов.

Герцен не мог не поднять перчатку. Он любил Белинского. Но и Грановского тоже. Однако взгляды Белинского были и его взглядами. Не желая все же заострять спор, он обратился к Кетчеру:

— Пойми же, братец,— сказал он мягко,— народность — это другая тема. А сейчас мы толкуем о нравственности. Посмотри на крестьян. Они работают на нас, но не смеют поднять голоса. И наш долг — относиться к ним по-человечески. Их голос — это мы, понимаешь? Народ безъязыкий, и всякая выходка против него — это оскорбление ребенка. Мы, образованное меньшинство, знаем разные формы протеста — от банкетных речей до самоотверженных поступков. Народ только одну: бунт.

Кетчер, конечно, замахал руками, дескать, при чем тут нравственность и так далее.

Но все понимали, что истоки спора глубже. Судьба России — вот что тайно, а иногда и явно волновало всех. Всех ли? Или только образованное меньшинство? Ах, как это незабываемо сказал Пушкин в «Борисе Годунове»: «Народ безмолвствует...»

За вечерним чаем там же на лужайке перед домом гостей уже осталось немного. Уехал Женя Корш и зеленоглазый Миша Катков. Их увез в своей коляске Боткин. Укатил Анненков и чета Панаевых. Разнорядов сказал, что по соседству в Богородском у него приятель, вот у него он и заночует.

За столом только самые свои.

К чаю подали крендельки, выпеченные матерью Герцена, кротчайшей Луизой Гааг, по рецепту, вывезенному ею из родного Штутгарта, и варенье трех сортов, на которое немедленно слетелись осы. Говорили о предметах незначительных, чтобы не столкнуться во мнениях. Нарочитость этого разговора делала застольную беседу натянутой. На беду Огарев стал пространно и довольно вяло рассказывать модную светскую сплетню о князе Иване Гагарине, который вдруг принял католичество и вступил в иезуитский орден.

Герцен печально заметил:

— Русский, развивающийся до всеобщих интересов, готов ухватиться за всякий вздор, чтобы заглушить только страшную пустоту.

Грановский поднял голову. Поколебавшись несколько, он сказал, стараясь придать своему голосу мягкость:

— Мы не знаем его истинных побуждений. Кто живет в боге, того оковать нельзя, по слову апостола Павла.

— А может быть, от православия его отвратило византийское смирение русской церкви, которая не только ми-

рится с безобразиями самодержавного режима, но и освящает их,— предположил Огарев.

Герцен попробовал продолжить религиозную тему, считая ее все же менее взрывоопасной:

— Не вижу разницы между отдельными ветвями христианства. Ведь одна из отличительных черт его — это свойственное ему противоречие природе и смешение, причем преднамеренное, каждого понятия с диаметрально ему противоположным. Оно провозглашает равенство всех, но перед богом. Оно проповедует единобожие, но в троице. Оно утверждает бессмертие, но после смерти.

Грановский сказал дрогнувшим от волнения голосом:

— Я уверен, что другая жизнь есть. Она вечна, она не знает разлуки, у меня умерла сестра, и я не допускаю мысли, что не увижу ее. Я это знаю.

Герцен только и мог сказать:

— Грановский, ты это серьезно? Ведь...

Огарев перебил его:

— Опомнись, Грановский, неужели я должен тебе объяснять, что вера в потустороннее — это трусость перед страданием.

Герцен понимал, что накатывается новая лавина противоречий. Она казалась ему непреодолимой, как стихия, ее не остановить. И тем не менее он попытался это сделать, переключить мучительный вопрос в некий беззаботный разговор, обшутить самую смерть. Он сказал:

— Я никогда не рассказывал вам о Толочанове, о том, с каким героическим весельем он помирал? Послушайте. Это был молодой парень, фельдшер моего дяди Льва Алексеевича. К несчастью, он отравился — не дядя, а Толочанов. Он помирал. Послали за попом. Но Толочанов отказался от церковного напутствия. Он сказал, и его слова достойны того, чтобы высечь их на фронтоне Академии наук: «Жизни за гробом быть не может, настолько я знаю анатомию». И помер.

Грановский встал. Жена попробовала удержать его, но не смогла.

— Личное бессмертие мне необходимо,— сказал он спокойно и твердо.

Видимо, он собирался уйти. Его остановили слова Герцена:

— Бессмертие есть.

Огарев посмотрел на него с удивлением.

— Да,— повторил Герцен упрямо,— бессмертие есть. Конечно, можно рассуждать так: жизнь — это промежуток между двумя немыми и безответными пропастями. Если так думать, то и жить не стоит, надо стреляться. Но бессмертие есть. Это то свободное и гласное — обязательно гласное! — проявление человеческого духа, которое воплотится в историю человечества, будет там иметь свое влияние и место так, как тело наше войдет в состав травы, баранов, котлет, людей. Нам не нравится это бессмертие,— что с этим делать!

Кетчер захлопал в ладоши:

— Браво! Мне это нравится. Это по-мужски. А твоя, Грановский, точка зрения — бабская!

— Кетчер, не шуми, скучно,— сказал Герцен устало.

Грановский, который было оживился при первых словах Герцена о бессмертии, сильно побледнел и сказал, обращаясь сразу к Герцену и Огареву:

— Послушайте, вы меня искренне обяжете, если не будете никогда со мной говорить об этих предметах.

И вышел.

Вернувшись к себе, Герцен, как каждую ночь, стал вносить подневную запись в записную книжку, как он называл свой дневник. Иногда он ночью записывал, пренебрегая, как всегда, знаками препинания, то, что по той или иной причине избегал говорить днем. События сего-

дняшнего дня взволновали его. Грановский не выходил у него из голо́вы. Он писал:

«Грановский, придерживаясь своего рода идеализма, неизбежно наталкивается на противоречия, которые ему приходится разрешать поэзией, общечеловечностью, логическими штуками и пр. В такие минуты мне до того тяжело смотреть на него, что слезы навертываются на глазах».

Раздался стук в дверь. Герцен положил перо. Вошел Грановский. Они молча смотрели друг на друга. Вид у обоих смущенный.

— Что, не спится? — пробормотал Герцен, не зная, что сказать.

— Мы не можем так расстаться,— сказал Грановский запинаясь.— Вы оба, ты и Огарев, прикреплены к моей душе такими нитками, которые нельзя перерезать, не захватив живого мяса.

— Ну, слава богу! — вырвалось у Герцена.

Он широко улыбнулся и обнял Грановского.

Перед сном Герцен вышел пройтись по саду, чтобы развеять словесный дурман, навеянный целым днем споров. Он был рад примирению с Грановским, он любил его.

В конце темной тропинки он наткнулся на чью-то фигуру. Он хорошо видел в темноте и сразу угадал в грузном силуэте Анненкова.

— Павел Васильевич, что так поздно?

— А вы, Александр Иванович?

— Да вот брожу... Я окунаю лицо в хвою, притом, заметьте, не в нижние ветви, а, напротив, в самые верхние, в те, что на верхушке сосен и елей, там они особенно пахучие и нежные.

Молчание.

Потом Анненков сказал своим размеренным голосом:

— Шутить изволите, Александр Иванович.

— Нисколько. Совершенно серьезно.

Анненков молвил даже несколько раздосадованно. Темнота придала ему храбрости. Что это, в самом деле! Уж не за мальчишку ли принимает его Герцен!

— Позвольте,— сказал он сухо,— отметить две странных обмолвки в ваших признаниях. Во-первых, хвоя нисколько не нежна, а, напротив того, колюча и неминуемо исцарапает лицо. Во-вторых, верхушки сосен и елей находятся на высоте примерно купола Ивана Великого. Как позволите все это объяснить?

— Очень просто, фантазией.

Анненков тяжело вздохнул, как бы отдуваясь. Да, нелегко порой с Герценом. Фантазия? Человек был Павел Васильевич вовсе не глупый, даже не лишен известной тонкости. Но вот этой детальки в его душевном наборе не наличествовало.

Огарев вставал поздно. Он страдал бессонницей и отсыпался к утру. После полудня, позевывая, он зашел к Герцену. Он признался тут же, что, ложась спать, он как бы заключает договор с какой-то таинственной частицей своего мозга, которая ведает сном. Причем эта частица от сознания своей власти зазналась, и теперь приходится долго униженно упрашивать ее, чтобы она ниспослала сон.

Раб, который стал повелителем!

Герцен хохотал:

— Славную сказочку ты сочинил, Ник!

Герцен, отроду не знавший бессонницы, спавший свои четыре часа как убитый, считал это признание Огарева поэтической выдумкой и советовал ему на ночь выпивать полбутылки бургундского.

— Твоя частица, наверно, будет довольна.

Огарев внял совету. Но вино оказывало на его рыхлую натуру обратное действие: оно возбуждало его.

Герцен рассказал ему о примирении с Грановским, закончив словами:

— Он в самом деле привязан к нам с тобой накрепко.

Огарев задумчиво потер щеку, измятую сном.

— Я рад этому,—сказал он.— А все же в наши с ним отношения теперь вошла горечь. Что ж, это, может быть, с одной стороны, и хорошо. По крайней мере, Александр, мы теперь знаем, что мы с тобой приютились друг к другу и связаны тем, что мы одни.

## *Муза доноса*

> ...Точно так же, как мы сейчас, в 1908 году, в Петербурге, от мокрых сумерек до беззвездной ночи горели огнем бескорыстной любви и бескорыстного гнева,— точно так же горели этим огнем в том же Петербурге и, надо полагать, в те же часы,— в сороковых годах — Герцен и Белинский, в пятидесятых — Чернышевский и Добролюбов, в шестидесятых... и т. д. и т. д.
>
> *БЛОК*

Чиновное звание Филиппа Филипповича Вигеля длинное и внушительное: вице-директор департамента иностранных вероисповеданий министерства внутренних дел. Но к вечеру, сменяя служебный синий фрак на щегольской черный, он становился, что называется «душой общества» — говорун, острослов (в циническом роде), шаркун. Люди, плохо знавшие Филиппа Филипповича, полагали, что он еще и дамский угодник, наблюдая его порханье вокруг дам и не догадываясь, что оно чисто показное, ибо не

знали стихотворения Пушкина «Из письма к Вигелю», которое кончается строками:

Явлюся я перед тобою;
Тебе служить я буду рад —
Стихами, прозой, всей душою,
Но, Вигель — пощади мой зад!

Человек общительный, Вигель знал всю светскую Москву, каждый вечер бывал в гостях, перенося сплетни из одной гостиной в другую. Именно он, по выражению Герцена, «немецкого происхождения русский патриот» (известный не с лицевой стороны по эпиграмме Пушкина), пустил в ход, то есть читал в разных домах, доносительские стихи Языкова.

Читал и расшифровывал: «сладкоречивый книжник, оракул юношей-невежд» — Грановский, «легкомысленный сподвижник беспутных мыслей и надежд» — Герцен, «плешивый идол строптивых душ и слабых жен» — Чаадаев.

Не довольствуясь этим и ревнуя к доносительскому темпераменту Языкова, Вигель и сам написал донос петербургскому митрополиту Серафиму на Чаадаева. А кстати, назвал «Ревизор» Гоголя «клеветой в пяти действиях».

Конечно, не везде чтение Филиппа Филипповича имело успех. Например, в салоне поэтессы Каролины Павловой. Там его сенсационная декламация была встречена холодно. Поэтесса осудила поэтическую клевету Языкова в своем ответе:

Во мне нет чувства, кроме горя,
Когда знакомый глас певца,
Слепым страстям безбожно вторя,
Вливает ненависть в сердца...
Мне тяжко знать и безотрадно,
Как дышит страстной он враждой,
Чужую мысль карая жадно
И роясь в совести чужой.

Такие нравственно-чистоплотные славянофилы, как братья Киреевские — Иван и Петр, как Константин Аксаков, отплевывались от памфлетов своего единомышленника Языкова. Константин Аксаков писал Юрию Самарину:

«Стихи Языкова сделались орудием людей, с которыми у нас нет общего... против людей достойных и прекрасных».

Даже Гоголь, столь дружественно в свой религиозно-мистический период относившийся к Языкову и первоначально похваливший его антизападнические стихи, написал ему по поводу пасквиля «К не нашим»:

«Нельзя назвать всего совершенно у них ложным... к несчастию, не совсем без основания их некоторые выводы».

Но как же все-таки Николай Языков, поэт радости и хмеля, опустился до того, что написал стихотворные доносы?

А ведь было время, когда он дружил с Рылеевым и сам писал:

Я видел рабскую Россию:
Перед святыней алтаря,
Гремя цепьми, склонивши выю,
Она молилась за царя.

Его песни «Нелюдимо наше море» и «Из страны, страны далекой» живут второе столетие. К нему благоволил Пушкин, живал с ним в Тригорском, даже зазвал его перед своей свадьбой на мальчишник, писал ему: «Издревле сладостный союз поэтов меж собой связует».

Но если присмотреться, это была странная дружба. Языков поносил «Евгения Онегина», считал, что проза Марлинского выше прозы Пушкина, издевался над его «Сказками» и написал свою, где допустил неблаговидные наскоки на Пушкина.

А Пушкин со щедростью гения писал: «Клянусь Овидиевой тенью, Языков, близок я тебе».

Конечно, Пушкин был близок Языкову, как Моцарт был близок Сальери. И кто знает, быть может, этот одаренный, но небольшой поэт послужил Пушкину моделью для образа завистника в его гениальной маленькой трагедии.

Тот, кто знал Языкова в молодости, помнил его открытое лицо восторженного юноши, ужасался теперь при виде этого курносого старичка с мочалистой бородкой и злобно-настороженным взглядом слезящихся глаз. А ведь ему только сорок с небольшим.

Его бесшабашная разгульная юность рано наградила его сухоткой спинного мозга — табес дорсалис. Мучительная болезнь ввергла его в религиозно-мистическое настроение. Его подогревал родственник поэта, Хомяков. Языков вскоре стал орудием в руках этого образованного, красноречивого и лукавого человека. В благочестии Языкова, впрочем, было что-то вымученное. От него попахивало вином. По-видимому, он и сам знал это. Он писал приятелю:

— Я перейду из кабака прямо в церковь. Пора и бога вспомнить.

Под влиянием Хомякова он стал славянофилом, но без той идейности, той честности, которая отличала лучших из них даже в заблуждениях. Трудно назвать убеждением бешеную пену на иссохших губах Языкова. Его памфлеты были рассчитанным ходом со стороны Хомякова. Надо сказать, что у некоторых из славянофилов в отношении к Языкову ощущался явный привкус презрительности. Иван Киреевский отозвался довольно своеобразно о книге его стихов:

«Я читаю их всякое утро, и это чтение настраивает меня на целый день, как другого молитва или рюмка водки. И немудрено: в стихах твоих и то, и другое: какой-то святой кабак и церковь с трапезой во имя Аполлония и Вакха».

Первая реакция Герцена на доносительское усердие

Языкова была — отвращение. «Гадкая котерия,— обмолвился он,— стоящая за правительством и церковью и смелая на язык, потому что им громко ответить нельзя».

Но по характеру своему Герцен не мог долго оставаться в созерцательной позиции. Презрительное молчание не его стиль. Он ответил. И громко. Эзоповским языком, правда, но достаточно прозрачно. В статье о первой книге журнала «Москвитянин» он писал:

«...Муза г. Языкова решительно посвящает некогда забубенное перо свое поэзии исправительной и обличительной... озлобленный поэт не остается в абстракциях; он указует негодующим перстом лица — при полном издании можно приложить адресы!..»

Это подействовало как удар бича на компанию Языков — Хомяков — Шевырев — Погодин. С большим удовлетворением Герцен писал через несколько дней в дневнике: «...имя мое приводит их в бешенство».

Герцен скоро распознал истоки славянофильства, в котором прежде кое-что казалось ему привлекательным. Он по нраву своему провозглашал всюду открыто — на пятницах у Свербеева, на воскресеньях у Елагиной, на понедельниках у Чаадаева:

— Славянизм — мода, которая скоро надоест. Перенесенный из Европы и переложенный на наши нравы, он не имеет в себе ничего национального; это — явление отвлеченное, книжное, литературное, оно так же иссякнет, как отвлеченные школы националистов в Германии, разбудившие славянизм.

Если бы Герцен знал, насколько его взгляды на славянофильство как на нерусское явление совпадали со взглядами Маркса, который сказал буквально:

— Панславизм отличается не менее ребяческим и реакционным характером, чем пангерманизм.

Как-то в салоне Дмитрия Николаевича Свербеева кто-то пискнул (уж не Разнорядов ли?), что не странно ли,

что Герцен попрекает славянофильство в немецком происхождении,— ведь сам-то он полунемец!

Это было в отсутствие Герцена. Его ждали, но он где-то задержался — возможно, покупал подарок для Катерины Алексеевны, жены Свербеева: сегодня ее именины.

Поднялся Дмитрий Николаевич. Коренной москвич — от него, по слову Герцена, исходил фимиам Арбата и Пречистенки,— он сказал...— негодующую дрожь его голоса сдерживало сознание, что он хозяин дома и, следственно, должен быть обходителен с гостями, хотя никак не мог припомнить, когда же он пригласил этого щекастого молодого человека. Впрочем, на их пятницы — вероятно, потому, что их дочь замужем за сосланным декабристом,— нет-нет да и втираются бог знает какими путями некие молчаливые личности с беспокойным взглядом и искательными манерами.

Итак, Дмитрий Николаевич сказал:

— Мало ли крови намешано в русском человеке! Россия — это гигантская этнографическая утроба, все переварит. Вот и моя фамилия говорит о неком вмешательстве татар. Но как Пушкин производил себя от отцовской русской линии, а не от материнской негритянской, так и Герцен производит себя от отцовской яковлевской линии, а не от материнской немецкой. Да что говорить! Разве в этом дело? Гораздо удивительнее, каким образом у вялого мизантропа Яковлева и у кроткой, но такой ординарной Луизы Гааг родился огнедышащий Герцен? Какой удар по физиогномике Иоганна Лафатера и прочим ученым знатокам человеческой породы!

Несколько поостыв, Свербеев процитировал двустишие Щербины, знакомое ему по рукописи:

Я слишком русский человек,
Чтоб сделаться славянофилом.

— Полагаю,— сказала Катерина Алексеевна, подняв свою прелестную головку,— что человека определяет не

кровь, а та культура, которая его вскормила. Во всяком случае, я прекратила знакомство с Языковым, да и с Вигелем, который распространяет его дурно пахнущие стихи.

Общий разговор перешел словно бы и на другие темы. Прямо о славянофильстве уже не говорили. Но до него было рукой подать и от других тем. Например, о Петре I. Кое-кто читал в списке все еще запрещенного «Медного всадника». Подоспевший к этому времени Герцен сказал, что в Петре удивительное сочетание гениальности с натурой тигра.

Чаадаев, по своему обыкновению стоявший у стены скрестив руки, заметил, что некоторые современные фантазеры пытаются свалить эту великую фигуру и возродить свою ретроспективную утопию, то есть обратить жизнь вспять.

Эта отвлеченная сентенция не до всех дошла, и Герцен счел нужным расшифровать ее:

— Государственная жизнь допетровской России была уродлива, бедна, дика — а к ней-то славянофилы и призывают возвратиться.

Табу, наложенное на славянофилов, было нарушено. Но в этот момент вошли Михаил Петрович Погодин и Алексей Степанович Хомяков, столпы славянофильства, правого его крыла.

Погодин, высокий, тощий, длиннополый коричневый сюртук висит на нем как на вешалке. Он прислушался к Герцену. Вислоносое лицо его выразило насмешливое внимание. Он сказал Хомякову вполголоса:

— Помяни мое слово: этот блудный сын того и гляди махнет к нам сюда, да еще прямо в Соловки! Там монахом, пожалуй, и кончит свой век.

Хомяков, губастый, с мешками под монгольскими глазами, ответил так же тихо, голос у него неожиданно нежный, бархатистый:

— Ты совсем его не понимаешь. Он на днях сказал:

«Славянофилы хотят прикарманить меня. Черта с два я им дамся!»

— Но он дружит с Иваном Киреевским, с Костей Аксаковым, а в Юре Самарине души не чает.

— У тебя сведения позавчерашние. Сегодня никакой близости с Ваней Киреевским у него нет. Между ними — церковная стена. То же и с Аксаковым. Что до Самарина, то там действительно дело доходило до дружбы. А кончилось тем, что Герцен обозвал его раболепным византийцем, защитником самодержавия и церкви. Но я люблю разговаривать с Герценом. Скрестить мечи с ним — одно удовольствие, он чертовски умен.

Подойдя к Герцену, Хомяков сказал:

— Я только что говорил Михаилу Петровичу об удовольствии обмениваться с вами мыслями. Действительно, давайте поспорим о чем-нибудь, чтобы эта пятница не выглядела такой одноцветной.

Герцен готов был вспылить. Сдержал себя:

— Уж не принимаете ли вы меня, Алексей Степанович, за снаряд для ваших гимнастических упражнений? А по-моему, вы спорите, чтобы заглушить в себе чувство пустоты.

Хомяков засмеялся. Это была его манера. Он никогда в споре не сердился. А все посмеивался. Припертый к стене, заходил с другого боку. Герцен не преминул это заметить:

— Знаете, Алексей Степанович, ваш смешок — как подушка, в которой тухнет всякое негодование.

— А за что вам негодовать на меня, Александр Иванович? За то, что я вижу в вас истинную духовность верующего человека? Да, да! Только вы не догадываетесь, как называется ваша вера. Верующий может временно заблуждаться. Я знаю, вам близки идеи о всемирности некоего учения. Эта дорога неизбежно приведет вас к признанию духовной власти русско-византийской церкви, которая возобладает в мире.

— Вы пытаетесь втянуть меня в ваши обноски. Но мне в них узко, Алексей Степанович. Скажу вам просто, что в вашем учении я вижу новый елей, помазывающий благочестивейшего самодержца всероссийского, новую цепь, налагаемую на независимую мысль, новое подчинение ее какому-то монастырскому чину, азиатской церкви, всегда коленопреклоненной перед светской властью.

— Вы веры народной не касайтесь вашими безбожными руками, Александр Иванович. Это — святое место.

— А знаете, я в вашу веру не очень верю, простите нечаянный каламбур. У вас ведь не вера, а какая-то натянутая набожность. Исполнение обрядов при настоящей наивной вере трогательно. Но оно же оскорбительно, когда в нем видна преднамеренность.

Хомяков хохотнул, но тут же, сделавшись серьезным, сказал:

— Не в первый раз я говорю вам это, скажу еще раз...

Герцен перебил:

— Из принципа: repetitio est mater studiorum [1].

— А вы удержитесь от скептицизма, Александр Иванович. Смирите ваш разъедающий разум. И вы только выиграете от этого, ибо разум с трудом добирается до того, что вера дает готовым.

— Так чего стоит это готовое, данное вам как подарок, а не завоеванное с бою! Так вот, Алексей Степанович, чтобы покончить с этим: «подарок» — это ваш идеализм. А «завоеванное» — это мой материализм.

— Но ведь и веру надо завоевать. Для этого, быть может, надобны такие высокие духовные доблести, какие не под силу разуму, вечно спотыкающемуся. Вспомните хорошо вам известного Ивана Киреевского. Ведь он настоящий рыцарь веры. Слышал, вы разошлись с ним. Признай-

[1] Повторенье — мать ученья *(лат.)*.

тесь, вы сожалеете об этом. Потерять Ивана Киреевского — это большая утрата.

— Я продолжаю уважать его, хоть наши пути несходны. Он чистый человек. Но фанатик.

— Такой же, как ваш Белинский.

— Но содержание его фанатизма другое. Кстати, я получил от него письмо, где он пишет и о вас, Алексей Степанович.

— Воображаю! Трактует меня, должно быть, как молодца с большой дороги.

— Представьте, кой в чем отдает должное вашим талантам. Да вот, не угодно ли, письмо при мне.

Из внутреннего кармана фрака Герцен вынул листок бумаги. Хомяков протянул руку.

— Нет уж, я сам,— сказал Герцен и начал читать: — «Я знаю, что Хомяков — человек неглупый, много читал и вообще образован...» Ну, тут идет цитата из Барбье... А вот дальше прямо о вас: «Хомяков — это изящный, образованный, умный... Хлестаков, человек без убеждения — человек без царя в голове, он...» Ну, дальше не стану читать, Белинский дает волю своему темпераменту.

Герцен свернул листок, сунул его в карман.

Хомяков так и покатился со смеху. Утерев слезы, он сказал:

— Покорно благодарю за такие комплименты. Как говорится в известных стихах Языкова:

> Вы, люд запосчивый и дерзкой,
> Вы, опрометчивый оплот
> Ученья школы богомерзкой,
> Вы все — не русский вы народ!

Сказал, вернее, почти пропел эти стихи и лукаво глянул на Герцена — как он на них? Выйдет из себя, должно быть, зайдется в гневной истерике. А Хомякову это — чистое удовольствие.

Но Герцен сказал спокойно и серьезно:

— Знаете, Алексей Степанович, отвратительные доносы Булгарина не оскорбляют, потому что Булгарин работает из-за денег, а господа ваши единомышленники, Языков в том числе,— из убеждения. Хорошо же это убеждение, дозволяющее прямо делать доносы на людей, подвергая их всем бедствиям деспотического наказания.

Смешок Хомякова звучал на этот раз довольно принужденно.

Он только и сказал:

— Ну, уж вы скажете! Булгарин нам не союзник.

— Не союзник, говорите? Но благонамеренные писания ваших единомышленников, полные лакейского поклонения перед самодержавием, поразительно похожи на недавнее выступление Булгарина в «Северной пчеле», где он, рассуждая о проведении железной дороги между Петербургом и Москвой, писал, что не может без умиления думать, как один и тот же человек сможет утром отслужить один молебен о здравии государя императора в Казанском соборе, а вечером второй — в Кремле. Засим — мое почтение.

Откланялся, отошел.

— Нет, погодите,— догнал его Хомяков,— оставим речь об убеждениях, здесь мы не сойдемся. Но вы должны признать, что независимо от содержания стихи Языкова блестящи. Все девять муз ему покровительствуют.

Герцен остановился. Насмешливая искорка блеснула в его глазах. Он сказал:

— Вы забыли о десятой музе — музе доноса. А впрочем, стихотворец он недурной. Вот он бы по-родственному помог бы вам. А? Я ведь помню ваши любовные стихи, обращенные к Александре Осиповне Смирновой-Россет:

О дева-роза! для чего
Мне грудь волнуешь ты
Порывной бурею страстей,
Желанья и мечты?

Будь жив Тредиаковский, он умер бы от зависти. Такого блеска даже он не достигал в области стоеросовых виршей.

Конечно, это был удар ниже пояса. Но с такими господами не церемонятся. Герцен знал о безответной страсти Хомякова к красавице Смирновой-Россет, избалованной поклонением Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Гоголя, посвятивших ей вдохновенные строки.

Хомяков не сдавался. Он находил странное удовольствие в этой умственной мастурбации (так назвал Огарев прения с славянофилами). Он старался нащупать слабое место Герцена, чувствительную точку в его духовном организме и делал это с дотошной тщательностью прозектора.

Он проглотил цитату о «деве-розе», сделал вид, что ее словно и не было произнесено. Он снова круто вернул разговор в русло социальных проблем:

— Ведь что составляет зерно наших убеждений, Александр Иванович? Хотелось бы, чтобы вы уразумели это. Может быть, встречаются порой и у нас какие-то увлечения боковые, в принципе не присущие нам. Но ведь основное здоровое ядро нашего учения — это открытие значения общинного быта русской деревни, глубоко свойственного нашим национальным особенностям и составляющего гордость нашего патриотизма.

Герцен слушал внимательно. Потом сказал:

— Полноте, Алексей Степанович, патриотизм у нас превратился во что-то кнутовое, полицейское.

— Вот! — с торжеством вскричал Хомяков,— вот признание сердца! Вы разоблачили себя! Слова эти не могли бы выйти из уст человека, который искренне любит Россию.

Герцен помолчал, потом сказал с силой сквозь сжатые зубы:

— Я люблю Россию, потому что знаю ее, люблю созна-

тельно, рассудком. Но немало есть в России и такого, что я безмерно ненавижу всей силой ненависти.

— Вот, вот! — по-прежнему торжествуя, кричал Хомяков посмеиваясь.— А сердца, души в вашей любви нет. Мы болеем за Россию-матушку, а вы за абстрактное человечество.

— Да. И тем самым за Россию.

Однако Герцену надоело это фехтование с одним из самых изощренных московских умников, и он сказал почти грубо:

— В таком случае как же вы, Алексей Степанович, так любя русский народ, забриваете своих крепостных ямщиков — я ведь знаю, вы держите почтовый ямщицкий откуп в губернии, что вам дает немалый доход,— забриваете их за ничтожные провинности в солдаты на двадцатипятилетнюю военную службу, которая является худшим видом каторги?

Хомяков с секунду смотрел на Герцена оторопелыми глазами, что-то пролепетал и быстро отошел.

## *„Для лечения легких жены"*

...Меня пригласили ехать. В тогдашнее время ехать за границу равнялось почти входу в рай, и как же было противиться этому приглашению.

*Из письма*
*М. К. РЕЙХЕЛЬ к М. Ф. КОРШ*

— Если бы ты был свободен от полицейского надзора, в какую страну ты хотел бы поехать?

Вопрос до того неожиданный, что Герцен вздрогнул.

Он посмотрел на Натали. Она опустила на колени руки с томиком Жорж Занд и ждала ответа.

Необычный вечер, тихий. Без выезда в театр или к друзьям. Без гостей. Без Кетчера. Даже без Огарева. Вечер для себя. Для неспешной беседы. Для согласного молчания вдвоем, когда души ведут немой разговор.

Дети спят. За окнами по узкой трубе Сивцева Вражка ветер гонит снежную пыль.

Герцен ответил не сразу. Это была одна из тех мыслей, от которой не отвяжешься, а вслух сказать больно.

— Что толку думать об этом... Там наверху все еще относятся к нам, как к малолетним преступникам...

Он не докончил, махнул рукой.

Она заговорила несколько возбужденно:

— Что ж, мой друг, духовное совершеннолетие настало. Я это ярко чувствую, романтизм отлетел от меня.

— Романтизм, говоришь? — удивился он.— Как ты понимаешь его?

— Это трудно рассказать. В общем, это любовь особого рода, она направлена на все, что страдает. Это признак юности, и его уже нет у меня. Но я не жалею. На смену пришел здравый смысл.

— Ты рада этому? Или тоскуешь по романтизму?

— Рада! Я вижу, что здравый смысл не иссушает душу нисколько, это вздор!

— Мне иногда кажется, Наташа, что ты видишь меня сейчас в другом свете.

— Ты хочешь моего признания? Да! Время идолопоклонства прошло. Я уже не вижу пьедестала, на котором ты стоял, ни сияния вокруг головы твоей. Но люблю тебя ужасно много, этой любовью я вся полна.

Герцен подошел к Натали, опустился на колени и стал целовать ей руки, целовал несчетно.

Она склонила гладко причесанную голову и поцеловала его в лоб.

Он вынул из кармана письмо:

— Ты знаешь, что мне пишет Огарев? «Наташа для

тебя значит более, чем я. Но я для тебя все же незаменим». Ник ревнует меня к тебе.

Натали засмеялась. Герцен расцвел от радости. Она редко смеялась. Ее смех — звонкий, какой-то детский, был для него как праздник.

— Вернемся же,— сказала она,— к началу нашего разговора.

— Куда ехать? Франция? Италия? Германия? Но что мечтать! Стены моей тюрьмы чуть-чуть раздвинулись. Именно чуть-чуть. Даже на поездку в Петербург я должен испрашивать специальное разрешение у частного пристава, чуть ли не у квартального. Я все еще узник. Царская опека, сиречь полицейский надзор, висит на мне как кандалы.

Помолчав, он добавил:

— Я ведь уже подавал заявление о поездке за границу.

— Знаю, что отказали. Кто? Ты мне никогда не говорил этого.

— В самой высокой инстанции. Поэтому — безнадежно.

— Я только знаю, что за тебя хлопотал граф Строганов. Он твой поклонник, и поэтому удивительно...

— Не только за меня, за нас обоих. В его ходатайстве было сказано: «...о разрешении Герцену выехать вследствие болезни жены на несколько месяцев в Италию...» Ходатайство дошло до шефа жандармов Бенкендорфа. Он доложил об этом царю. И тот наложил резолюцию на его докладной. «Переговорим». Резолюцию покрыли лаком, чтобы сохранить нетленной для потомства.

— Это еще не отказ.

— А пониже этой лакированной резолюции рукой Бенкендорфа позже приписано: «Не позволено». Переговорили, значит. И скреплено подписью управляющего III отделением Дубельта, который все это мне любезно показал.

Говоря это, Герцен не переставал шагать по комнате. Казалось, самое движение помогает ему высказываться. Сейчас и в голове его, и в жестикуляции преобладающим чувством было недоумение.

— Заметила ли ты, Натали, что среди демократических свобод, обычно упоминаемых во всех декларациях прав человека, неизменно значатся свобода слова, собраний, печати, совести, то есть религиозных и политических убеждений. Но никогда в этом традиционном перечне не упоминается свобода передвижений по земному шару,— настолько естественными представляются эти потребность и надобность человека. Внести в список гражданских прав человека свободу передвижения представляется таким же нелепым, как если бы кому-нибудь вздумалось внести туда свободу дышать.

Разговор этот происходил в самом начале ноября.

А через неделю, 6 ноября сорок шестого года, Герцена наконец освободили от жандармской опеки: с него сняли полицейский надзор. Это отнюдь не просто канцелярская операция. Как можно! Сам шеф жандармов и главный начальник III отделения его императорского величества канцелярии Алексей Федорович Орлов доложил о таковом проекте императору всероссийскому Николаю I и получил всемилостивейшее соизволение. Шеф жандармов доводит об этой высочайшей милости до сведения министра внутренних дел Льва Алексеевича Перовского, а начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III отделением Леонтий Васильевич Дубельт наконец докатывает этот полицейский колобок до Герцена.

Герцен немедленно пишет об этом Огареву, присовокупив фразу, дышащую робкой надеждой: «Сейчас, возможно полагать, уже нет препятствий к моей поездке за границу».

Слух об этом быстро пополз по Москве. Боткин обегал друзей и знакомых, сообщая с сенсационным видом:

— Герцен теперь свободен и весной едет за границу с женой и двумя детьми.

Действительно, довольно скоро в руках у Герцена оказался заграничный паспорт «на шесть месяцев в Германию и Италию для лечения легких жены».

Поездки эти были так редки, что о каждой сообщалось официально в газетах. «Московские ведомости» не замедлили трижды напечатать публикацию о предстоящем отъезде Герцена.

Предотъездные хлопоты! Что брать с собой? Как обеспечить возки для поездки до границы? Как утеплить их — время-то зимнее! Сюда прибавились хлопоты по добыванию добавочных заграничных паспортов — ехала с Герценами большая компания: его мать, а также близкие друзья, Мария Федоровна Корш и Мария Каспаровна Эрн — в качестве гувернанток. Карла Ивановича Зонненберга, старинного гувернера Ника Огарева, перешедшего к Герцену на неопределенное секретарски-дружеское положение, кормилицу Татьяну и шубы предполагалось от прусской границы отправить вместе с возками обратно в Москву. А самим в пограничном пункте Таурогене пересесть в дилижанс. В европейский дилижанс!

Накануне отъезда, 18 января, Грановский устроил у себя прощальный вечер. Пришли все: Корши, Кавелины, Кетчер, Боткин, Щепкин, Чаадаев, Астраковы. Елизавета Богдановна Грановская была суха с Герценами, почти враждебна. А ведь хозяйка! Натали Герцен смотрела на нее чуть ли не с завистью: конечно, грустно, что она отшатнулась, но ведь ни капли притворства, никаких румян вежливости и приторных прикрас гостеприимства.

И это не просто дамская размолвка. Как бы ни наседали на Грановского со своими дружескими нападками Герцен и Огарев, никогда Тимофей Николаевич не примирит-

ся со смертью Станкевича и любимой сестры. Путем сложных духовных исканий, не прибегая к помощи религии, он выработал в себе веру в личное бессмертие, во встречу с любимыми там, в потустороннем мире. И этой верой Грановский заразил жену.

Когда Герцен в тот памятный день в Соколове наступил на веру Грановского своей тяжелой материалистической пятой, Грановский оскорбился. Но не мог побороть привязанности к Герцену.

А Лиза была фанатичнее своего мужа. Она напрочь порвала с Натали, с которой до того была в сестринском согласии, при этом на положении как бы младшей сестры, которую названая старшая обожала.

Не все друзья знали, насколько слитно духовное единение Грановского и Лизы, очень молодой, очень молчаливой, даже строго-молчаливой. Может быть, один Огарев несколько догадывался об этом, когда писал Грановскому:

...говорить со мной
Ты можешь только да с женой
О тайном внутреннем страданье...

Когда гости разошлись и Грановские остались одни, Лиза, хорошая пианистка, играла Моцарта, чтобы привести мужа в ровное состояние духа.

На следующий день, 19 января, провожающих опять большое общество. Тройки нанимал Сережа Астраков в Дорогомилове. Хоть и мороз был в этот день лютый — двадцать шесть градусов! — однако народу набралось на пятнадцать троек. Ямщики дивились: «Да так только царей провожают...»

Съехались в Черной Грязи, второй почтовой станции от Москвы по Петербургскому тракту. Пока меняли лошадей, Герцен дал друзьям прощальный обед. Все устраивал хлопотун Зонненберг, фазанов навез, шампанское исключительно трехрублевое.

Обед прошел в полном дружелюбном согласии. По крайней мере внешне. Отъезд Герцена как бы сгладил противоречия, возникшие среди друзей. Конечно, уголья тлели, и, вероятно, жжение их ощущалось где-то в душевном подполье, но им не давали разгораться в пламя. Молчаливое соглашение. Даже Кетчер смирил себя и с немым обожанием смотрел на Натали, горюя о ее отъезде. В общем, прикидывались, что все заодно, что никакого «генерального межевания», по слову Герцена, среди них нет. Только Лиза Грановская по-прежнему не вымолвила с отъезжающими ни слова. Рука ее в прощальном пожатии была холодной и вялой. Грановский же долго не выпускал Герцена из объятий. И успел шепнуть ему:

— Если бы не было на свете истории, моей жены, вина и всех вас, я, право, не дал бы ни копейки за жизнь...

Прощаясь с Герценом, многие плакали: уезжая, он отнимал себя у друзей. Он составлял для них, как выразился один из провожающих, такую необходимость в жизни, что утрата его больно поражала их.

Позвольте! Какая «утрата»? Не навсегда ведь он уезжает. Да и сам Герцен был уверен, что через полгода вернется.

Из Рима он писал Анненкову в марте сорок восьмого года:

«...Полагаю остаться здесь не долее 1 апреля. Смотря по обстоятельствам — или в Питер, или к вам...»

В том же марте Василий Боткин извещал Анненкова:

«Герцен еще в Париже; на днях писал, что намеревается будущим летом воротиться...»

Он не вернулся никогда.

Но он не отнял себя у России.

## *Харя мещанства*

Цезарь лучше знал галлов, чем Европа русских.

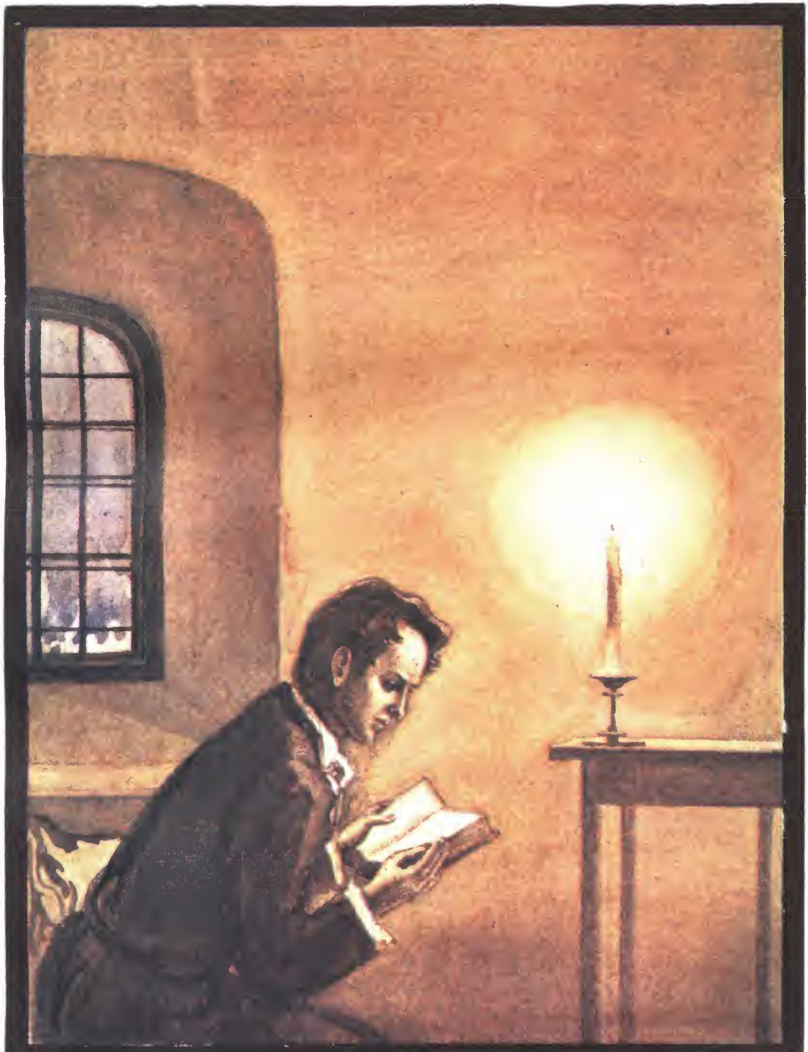
*ГЕРЦЕН*

Первые впечатления Герцена за границей похожи на ощущения узника, вырвавшегося на волю. Что ему до Кенигсберга! Он даже не пошел поклониться могиле того великого чудака, который жил в Кенигсберге, ни разу не покинув его и знал только один путь — он проделывал его с постоянством часового механизма — из дому в университет и обратно.

А ведь сколько бессонных ночей потратил на него в юности Герцен, штудируя его как предтечу Гегеля и умиляясь единственному его резкому поступку: узнав о провозглашении во Франции республики в 1792 году, Иммануил Кант почтительно и благоговейно снял с головы свою бархатную профессорскую ермолку.

Но Герцену сейчас не до философов. Другие чувства владели им. Он бродил по ничем не замечательным улицам Кенигсберга, и ему казалось, что талый снег, который он месил ногами,— это земля свободы. Ибо это первый город, в котором он «отдохнул от двенадцатилетних преследований... почувствовал, наконец, что я на воле, что меня не отошлют в Вятку, если я скажу, что полицейские чиновники имеют такие же слабости, как и все смертные, не отдадут в солдаты за то, что я не считаю главной обязанностью всякого честного человека делать доносы на друзей».

Это чувство свободы до того непривычно, что ему казалось, что во всех прохожих есть какая-то прекрасная черта вольности, она выражается в их взгляде, в походке, в голосе — у всех без исключения. Все встречные, мнилось



ему, «смотрят весело и прямо в глаза, и я стал смотреть весело и прямо в глаза...».

Но уже через месяц, попривыкнув к чувству освобожденности от отечественного гнета и приглядевшись попристальнее к окружающей обстановке, Герцен пишет московским друзьям:

«В Германии есть какой-то характер благоразумной середины и добросовестного порядка, который чрезвычайно противен».

Сквозь миловидность устроенной жизни стала все чаще просвечивать самодовольная харя мещанства. Вот враг, который страшил Герцена во все времена, на всех широтах. Недолго он обольщался внешним благообразием европейской жизни. Свойственные ему острая наблюдательность, быстрота реакции, дар глубоких обобщений помогли скоро разобраться в коренной сущности устоявшегося мещанского быта.

Впечатление было настолько ярким, что некоторое время он ни о чем другом не мог говорить. Это ошеломляющее открытие Запада, которое западник Герцен сделал для себя, отозвалось в нем болью. Он знал всю силу своих былых иллюзий и знал, что их разделяют друзья, оставшиеся в Москве. Это к ним он обращал слова, пронизанные горечью:

— Я знаю, что мое воззрение на Европу встретит у вас дурной прием. Мы, для утешения себя, хотим другой Европы и верим в нее, как христиане верят в рай. Разрушать мечты вообще дело неприятное, но меня заставляет какая-то внутренняя сила, которой я не могу победить, высказывать истину — даже в тех случаях, когда она мне вредна.

Эта внутренняя сила продиктовала ему такую беспощадную формулировку:

«Под влиянием мещанства все переменилось в Европе. Рыцарская честь сменилась бухгалтерской честностью, изящные нравы — нравами чинными, вежливость — чопор-

ностью, гордость — обидчивостью, парки — огородами, дворцы — гостиницами...»

Много грустных и гневных строк посвятил Герцен торжествующему мещанству. Он изливает свои негодующие впечатления всюду: в «Письмах из Франции и Италии», в «Роберте Оуэне». Его острый аналитический взгляд пронзает всю толщу европейского общества.

«Вверху и внизу разные календари. Наверху XIX век, а внизу XV, да и то не в самом низу — там уж готтентоты да кафры различных цветов, пород и климатов».

Впрочем, свое отвращение и даже ненависть к мещанству Герцен выражает не только на бумаге, но и в беседах с посетителями, которых во время трехнедельного пребывания в Берлине набралось не меньше, чем в Москве. Чаще всех приходил Тимоша Всегдаев, влюбившийся одновременно в обоих Герценов — и в Александра, и в Наталью — конечно, по-разному. Наташа писала о нем в Москву друзьям: «...предобрый и пресмешной человек, как будто в нем все действует паровой машиной: бежит на лекцию Вердера, бежит в концерт с участием Виардо, в театр, в кафе, к нам, бежит ко всем и всюду, говорит о музыке, о философии... в нескольких разом влюблен».

В этом месте Герцен, лукаво и нежно усмехнувшись, вписал: «В том числе и в мадам Herzen...»

Тощий, долговязый, с маленькой головой на длинной шее, с большими ручищами и ступнями, Всегдаев при всей своей неловкости и неуклюжести располагал к себе добродушием и безобидностью почти детской. А между тем он был уже в летах, с брюшком, и в своем министерстве просвещения достиг солидных степеней. К Герцену он прилепился мгновенно. По свойствам натуры своей Всегдаев должен был иметь бога, то есть предмет для поклонения. Когда-то им был Станкевич. Он свято чтил его память. С благоговением вспоминал он, как Станкевич однажды прозвал его «Иногдаев». Он объяснял это шутливостью, к

которой был склонен Станкевич, не подозревая, что он, Всегдаев, имел в себе нечто комическое, что возбуждало желание посмеяться над ним, пусть и незлобно, но порой довольно чувствительно.

Сейчас Всегдаев напомнил Герцену любимую цитату Станкевича из Шиллера: «Два цветка манят человека: надежда и наслаждение,— кто сорвал один из них, не получит другого».

— И вот Станкевич,— продолжал Всегдаев,— при этом говорил: «Я сорвал надежду». А может быть, было бы лучше, если бы он сорвал наслаждение. Возможно, он остался бы жив.

— Но тогда,— заметил Герцен,— он не был бы Станкевич. А вообще говоря, и он сам, и его друзья — в том числе и вы — были философы. А вот мы, Огарев, Сатин, Сазонов — словом, все наши, были политики. Да так это и сегодня. Вот вы, Всегдаев, сидите сейчас против меня, набитый немецкой философской премудростью. А Россия томится в рабстве. Но вам это нипочем, даром что я вас встретил у Белинского. Видно, его уроки не пошли вам впрок.

Услышав имя Белинского, Всегдаев вздохнул с непритворной грустью. Да, отдаленность от Белинского образовала в его жизни брешь. Он, мнилось ему, все отдал бы, чтобы снова услышать обращенное к нему, добродушно-ироническое «молодой глуздырь!». Как драгоценность он хранил две коротенькие записки Белинского.

— Да...— сказал он, задумчиво поглаживая недавно отпущенные бакенбарды,— Виссарион Григорьевич почтил меня своим доверием. Много замечательных речей наслышался я от него. Я не обольщался, знал, что он рассматривает меня не более чем сосуд для его излияний.

— Амфору, что ли? — вставил Герцен, которого во время бесед с Всегдаевым не покидало ласково-насмешливое настроение.

— Ну что вы!

— Но не урыльник же! — не удержался Герцен от крепкого словца.

Но тут же, чтобы предупредить возможную обиду, сказал:

— Я знаю, что Белинский оттачивал на вас, как на оселке, свои гневные инвективы. Помнится мне, он как-то пробирал вас за любовь к Марлинскому.

При этих словах Всегдаев сладко зажмурился, хотя, право же, в этом восклицании не было для него ничего отрадного. Но ему льстило, что Герцен избрал его мишенью для своего острословия.

— А вы помните? Виссарион Григорьевич сказал мне тогда, что у Марлинского все герои — родные братцы, которых различить трудно даже их родителю.

И Всегдаев залился радостным смехом.

Он и в Берлин приехал не столько из любви к науке, сколько из подражательности. Среди слушателей профессора Вердера в разное время — курс логики, конечно по Гегелю,— были Станкевич, Грановский, Тургенев и другие русские, которых тогда не называли интеллигентами только потому, что еще не было этого слова. С некоторой натяжкой иных из них можно назвать «любомудрами», других — «архивными юношами», хотя, конечно, они не вмещались в это и более широко определялись как «образованное меньшинство».

Узнав, что Герцен посетил Берлинский университет, Всегдаев радостно всполошился:

— Не правда ли, Александр Иванович, сильное впечатление?

— Сильное потому, что вспомнилось, что по этим коридорам ходили и Фихте, и Гегель. Но отнюдь не потому, что по ним сейчас шмыгает профессор Вердер.

— Почему?!

— Как лилипут, он путается в ногах гигантов. Образованность его заемная. А его трагедии и «Чтения о драмах

Шекспира» окончательно выдают, что он не что иное, как великая бездарность гегелизма.

Кончилось тем, что Всегдаев начал покорно поддакивать Герцену, когда тот говорил, что мир мещанства губителен для искусства, да и вообще мещанство — это выражение животной стороны человечества.

И Герцену стало скучно разговаривать с Всегдаевым, ибо податливость собеседника всегда действовала на него усыпляюще, он воспламенялся от сопротивления.

— На кого, по-твоему, похож наш друг Тимоша Всегдаев? — спросила Натали, когда Всегдаев ушел.

— На всех либеральствующих чиновников средних способностей и неопределенного возраста.

— Это вообще. А преимущественной своей стороной?

— Ума не приложу.

— На другого нашего друга, на Павла Васильевича.

— Анненкова?

— Не правда ли?

— Погоди, погоди... А в этом что-то есть. Конечно, Анненков неизмеримо образованнее, да и вкус у него изощреннее. Но вот эта черточка — ты, конечно, ее имеешь в виду — вращаться в лучах светила...

— Вот, вот! Громкое имя таит для него какую-то магнетическую силу. То мы видим Павла Васильевича на коленях перед Белинским, то он при Гоголе. То на посылках у Тургенева. А теперь, кажется, ты стал для него притягивающей силой.

— Ты права. В нем есть что-то бабье.

— Ах вот почему,— сказала Натали смеясь,— из Павла его переименовали в tante Pauline... [1]

— У Анненкова есть еще одно прозвище. Одна загра-

[1] — тетя Полина *(нем.)*.

ничная хозяйка прозвала его: Hahnenkopf, то есть Петушиная Голова.

— Почему? — изумилась Натали.

— Не только потому, что это немецкое слово созвучно с его фамилией. Разве ты не замечала, как он важно закидывает голову, чтобы придать себе больше значительности, а своему кукареканью — больше основательности.

— Ты недобр к нему, Александр. У каждого из нас есть мелкие смешные недостатки.

— Конечно. И у меня тоже. Ты же не раз справедливо упрекала меня в скорости, то есть в скоропалительности, моих выводов, решений, поступков. Конечно, я в этом грешен. А в Павле Васильевиче есть и немало хорошего.

— Например, наблюдательность.

— Верно. Но беда в том, что его добродетелям положен предел. Преобразовать свою наблюдательность в художественный талант ему не дано. Он способен замечать только поверхность событий. А проникнуть в их драматическую сущность у него не хватает ни силы, ни прозорливости. И потом — это вечное его поддакивание. С Гоголем он был монархист. А со мной — социалист. Ты помнишь эпиграмму Некрасова на Анненкова? Нет? Вот она:

> За то, что ходит он в фуражке
> И крепко бьет себя по ляжке,
> В нем наш Тургенев все замашки
> Социалиста отыскал.

— Теперь я понимаю,— сказала Натали задумчиво,— почему он и Всегдаев сторонятся друг друга.

— Потому что каждый из них чует в другом соперника?

— Но главным образом карикатуру на себя. Или изображение в кривом зеркале.

— Натали, это великолепно сказано!

## *Чтения*

> ...В конце концов только одно чувство может пройти через всю жизнь с начала до конца — это дружба...
>
> *ОГАРЕВ*

Жарким июльским днем приехали в Париж Белинский и Анненков. Едва раскрыли чемоданы в номере отеля Мишо, как нагрянул Герцен, а с ним Бакунин и Сазонов. Радостна была встреча.

— Что вглядываетесь в меня? — спросил Белинский, высвобождаясь из объятий друзей.— Плох я стал, да?

Впрочем, тут же засмеялся:

— Да и тебя, Герцен, я, пожалуй, не узнал бы на улице, бороду ты стал подстригать по-европейски.

— С Геркулесом я тебя, конечно, не спутал бы,— сказал Герцен, внимательно оглядывая изможденное лицо Белинского.— Ну, да с доктором Тира де Мальмор уже договорено, он, кудесник, и не таких, как ты, выхаживал. Только ты уж не перечь ему. Из его Maison dé santé [1] ни шагу.

Сазонов, маленький, толстый, сидел, чопорно выпрямившись, на диване. Батистовым платочком, от которого исходил тонкий запах духов, он отирал вспотевший лоб. Под глазами — темные круги гуляки и ученого затворника.

Анненков вольготно расположил в кресле свое объемистое тело и, скрестив руки на животе, вращал большими пальцами. Натали подумала, что это похоже на то, что Анненков вяжет на спицах, и это очень идет к нему.

Длинный, костистый Бакунин присел у края стола и принялся свертывать самокрутки. Он не курил, щадя

---

[1] — санаторий *(фр.)*.

больные легкие Белинского, а заготавливал их впрок. Белинский рассказывал о свежих новостях московской жизни.

Герцен сидел в углу, иногда выдвигал из полумрака лицо, сейчас печально задумчивое.

«Как он похож на свою мать! — думал Белинский, поглядывая на него.— Та же пухлая верхняя губа, тот же разлет бровей. А манера фрау Луизы расчесывать волосы, как это нынче предписывает мода, на прямой пробор посреди головы, обнажая высокий великолепный лоб, усиливает это сходство».

Рассказ Белинского о русских делах не радовал Герцена. Он сказал, вздохнув:

— Я часто думаю, что если бы в России на одну йоту было бы лучше, нежели теперь, то просто следовало бы мне ехать в Москву. Там тяжело родится будущее, в Европе тяжело околевает прошедшее.

Бакунин поднял лицо с раздутыми ноздрями, как бы бурно дышащими, и повел немигающими глазами в припухших веках на Герцена, словно хотел что-то сказать в ответ на его горькие слова, но сдержался и только переглянулся с Сазоновым.

Белинский всегда очень чутко воспринимал настроение присутствующих, даже когда они молчали. Сейчас он мгновенно учуял неодобрение к словам Герцена, исходившее от Бакунина и Сазонова, упорно молчавших. Он воскликнул в манере, которая не знавшим Белинского могла показаться запальчивой, но для него была обычной:

— А я одобряю, Герцен, твое решение идти в чужь и оттуда действовать согласно своим убеждениям, что в России невозможно.

Заговорил Сазонов:

— Одобрить-то ты одобряешь, однако сам не поступаешь — не оттого ли, что считаешь, что даже в условиях

жестокой российской цензуры возможно в какой-то форме высказывать свое мнение и этим формировать общественное сознание. Так, например, поступает Грановский. Так поступал в своих прежних сочинениях Гоголь. Это только сейчас в своей несчастной книге «Выбранные места из переписки с друзьями» он переметнулся в стан реакционеров...

Белинский вскочил:

— Ты называешь «несчастным» это гнусное сочинение?! Я написал Гоголю письмо, я вам прочту его.

Он извлек из чемодана опрятно переплетенную рукопись и, откашлявшись, начал читать. Действие письма было разительно. Первые же строки наэлектризовали слушателей. Бакунин забыл о своих сигаретках. Толстые губы его беззвучно шептали; казалось, он порывается сказать что-то, но остерегается прервать чтение. Сазонов сидел в напряженной позе, не сводя глаз с Белинского. Герцен встал и то и дело поглядывал на всех, как бы приглашая присоединиться к своему восхищению. Один Анненков покойно сидел в углу. Он уже слышал «Письмо» еще в Зальцбрунне и, подчиняясь силе его огненных слов, в то же время страдал за Гоголя. «То же, да помягче бы»,— думал он. Он все еще не понимал, что и Белинский страдал, сочиняя «Письмо», что эту новую книгу Гоголя он переживал как тяжелую его болезнь, как его измену самому себе.

Дойдя до слов: «Предоставляю вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия (оно покойно, да, говорят, и выгодно для вас)»,— Белинский зашелся в кашле. Герцен скорбно смотрел на него и шепнул Анненкову:

— Это гениальная вещь! Да это, кажется, и завещание его...

Потом долго гуляли. Белинский выделялся в парижской толпе своим длиннополым сюртуком и патриархальным картузом с длинным козырьком. Он несколько стеснялся своей старомодности. Герцен успокаивал его:

— В Париже никто ни на кого не обращает внимания. Париж — это мировой отель. Парижане ничему не удивляются. Обтерпелись.

Белинский не пропускал ни одного магазина игрушек, покупал для дочки, Оленьки, главным образом разных зверюшек. Он считал, что это для ребенка имеет познавательное значение.

Обедали в Пале-Рояле в ресторане Корацца, где Герцен закатил изысканный обед. Вино несколько разгорячило Сазонова, он снова повернул разговор к книге Гоголя и принялся неумеренно хвалить критические статьи Павлова о ней в последнем номере «Современника». Герцен не согласился.

— Статьи вялые,— сказал он.

— Это можно объяснить,— заметил Бакунин,— приспособлением к цензуре. Вялость, безжизненность успокаивает ее.

Неожиданно за статьи Павлова вступился Белинский:

— В них есть одна тонкая и на редкость правильная мысль. Павлов говорил, что если бы Гоголь перенес «Выбранные места» в «Мертвые души» или в «Ревизора», то там они были бы как нельзя более уместны в качестве высказываний Хлестакова, Коробочки и Манилова. Сознайтесь, что сказано метко.

Быстро пролетели летние месяцы. Белинский вернулся из своего санаторного затворничества под Парижем поздоровевший и окрепший. Кашель уже не терзал его.

Вернулись и Герцены с морского побережья под Гавром.

Накануне отъезда Белинского собрались у Герцена. Он не звал в этот вечер никого посторонних. Только самые близкие. Сазонов, Бакунин. Герцен хотел прочесть друзьям свою последнюю вещь. Название ее звучало, как у многих вещей Герцена, не совсем обычно: «Долг прежде всего».

Белинский, уставший от прощальной прогулки по Парижу, лежал на диване. У изголовья его, в кресле,— Герцен. Рядом столик с лампой и рукописью. На другом диване Сазонов и Натали. Бакунин, как всегда, вертел сигаретки, горбясь могучим торсом над столом и склонив лицо, испещренное морщинами, но не старости,— они были врублены в его лицо не временем, а страстями.

Герцен читал звучным голосом, не изменяя своей спокойной, как бы бесстрастной манере даже в самых драматических местах, и это еще больше распаляло их трагический накал. Голос его модулировал от баса почти к дисканту. Порой чтение прерывалось смешками слушателей, как, например, в том месте, где повесть описывает кормилицу Анатолия:

«...Будучи третий год замужем, она еще не утратила ни красоты, ни здоровья и была то, что называется кровь с молоком, со сливками даже, можно сказать...»

Герцен гнул язык по своей прихоти, каламбурил, забавлялся игрой слов. Могучий русский язык был в полном его подчинении, лежал у его ног, как влюбленный в хозяина пес, ластился к нему. Когда Герцен не находил сразу нужного русского слова, он в творческом нетерпении своем вставлял слова на одном из иностранных языков, чаще всего на немецком.

Когда он перешел к образу императора Павла, Бакунин выхватил из кармана карандашик и принялся записывать это место, так оно ему понравилось:

«...Павел был человек одичалый в Гатчине... это был бенгальский тигр с сентиментальными выходками, угрю-

мый и влюбленный, вечно раздраженный и вечно раздражаемый; он, наверно, попал бы в сумасшедший дом, если бы не попал прежде на трон...»

...Чтение закончено. Герцен захлопнул папку с рукописью. Обвел всех взглядом туманным, отсутствующим, словно он был все еще там — то в княжеском доме среди крепостной дворни, то на парижских революционных улицах эпохи взятия Бастилии.

Первым заговорил Сазонов:

— Не слишком ли много, Александр, ты допускаешь вольностей в обращении с языком?

Герцен резко повернулся. Казалось, что замечание, в котором ему послышался оттенок высокомерного пренебрежения, задело его.

— А с языком не надо обращаться бережно,— вскричал он.— Язык от этого хиреет. Язык надо ломать, подбрасывать в воздух, низвергать с высоты, разбивать и лепить заново. Надо сдирать с него шелуху обыденности, и тогда он воссияет!

— Постой! Ты сказал «воссияет». Но ведь это архаическое слово.

— Прекрасное слово! Архаизм среди новаций сам звучит как новация. Обновленные архаизмы так же выразительны, как и новорожденные слова.

Белинский, давно рвавшийся в бой, нетерпеливо прервал их:

— Признаюсь,— сказал он,— я ошибался в тебе, Александр. Я полагал, что основное в твоем таланте — мысли, а поэзия — агент второстепенный. Но здесь помещичий и крестьянский быт описаны так крепко, так наглядно, как, пожалуй, нигде в нашей литературе. Однако твой Анатоль Столыгин — это второй Бельтов из «Кто виноват?». Почему эта тема «лишнего человека» преследует русскую литературу? Когда-то их поэтизировали без меры. Онегин, Печорин, твой Бельтов. Говорят, и Тургенев принялся за эту

тему. А мне думается, что «лишних людей» на Руси уже нет, что они ушли — кто в могилу, кто в вино, кто в чужие края.

«Да вот он — перед тобой!» — хотелось сказать Герцену.

Но он смолчал и даже опустил глаза, чтобы не посмотреть на Сазонова.

— А я выше всего ставлю сцену расстрела пленных поляков, что во второй части,— сказал Бакунин.— Она написана с силой не меньшей, чем лучшие места в первой части, о которой говорил Виссарион, а то и с большей.

— Так ведь вещь не окончена,— снова отозвался Сазонов.

Он всегда говорил несколько свысока, как бы одаривая людей своей речью. Помолчав, добавил аристократически грассируя:

— Хочешь знать мое мнение, Александр? Ты этой повести не закончишь. У тебя прошел период светлого смеха и добродушной шутки.

Белинский возмущенно посмотрел на Сазонова — вот-вот разразится негодующей репликой в своем стиле, не стесняясь в выражениях. Но сдержался. Видимо, предпочел, чтобы ответил сам автор. Вместо него бурно заговорил Бакунин:

— Что ты там порешь чепуху, Сазонов, насчет светлого смеха! Какая, к черту, добродушная шутка? Ты вспомни, как в повести описано лакейство, наше российское родимое лакейство, вскормленное крепостным правом, это позорное прислуживание, эта унизительная утрата человеческого достоинства! Где еще в русской литературе это выражено с такой художественной силой, как в этой повести Герцена, так густо, так пронзительно, с таким негодованием, скрытым в объективном повествовании, но немедленно передающимся читателю!

Герцен молчал. Он поднял на Сазонова взгляд, полный понимания и грусти. Все-таки этому беспутному человеку нельзя отказать ни в уме, ни в проницательности.

— Ты, кажется, прав, Сазонов,— сказал он.

Белинский посмотрел на Герцена с негодующим изумлением.

— Ты прав,— твердо повторил Герцен,— вероятно, я просто не смогу окончить повесть. Нет больше ни того настроения, ни того юмора, в котором она была начата. События вокруг нас далеко отодвинули тот мир. Перебросить нить повести через них и снова поймать ее мне кажется невозможным. Хотя, признаться, я очень люблю ее.

— Что ж,—снисходительно заметил Сазонов,— печатай ее так, как она есть. И в таком виде в ней есть цельность.

— Пробовал. Знаешь, что Панаев ответил? Павел Васильевич, отверзи уста, ведь он тебе говорил.

Анненков усмехнулся:

— Иван Иванович даже рассердился. «Герцен, должно быть, с ума сошел,— сказал он,— посылает нам картины французской революции, точно она у нас дело признанное и позабытое».

— Узнаю Панаева! — вскричал Белинский.— Трус! Вертихвостка! Бороться надо было! Толкнуться к цензорам или в крайнем...

Он не докончил, зашелся в припадке надсадного кашля. Он покраснел, видно, кровь хлынула к голове. Казалось, разом слетело с него все здоровье, нажитое в санатории. А глаза все пылали гневом. Пытался что-то сказать, но сквозь кашель вырывались неразборчивые слова.

У Герцена был разработан прием на этот случай — как утихомиривать припадки Белинского. Он ввертывал в разговор что-нибудь смешное. Этим он искусно и незаметно для Белинского смягчал его горячность. Белинский добрел, смеялся, припадок его стихал.

Вот и сейчас, иронически прищурившись, Герцен разразился тирадой:

— К цензорам, говоришь? К которым? Сейчас ведь сверх обыкновенной гражданской цензуры — другая, военная, составленная из генерал-адъютантов, генерал-лейтенантов, генерал-интендантов, инженеров, артиллеристов, начальников штабов...

Прием подействовал: Белинский смеялся, кашель прекратился. А Герцен все не унимался:

— ...свиты его величества офицеров, плац- и бау-адъютантов, одного татарского князя и двух православных монахов под председательством морского министра.

Теперь уже смеялись все: и Бакунин, и Сазонов, и Анненков, впрочем озабоченный тем, как запомнить этот примечательный разговор, когда он нынче ночью будет заносить его в свой дневник.

Настал день отъезда Белинского. Прощальный вечер провели у Герцена.

— Пройдемся напоследок,— предложил Белинский,— и когда еще я буду в Париже и буду ли...

Гулять долго не пришлось: пошел дождь. У гостиницы друзья обнялись.

Оставшись одни, Герцен, Сазонов и Бакунин переглянулись.

— В кафе? — молвил Сазонов.

— Предпочитаю пройтись,— возразил Бакунин.— Дождь прошел, не хочется в дым и в сутолоку.

Пошли под платанами Елисейских полей. Молчали.

— А ведь мы все думаем об одном...— прервал молчание Герцен,— о Белинском. Верно?

— Признаюсь, мне жаль его,— сказал Сазонов, как всегда, четко и бесстрастно.

— Думаешь, не доедет? — встрепенулся Герцен.— Что

за проклятие лежит на русских талантах — то от пули гибнут, то от чахотки, то на каторге!

— Да я не о том. Мне жаль, что Белинскому нет другой деятельности, кроме журнальной работы, да к тому же подцензурной.

Бакунин поддержал:

— Тратит свои дарования на статейки о Пушкине.

Герцен сдвинул брови, но сдержал себя. Сказал довольно холодно:

— Мы строены не по одному образцу. Мои интересы — Россия, твои, Мишель, с Сазоновым — французские дела и всемирная революция. Вы оба относитесь к России как-то теоретически и по памяти. Белинский — это страдающий нерв русской жизни.

— В запальчивости своей,— сказал Сазонов, явно задетый,— ты забываешь, что мы изгнанники. Разве ты не видишь, что своей деятельностью здесь мы будоражим Европу, и это не может не влиять отраженно на Россию.

— Грош цена вашему влиянию! — уже гремел Герцен.— Ваша болтовня в кафе, где пять дураков слушают вас и ничего не понимают,— по-вашему, дело? Вы живете в каком-то бреду и лунатизме, в вечном оптическом обмане, которым сами себе отводите глаза!

Бакунин хохотал. Этот неугомонный бунтовщик, всесветный поджигатель восстаний был в личном общении обаятельно-добродушен. Слушая отповедь Герцена в защиту Белинского, он вполовину соглашался с ним. Кроме того, ему доставляла удовольствие манера Герцена говорить. Сам-то Бакунин был начисто лишен чувства юмора. Тем более он ценил энергичное остроумие Герцена.

Знал ли Герцен истинную цену Бакунину? Конечно. Он знал, что «старая Жанна д'Арк», как он окрестил Бакунина,— догматик, преданный отвлеченным категориям, что самая идея революции была у него лишена человеч-

ности. Но Герцен был верен старому товарищу и говаривал: «Правда мне мать, но Бакунин мне Бакунин».

Другое дело — Сазонов. Он тоже из старых товарищей Герцена еще с университетских времен. Несомненно образован, особенно в исторических науках. Правда, иные говорили: скорее начитан, чем образован. Красноречив. Пожалуй, слишком, «фразер» и «эффектер», как назвал его Костя Аксаков. И типичен для какого-то ряда русских образованных людей, как своеобразный «лишний человек» за границей. Притом чрезвычайно высокого мнения о себе. Именно это имел в виду Герцен, когда тут же под платанами Елисейских полей и журчащий хохоток Бакунина сказал:

— Ты, Сазонов, все ожидаешь, что в России произойдет революция и что новое общество обратится к тебе и предложит тебе пост. Разница между вами — тобой с Бакуниным и Белинским — в том, что вы оба воюете с царским деспотизмом отсюда, сидя за столиком в кафе, а он воюет там, сидя на пороховой бочке. Он действительно революционер в нашей литературе. Не говорю уже о том, что своей работой, в частности «статейками о Пушкине», о которых ты, Мишель, так пренебрежительно отозвался, он образовывает эстетический вкус читателей, он придает русской мысли силу!

## *1848-й*

Зачем не взял я ружья?..
*ГЕРЦЕН*

Алексей Алексеевич Тучков, военный топограф в отставке, а ныне пензенский помещик, путешествовал по Европе с двумя дочерьми: Еленой и Натальей.

Яхонтово, поместье Тучкова, граничило с огаревским

Старым Акшеном. Через Огарева и сблизился Герцен с Тучковым. Старик ему нравился. Да какой он старик! Двенадцать лет не делали разницы между ними, они держались как ровесники, разве только Тучков был поделовитее. Это и Герцен признавал наедине со своим дневником:

«Ал. Ал. Тучков чрезвычайно интересный человек, с необыкновенно развитым практическим умом. У нас это большая редкость: мы или животные, или идеологи, как аз грешный; ничем не занимаемся или занимаемся всем на свете...»

Все же нет-нет, а разность поколений скажется. Когда Герцен был тринадцатилетним мальчиком, Тучков сел в тюрьму за участие в движении декабристов. Он был членом «Союза благоденствия», но не успел там развернуться и отделался несколькими месяцами заключения. Он воспринял революционные идеи в известной Школе колловожатых, откуда вышел не один декабрист. По убеждениям он был гражданин мира, а в то же время нежно любил свою пензенскую землю. «Наша Пенза толстопятая,— говаривал он,— дала России Белинского, Лермонтова, Огарева...»

Самая наружность Алексея Алексеевича внушала доверие: высокий, тучный, с обширным, мясистым добродушным лицом, с барскими, но доброжелательными интонациями, необычайно оживленный и подвижной толстяк.

Натали Герцен быстро подружилась с дочерьми Тучкова, вместе гуляли по Риму, потом по Неаполю, осматривали Помпею. Ах, эти поразительные колеи на каменной мостовой, выбитые античными колесницами! Вместе подымались на Везувий и брали на память кусочки окаменевшей лавы, которой был засыпан вулкан. Девятнадцатилетняя Наталья, более практичная — в отца,— оттирала лавой чернильные пятна на руках (следы многочисленных писем) и называла ее пемзой. Сестра ее, двадцатилет-

няя Елена, зачесывала волосы на манер Ван-Дейковой мадонны, и это очень нравилось Герцену. Любимицей Натали стала ее тезка, Наталья Тучкова. Натали называла ее «Consuelo di sua alma» — «утешение моей души» — не только потому, что так назывался роман Жорж Занд «Консуэло», но потому, что чувствовала к девушке влечение почти родственное. Натали было в ту пору тридцать один год. Конечно, ни та, ни другая не могли знать, что Герцен после смерти Натали женится на Наталье. Натали находила в себе и в Наталье удивительное сродство душ.

Конечно, это было только ее мнение. Наталья Тучкова отличалась бойкостью, резкими, пожалуй мужскими, замашками и вдруг странными припадками застенчивости. Длинноносое, как у всех Тучковых, лицо ее ни в малой степени не походило на нежную женственность Натали Герцен. А вот, поди ж ты! Натали прилепилась к ней сердцем и звала ее своей сестрой-близнецом. Такие романтические причуды и видения сопровождали всю жизнь Натали. Даже умирая, она завещала Наталье Тучковой воспитание своих детей.

Когда в Италии началась революция, все три молодые женщины и с ними Мария Корш участвовали в демонстрациях. Наталья Тучкова сделала то, на что не решились даже мужчины — ее отец и Герцен: она шла во главе демонстрации со знаменем в руках.

Первую встречу с Европой Герцен окрестил «веселой сначала».

В этом определении оба слова равно существенны. «Веселая» — потому что: «да и как было не веселиться, вырвавшись из николаевской России, после двух ссылок и одного полицейского надзора». «Сначала» — потому что немного времени прошло, и легкую пену веселья сдунуло «зловещее раздумье и патологический разбор», когда «люди фразы, люди интриги украли корону у народа, буржуа сели царями...», когда «одна золотая посредственность

была довольна,— я говорю о либералах, о тех либералах, которые... любят один умеренный прогресс, и в нем больше умеренность, нежели прогресс».

Но тогда, на заре итальянской революции, при первой вести о восстании в Сицилии Герцен писал из Рима в Москву:

«Какой-то энтузиазм охватил весь город. Незнакомые люди там жали мне руку, на улицах обнимались... крича: «Viva la liberta!» [1]

И «чивика», народная милиция, детище победившей революции, пленяла Герцена своей гражданственностью,— они не в мундирах, а «одетые кто во что попало, в бархатных и суконных куртках, в блузах всех цветов, в пальто всех покроев...» Но с ружьем. И, насмешливо сощурившись, Герцен подумал: «...что было бы с нашим другом Сергей Сергеевичем Скалозубом, если б он вдруг — не в Ливурне, а на Литейной или на Морской — увидел таких часовых?»

Даже годы не смогли стереть в памяти Герцена образы первого счастливого начала итальянской революции. Неизменно возвращался он с радостью и даже с нежностью к мыслям о временах, когда поистине «вся Италия «просыпалась» у меня на глазах». Снова вставали перед ним «осененные знаменем Италии четыре молодые женщины, все *четыре русские*», и снова звенели у него в ушах восхищенные возгласы итальянцев: «Да здравствуют иностранки!»

Гораздо позже, в Лондоне, воскрешая на страницах «Былого и дум» тот медовый месяц итальянской революции, Герцен писал с какой-то сладкой болью в душе:

«О Рим, как я люблю возвращаться к твоим обманам, как охотно перебираю я день за день время, в которое я был пьян тобою!»

---

[1] Да здравствует свобода *(ит.)*.

Но ту же — и еще более горькую — душевную драму пережил он в связи с крахом французской революции.

С Алексеем Алексеевичем Тучковым у Герцена происходил спор дружеский, но горячий. В конце концов они заключили пари на бутылку шампанского. Предмет спора: будет ли во Франции республика? Тучков, только приехавший из России, стоял за то, что это неизбежно. Герцен, только что приехавший из Франции, подавленный мещанским духом французского общества, наотрез отрицал революционный смысл происходящего там брожения.

— Омещанившиеся французы не способны на революцию. Вместо пальбы на улицах хлопанье пробок в банкетных залах.

Двадцать четвертого февраля — день рождения Алексея Алексеевича. Вечером все собрались за столом. Недоставало только Герцена. Никто не знал, где он задержался. Он прибежал необыкновенно возбужденный. Собственно, он всегда был в состоянии некоего возбуждения. Сейчас он кипел. Под мышкой у него торчала серебряная головка шампанского.

— Ваша взяла, Алексей Алексеевич! — закричал он еще на пороге.— Луи-Филипп свергнут! Во Франции революция! На улицах баррикадные бои!

Он водрузил на стол бутылку:

— Я счастлив, что проиграл!

Он подбежал к Тучкову, обнял его, долго сжимал в объятиях.

Лицо его светилось радостью, Наталья Тучкова смотрела на него с восторгом и думала: «Счастье делает его красавцем...»

— Полно вам, Александр Иванович,— сказал Тучков, освобождаясь.— Где же ваши горько-скептические насмешки над закосневшим в мещанстве Западом? Понадо-

билось мне приехать из пензенского захолустья, чтобы правильно оценить обстановку во Франции.

— Смейтесь, смейтесь надо мной! Топчите меня ногами! Все равно я счастлив. Да, я не обольщался зрелищем современной Европы. Но сейчас наконец старуха Европа проснулась и пошла писать! Это только первый шаг, без которого не может быть второго. Я уверен, что революция развернется как социальная. Вы понимаете, до чего это грандиозно! Не знаю, как у вас, но у меня все личное, все повседневное, будничное меркнет, тонет в величии этого события!

Он выбил пробку из бутылки, разлил вино по бокалам.

— За свободную Францию!

Отер рот. Сказал уже более спокойно:

— Надо ехать в Париж. Стыдно здесь сидеть в такое время.

Герцены и Тучковы были неразделимы и в Париже, куда они прибыли в начале мая. Из окон их дома на Елисейских полях — Герцены на первом этаже, Тучковы на третьем — видны мощные плечи Триумфальной арки.

Париж бурлит. Весна. Зацветают каштаны. Частые митинги на перекрестках, под аркой и на маленькой круглой площади Ронд-Пуан, возле которой поселилась мать Герцена. Улицы пестреют наскоро намалеванными вывесками: «Общество прав человека и гражданина», «Клуб Франклина», «Клуб людей без страха».

Речи Альфонса-Мари-Луи Ламартина, поэта и политического деятеля, плыли над Францией, как облака заревые, цветистые. Его бурлящее красноречие пьянило революционными образами. Совсем закружилась голова у Павла Васильевича Анненкова, бродившего по революционному Парижу. Он писал в одной из своих восторженных корреспонденций в «Современник», что Ламартин

«ткал на виду всех нас великолепные одеяния из золота, парчи, воздуха и вечерней зари своим мыслям».

Однако Ламартин обстреливал французский народ не только риторическими гекзаметрами, не только он «все урлеивал и сочинял фразы». Шестнадцатого апреля и пятнадцатого июня он подавил революционные выступления вооруженной силой. Он был против немедленного провозглашения республики. Он отверг красное знамя и вырвал у Временного правительства замену красного трехцветным. Популярность его быстро падала. Барабанный треск его речей звучал, как в вакууме. «Я его ненавижу,— писал Герцен о Ламартине,— ненавижу не как злодея, а как молочную кашу, которая вздумала представлять из себя жженку». А Анненкова с его благодушной восторженностью Герцен упрекал за «ламартыжничество». Уподобление Ламартина молочным продуктам Герцен повторяет с усиленной экспрессией:

«Ламартин говорил своим известным напыщенным слогом; его речи похожи на взбитые сливки: кажется, берешь полную ложку в рот, а выйдет несколько капель молока с сахаром; для меня он несносен на трибуне...»

Герцен со своим даром политического предвиденья давно разгадал сущность этого «политического дилетанта», ставшего во Временном правительстве министром иностранных дел. В «Письмах из Франции и Италии» он писал:

«Когда я в Риме читал список членов Временного правления меня разбирал страх: имя Ламартина не предвещало ничего доброго».

Он считал Ламартина «стертой, бледной, половинчатой, осторожной личностью», говорил, что он «продал свою душу буржуазии», и, желая изобразить его слезливую елейную сентиментальную романтичность, придал ему имя и отчество поэта Жуковского — «Василий Андреевич Ламартин».

Интересно, что примерно в тот же период — в феврале сорок девятого года — Карл Маркс писал о Ламартине:

«Высокопарный негодяй Ламартин был классическим героем этой эпохи, когда под поэтическими цветами и риторической мишурой скрывалась измена народу».

Это один из тех не таких уж редких случаев, когда Герцен и Маркс, не подозревая об этом, совпадали во мнении, выраженном, кстати, со сходной энергетической силой.

23 июня был день пасмурный: низкое серое небо повисло над Парижем. Четыре часа дня. Сеет дождь. Герцен не сразу понял, то ли это гром, то ли стреляют пушки генерала Бедо, выстроенные за Новым мостом. Как бы желая рассеять недоумения Герцена, толстая ветвистая молния рассекла тучу. И в то же время — необыкновенное явление! — солнечные лучи пробились в другой части неба и озарили башенки и колокольню храма святого Сульпиция. Была какая-то неотвратимая последовательность в этом смешении буйства природы и грозных приготовлений человека. Ударил колокол в храме; мерные, частые, торопливые, тревожные удары его мешались с раскатами грома, они усиливали тревогу набатного звона.

Герцен понял: это призывы на баррикаду. Она воздвигалась перед его глазами с необыкновенной поспешностью. Руководил высокий парень в форме студента Высшей политехнической школы. Все шло в дело: поваленные столбы, бочки, опрокинутые кареты, каменные плиты тротуара, брусчатка мостовой, ее гранитные кубики подтаскивали к баррикаде женщины и дети. Когда она достигла высоты примерно четырех аршин, на нее взобралась женщина в цветастой цыганской юбке, перепоясанная широким ремнем, за который был заткнут пистолет.

Герцен стоял, прислонившись к стене дома, и наблю-

дал с трепетом иностранца, с восхищением революционера и с пристальным, почти бессознательным интересом художника.

Раздались крики:

— Да здравствует революция демократическая и социальная!

Герцена поразило, что окна во всех домах открыты настежь. Оказывается, как он узнал от проходящего блузника с охотничьей двустволкой в руках, таков приказ генерала Кавеньяка: он опасается засады.

Набат все бил, люди стекались на баррикаду. Бросив взгляд вдаль, Герцен увидел, как по ту сторону моста военный с золотым шитьем на мундире осматривает баррикаду в подзорную трубу. Герцен почувствовал себя на линзе его трубы. Он подумал, что так должна чувствовать себя инфузория на предметном стекле микроскопа. И так в нем сильно было развито воображение, что он как бы увидел упертый в трубу огромный выпуклый глаз, перевитый кровавыми алкоголическими жилками. Герцен почувствовал, как дрожь пробежала по его спине. Однако он не шевельнулся.

Офицер за мостом — а может быть, это был сам генерал Бедо! — сделал знак рукой. Кони напряглись, пушки двинулись на мост.

На верхушку баррикады взбежал студент-политехник. Он встал рядом со знаменем, обхватил одной рукой древко и запел чистым и сильным голосом «Марсельезу». Множество голосов подхватили ее. Этот яростный псалом революции взволновал Герцена. Он не мог бы сказать себе, что он испытывает в эту минуту: восхищение ли мужеством революционеров, желание ли примкнуть к ним... Он сказал себе: да, я с ними, но мое оружие — перо.

В это время к нему подошел немолодой рабочий с пятнами извести не только на блузе, но и на лице. В руках у него было два ружья. Одно он протянул Герцену.

Но Герцен покачал головой. Его решение было принято.

Ах, как он впоследствии жалел об этом! «Много раз в минуты отчаяния и слабости, когда горечь переполняла меру, когда вся моя жизнь казалась мне одной продолжительной ошибкой, когда я сомневался в самом себе, в последнем, в остальном, приходили мне в голову эти слова: «Зачем не взял я ружья у работника и не остался за баррикадой?» Невзначай сраженный пулей, я унес бы с собой в могилу еще два-три верования...»

Герцен побрел прочь с площади Мобер. Ничего больше ему здесь не оставалось делать. Полный смутных мыслей, он зашел в кафе на набережной Орсэй. Он попросил кофе и рюмку коньяку. Внезапно — топот за окном. Шла команда национальных гвардейцев. Это были немолодые уже мужчины, которые сгибались под тяжестью длинных ружей «бра». Мундиры, кое-как скроенные, висели на них мешком, тяжелые не по мерке кивера сдвинуты на затылок.

Никакого сомнения не было, что большинство из них сильно выпивши.

Они что-то выкрикивали. Герцен прислушался:

— Да здравствует Луи-Наполеон!

Ненависть и отвращение охватили Герцена, когда он услышал эти крики, прославляющие того, кого он называл не иначе как «пошляк», «подлец». И он, забыв о благоразумном назидании, которое он только что себе преподал, высунулся из открытого окна и крикнул что было сил, чтобы перекричать топот этой зловещей команды:

— Да здравствует республика!

Услышав этот возглас, национальные гвардейцы погрозили Герцену на ходу кулаком. А офицер, такой же неуклюжий лавочник в мундире, длинно и гнусно выругал Герцена да еще выхватил шпагу и угрожающе замахал ею,— мол, такого, как ты, заколоть бы, да на твое счастье некогда, идем кончать бунтовщиков. И Герцен подумал,

что сейчас его могли бы пристрелить или вздернуть на фонарь в общем ни за что, из-за одного вкуса к насилию, которым сейчас заражены даже обычно мирные люди.

Герцен засел дома. Он перестал выходить на улицу. Вовсе не из страха получить шальную пулю. Нет, другое держало его взаперти: он не мог смотреть на то, как гибнет революция.

Начало ее он воспринял как счастье. Да, это ему очень повезло, считал он,— выехать из страны рабства и тюрем и попасть в мир побеждающей свободы. Поначалу он был уверен, что перед ним во Франции разворачивается социальная революция.

Все это рухнуло. Нет, это не битва за социализм. Герцен бесконечно ходил по комнате из угла в угол, ворочая в голове, осмысливая события, гремевшие за стенами его дома. Да, это крах: буржуазная демократия не хочет социализма. Однако ныть в кругу домашних о гибели своих надежд — это не в характере Герцена. Ему хотелось кричать об этом на весь мир. Он писал о падении революции не только московским друзьям, но и Прудону: «Одно и то же во всей Европе, революционеры предали революцию... они не из того материала, из которого делаются победители».

Прислушиваясь к грохоту уличных боев, Герцен сжимал кулаки в ярости бессилия. Понимал ли он, что истинная революционность начинает зреть в другом классе — в пролетариате? Но был слишком слаб этот революционный накал, чтоб заявить о себе с нужной силой. Герцен не увидел того, что еще трудно было увидеть. Но если не было у него вполне отчетливого понимания, почему все, в общем, осталось во Франции на старых местах, то все же он догадывался, что только один класс в обществе стремился к социальному переустройству: рабочие (по обычной тер-

минологии Герцена — работники). Но их, во-первых, слишком мало, во-вторых, они не организованы и, в-третьих, преданы своим руководителям.

В сотый раз, шагая по комнате, он говорил себе, что болтливые адвокаты из Временного правительства изменили революции и этим открыли путь «людям биржи и интриги». Герцен сделался затворником. Уговоры Натали не действовали на него.

— Революция все больше отчуждается от меня,— сказал он ей.— Она ушла в руки негодяев. А моя революция превратилась в историю, притом не более близкую, чем заговор Гракхов или безумная попытка Бабефа.

Он завидовал женщинам: они плакали. Он не плакал и жалел об этом: слезы облегчили бы. «В замену слез я хочу писать,— обмолвился он,— не для того, чтоб описывать, объяснять кровавые события, а просто чтоб говорить об них, дать волю речи, слезам, мысли, желчи...»

Да, сейчас стоит тишина. Хочется сказать: гробовая. Но в ушах все еще грохот, вопли, пальба. Выглянешь в окно — безлюдье, пустыня. Но в глазах — видения, окровавленные люди, трупы, трупы...

«Я не умер,— продолжал он писать, кровоточа чернилами,— но я состарился...»

А между тем, хоть и не отмыта кровь с парижских мостовых, буржуазия с лихорадочной поспешностью принялась возвращать Парижу столичный глянец. Бульвары полны, кафе открыты, заиграли театры. Пронесся слух, что всегда поспевающий Александр Дюма-отец с помощью драмодела Огюста Маке уже успел изобразить на сцене Исторического театра июньские события под видом заговора Катилины в античном Риме. Пьеса так и называлась «Катилина».

Когда на подмостках появился Цицерон в белоснежной тунике с красной оторочкой, раздались аплодисменты: публика легко угадала в нем по напыщенности речей Ла-

мартина так же, как в Катилине — по фанфаронству — Ледрю-Роллена. Герцен кипел от негодования. Но покуда сдерживался. Но когда в одном из следующих действий на сцене открылась площадь, на которой театрально корчились статисты, изображавшие смертельно раненных, Герцен «бросился вон в каком-то истерическом припадке, проклиная бешено аплодировавших мещан,— писал он, вновь переселяясь воображением в те кровавые дни.— Давно ли за стенами этого балагана на улицах, ведущих к нему, мы видели то же самое, и трупы были не картонные, и кровь струилась не из воды с сандалом, а из живых молодых сил?..»

Узнав об избрании в президенты Луи-Наполеона, Герцен в совершенном бешенстве написал московским друзьям:

«Теперь мы поджидаем 10 декабря — встречать достойного презуса уродливой республики, косого кретина Луи-Бонапарта».

Его разочарование было так велико, что он преисполнился отвращением к политической деятельности. Мрачная задумчивость стала пугать Натали. Она подходила к нему, клала руку ему на лоб:

— Стряхни с себя это. Ты стал не похож на себя. Ты весь в каких-то потусторонних мечтах...

— Мечтах? Да! Мечтаю о том, как бы удалиться из этого очумелого издыхающего Парижа хотя бы в Соколово, не получать никаких газет, в субботу ждать друзей, с ними распить бутылку-другую во льду, благословлять судьбу, что мы снова среди друзей, а не между иностранцев, которых называют людьми, окружить себя книгами,— ну, и что же дальше? — умереть без желаний жизни и без отвращения от смерти.

— Александр, ты ли это?!

— Поверь, мой друг, я это говорю не с досады и не с брызгу! Ночь! Темная ночь кругом. Солдаты запрудили все

Елисейские поля. Кавеньяк опять запретил газету Прудона. Народ погрузился в летаргический сон. Куда ни взглянешь, дряхлое бессилие Франции, страны мещанства, утратившей все юное, поэтическое, все честное, наконец!

Он оживился, встал, говорил горячо, почти бегая по комнате.

Натали, казалось, была утешена.

«Ничего, пусть ярится,— думала она,— только бы не эта ужасная душевная апатия».

Понимала ли Натали его до конца? Так сказать, во всем его объеме? Нет. Тут же скажем: как и он ее.

Разговор этот имел для Герцена благодетельное влияние, словно этой исповедью он выплеснул из себя свою мрачную неподвижность. Он восстал против собственной пассивности. Он заявил, что объявляет войну тем, кого он называл «неполными революционерами».

«У меня еще слишком много крови в жилах,—писал он к Джузеппе Маццини,— и энергии в сердце, чтобы мне нравилась роль пассивного зрителя. С 13-ти лет и до 38-ми я служил одной и той же идее, имел одно только знамя: война... против всех видов рабства во имя безусловной независимости личности».

В начале ноября Герцены переехали на новую квартиру — бульвар Мадлен на стыке с бульваром де Капюсин. Квартира хорошо меблирована. Правда, мрачновата, соседние флигели затеняют свет, но они же смягчают уличный шум, никогда не смолкающий на Больших Бульварах.

Домашний быт Герценов приобретал все более устойчивый характер. Тихая, чуть меланхоличная Натали никогда не блистала хозяйственными наклонностями. Она не ощущала потребности в порядке. Ее туалетный стол представлял из себя диковинное смешение пудрениц, французских романов, флаконов с духами. Впрочем, иногда

на нее нападал уборочный стих и она мелькала по квартире в изящном фартучке с метелкой в руках — зрелище, неизменно умилявшее Герцена.

Вот он-то при всей безудержности своей натуры был представителем порядка в семье. Он не выносил безалаберности, хаотичности ни на своем рабочем столе, ни в своих сношениях с людьми, ни в своем мышлении.

В парижском доме Герценов скоро стало по вечерам так же шумно и многолюдно, как когда-то в их московском доме на Сивцевом Вражке или как по воскресеньям в подмосковном Соколове. Но находила ли здесь такое же удовлетворение тяга Герцена к широкому общению с людьми? Люди-то не те... «Это были,— вспоминает Герцен в мемуарах,— вновь приехавшие эмигранты, люди добрые и несчастные, но близок я был только с одним человеком... и зачем я был близок с ним!..»

Этот «один» был Георг Гервег, вскоре принесший Герцену самые мучительные страдания, испытанные им в жизни.

Герцен подыскал учителя для своих детей — Саши и Таты. Это был Жан Батист Боке, преподаватель по профессии, революционер по убеждениям. Как многие люди, приблизившиеся к Герцену, он влюбился в него, сделался его горячим поклонником. Да и Герцен жаловал его, хотя посмеивался добродушно над его умеренной революционностью, придумал для него разные клички — «Иван Батистович», «Иван Сукно», «Бокеша», «Анна Батистовна».

Во время революционных событий сорок восьмого года Герцен однажды встретил Боке с торжественно протянутыми руками:

— Примите мои поздравления! О, не притворяйтесь скромником, это вам не к лицу. Ведь вы избраны президентом двенадцатого избирательного округа.

Боке постарался скрыть самодовольную улыбку гримасой пренебрежения:

— О, это ужасный округ! Сен-Жак, Сен-Марсо — самые трудные кварталы в Париже.

— Ладно, ладно, вы на всех парусах плывете в министры. Или...

Герцен состроил озабоченную мину.

— Или? — заинтересовался Боке.

— Или на каторгу.

— Вот это вернее.

— Бросьте, Бокеша, вы уже почти начальство. Знаете что, на всякий случай выдайте мне справку, что я уже расстрелян.

Боке расхохотался самым добродушным образом.

Когда он ушел, Герцен сказал задумчиво:

— Хороший человек. Чистый. Но...

— Договаривай, я заинтригована,— сказала Натали.— Наши дети обожают его.

— Но сентиментален и свиреп. То готов расплакаться, как девочка, то хладнокровно наделает зверства. Это французская черта.

— Только ли французская...

## *Истина по наследству*

> Это очень глупо, но пора с глупостью считаться, как с громадной силой.
>
> *ГЕРЦЕН*

Весной сорок девятого года в Париже разразилась холера. Всякий, кто мог, бежал из города. Небо было застлано тучами, тем не менее стояла удушливая жара. Выехали и Герцены. Луиза Ивановна нашла подходящий домик в деревне Виль д'Аврэ.

С утра Герцен взял себе за правило гулять. Во время

прогулок он не переставал работать. В то утро, как и во все предыдущие, мысль его вращалась вокруг произведения, для которого он уже и название подыскал: «С того берега». Он избавлялся от горестных ощущений, изливая в него разочарование революционера. Тот берег — это берег революции. Книга складывалась в его воображении, а отчасти уже и на бумаге как одно из наиболее страстных его сочинений. Отнюдь не проповедническое. Далекое от теорий, от пропаганды идей. Это беспощадный приговор «паяцам свободы», «политическим шалунам», либеральствующим краснобаям.

Герцен задумал посвятить эту книгу сыну, Саше. Надо найти такие слова, чтобы посвящение вошло в сознание сына непреоборимо и таким же оставалось во всю его жизнь, как завещание.

Слова то пенились, то курчавились, то отливали сталью, уходили и вновь рождались. Герцен шагал по роще, окружавшей деревушку, выбирая нехоженые тропы. Места эти были ему милы своей неприхотливостью. Природа невыделанная, как в парках Сен-Клу и Трианона, неухоженная, и в ее естественности и простоте было что-то хватающее за душу своим сходством с русскими полями и перелесками.

«Не ищи решений в этой книге... Знай истину, как я ее знаю...»

Герцен подумал, что, в сущности, истина — это некое наследство, которое он передает сыну.

«...Мы не строим, мы ломаем...»

«Вот слова,— подумал он,— которые Бакунин встретил бы с восторгом».

Но это не испугало его.

«Не останься на старом берегу...— продолжали возникать в нем слова посвящения.—...Современный человек ставит только мост, будущий пройдет по нему...»

Он думал не о себе. Он не доживет до этого моста. Но

сын... Не может быть, чтобы новое поколение не увидело новую жизнь. Где? Конечно, в России! Россия и свобода станут равнозначащими понятиями.

«...Иди в свое время проповедовать ее к нам домой; там любили когда-то мой язык и, может, вспомнят меня!..»

Он вернулся к себе. В кабинете гость: Сазонов. По его значительному, совершенно трезвому и более чем всегда чопорному виду Герцен понял, что он приехал с чем-то чрезвычайным.

Но прежде, чем начать разговор, даже прежде, чем поздороваться, Герцен с возгласом: «Подожди!» — присел к столу и принялся торопливо записывать мысль, показавшуюся ему необыкновенно важной,— не закрепишь ее сейчас — она поблекнет, а то и вовсе испарится:

«Где не погибло слово, там и дело еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность — я остаюсь здесь; за нее я отдаю все — я вас отдаю за нее, часть своего достоянья... и остаюсь с народом, в жизни которого я глубоко сочувствую одному горькому плачу пролетария и его отчаянному мужеству... Наша мысль не может больше выносить цепей узкой цензуры; я первый начинаю печать в Европе... я здесь полезнее — я здесь бесцензурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш представитель...»

Он волновался, записывая это. Он считал, что к нему пришло озарение. Эта первая мысль о создании Вольной русской типографии осуществилась через некоторое время. Сбоку этой записи Герцен сделал пометку: «Развить» — и только после этого повернулся к Сазонову.

Тот заговорил не сразу, небольшая пауза для создания торжественного момента. Потом:

— Завтра в Париже грандиозная демонстрация. Ты, конечно, с нами. Я приехал за тобой.

— Что за демонстрация? Цель? Состав?

— Я вижу, Александр, ты начисто оторвался от совре-

менности в этом захолустье. Все началось с этой возмутительной итальянской авантюры Луи-Бонапарта. Его войска атаковали Рим в защиту Ватикана. Это плевок в лицо конституции!

— Это-то я знаю.

— Но до тебя еще не дошло, что в законодательном собрании была по этому поводу буря. Оппозиция — Гора — увидела, что парламентским путем не сладишь с монархистами, в палате их большинство. Тогда решили выйти завтра на улицу, призвать народ в защиту конституции.

— С оружием? Тогда это катастрофа.

— Были споры. Решили: без оружия.

— Тогда это фарс.

— Да, мы будем безоружными. А если нас встретят пулями, что ж...

Сазонов стиснул кулак и размашисто воздел руку.

«Что за фанфаронство»,— подумал Герцен, с грустью глядя на старого друга.

— Все же,— сказал он,— я не пойму, за что вы идете на улицу. Какие у вас призывы к народу?

— Как какие? Все те же: свобода, мир, братство народов.

— Кто там будет, наконец?

— Мы, эмигранты, пойдем особой колонной.

— У меня-то что общего с этими людьми? К чему они стремятся, чего хотят?

Сазонов даже задохнулся от негодования. Он встал, выпрямился во весь свой маленький рост.

— Ну, Александр,— сказал он,— мне остается сказать тебе то, что Ноздрев сказал своему зятю: иди бабиться с женой.

Герцен подумал, что и впрямь в Сазонове в иные минуты есть что-то от Ноздрева.

— Иди,— продолжал Сазонов, яростно выбрасывая слова,— иди к жениной юбке. Позиция хоть и не очень

почетная, но вполне покойная, а главное, безопасная. А мы пойдем с красными знаменами на площадь.

Герцен неожиданно сказал:

— Изволь, пойду. Движение нелепое. Надуманное. Народ останется в стороне. Но я пойду. Глупо. Но мало ли каких глупостей я не делал в жизни.

Сазонов бросился обнимать Герцена.

В тот же день Герцен поехал с Сазоновым в Париж и на следующий день в колонне эмигрантов пошел на демонстрацию. Осуждал себя, но пошел. Ругал за шаткость, за то, что убеждения его — одно, а поступок — другое. Сознавал, что делает это, чтобы его не обвинили в трусости. Клял себя за ложный стыд, за беспринципную уступку дружбе. Ругал себя за то, что не может подняться выше этого, за слабость человеческую. Так, осуждая себя, пошел.

Конечно, рисковал жизнью, когда на демонстрацию бросились драгуны генерала Шангарнье и били демонстрантов палашами. Герцен едва вывернулся из-под лошади драгуна. Там было много эмигрантов: итальянцев, австрийцев, поляков. Совсем рядом с Герценом — немцы, Герман Мюллер-Стрюбинг, Густав Струве, Карл Петер Гейнцен, Карл Маркс... Позвольте: Маркс? Вот это, право, удивительно потому, что он, как и Герцен, осуждал эту демонстрацию. Ведь писал он о ней:

«Если Гора (левая оппозиция) хотела победить в парламенте, ей не следовало звать к оружию. Если она в парламенте звала к оружию, ей не следовало вести себя на улице по-парламентски. Если она серьезно думала о мирной демонстрации, было глупо не предвидеть, что демонстрация будет встречена по-военному. Если она думала о действительной борьбе, было странно складывать оружие, необходимое для борьбы... Оглушительная увертюра, возвещающая борьбу, превращается в робкое ворчание, лишь только дело доходит до самой борьбы; актеры перестают

принимать себя всерьез, и действие замирает, спадает, как надутый воздухом пузырь, который проткнули иголкой».

В таких энергичных выражениях осуждал Маркс эту демонстрацию. Осуждал, но пошел на нее. Не из тех ли мужских соображений (пусть не думают, что я трус!), что и Герцен, в письме к московским друзьям назвавший эту демонстрацию: «Глупый день 13 июня...»

Домой Герцен не вернулся. Он понимал, что немедленно пойдут аресты. Действительно, Париж был объявлен на осадном положении. Полиция вторглась в дом Герцена в Виль д'Аврэ, произвела тщательный обыск. Хорошо, что мать Герцена Луиза Ивановна и их друг Мария Каспаровна Рейхель догадались спрятать бумаги Герцена себе под платье, благо юбки тогда носили широкие, как колокол.

А Герцен в это время катил по дороге в Женеву с паспортом на имя австрийского подданного Самюэля Петри.

## *Мадзини. Прудон*

> Да ведь вся силенка-то моя хилая на том основана, что я всегда говорю правду.
>
> *ГЕРЦЕН*

Только приехав в Женеву, Герцен почувствовал, как он устал. Да, он устал от Парижа, от его холеры, от его сутолоки, от преследований полиции французской и русской, ибо в действиях парижской префектуры он явственно ощущал тяжесть длинной руки Николая I.

Правда, касания ее поначалу были скрыты от Герцена. Он и не подозревал, какая оживленная переписка о его образе жизни ведется между всероссийской охранкой, сиречь III отделением, русским поверенным в делах в Париже графом Киселевым, префектом парижской поли-

ции мсье Ребильо и русским генеральным консулом, в фамилии которого — Шпис,— стоит только заменить последнюю букву на «к», как его «дипломатическая» деятельность приобретает полную ясность.

Интерес к Герцену со стороны этой компании резко возрос после письма его двоюродного брата Львова-Львицкого из Парижа в Москву к своему доброму знакомому Поленову.

В крайнем своем простодушии Сергей Львович Львов-Львицкий не догадывался, что все — именно все, а не на выборку — письма из-за границы вскрываются в черных кабинетах московского и петербургского почтамтов.

И вот среди сведений о причудах парижской моды и светских сплетен Сергей Львович возьми да ляпни, что Герцен «прикатил сюда, вероятно привлеченный революциею; гуляет и кутит с демократами».

Эти ценные (для полиции!) сведения быстро покатились вверх по бюрократической лестнице.

Тотчас от шефа жандармов и начальника III отделения графа Орлова летит секретный запрос в министерство иностранных дел о поведении Герцена в Париже. В свою очередь министр иностранных дел Нессельроде шлет русскому поверенному в делах Киселеву такой же запрос.

Киселев незамедлительно договаривается с префектом парижской полиции Ребильо о способствовании в деле «открытия или преследования тех, кто злоумышляет против спокойствия России», и в частности о Герцене. Вскоре по просьбе Шписа Ребильо устанавливает наблюдение за Герценом.

И уже через несколько дней скорый в делах политического розыска Шпис представляет Киселеву доклад о «надворном советнике Герцене». Герцен там трактован как революционер и заговорщик, «приютивший... Бакунина, поддерживающий интимные отношения с самыми передовыми демократами...». Тут же Шпис предупредительно опи-

сывал внешность Герцена — для облегчения его ареста: «...среднего роста... носит бороду, волосы довольно длинные и прилизанные...»

Не зевал и префект парижской полиции Ребильо. Он услужливо сообщает в русское посольство Шпису о «Европейском революционном комитете», цель которого «основать всеобщую республику на развалинах монархий... Одним из главных вождей этой анархической ложи является русский — Герцен...».

Вся эта сточная вода политической слежки стекается в Питер к графу Орлову.

Он же счел необходимым довести это до сведения императора, поскольку его величество сам изволил разрешить Герцену поездку за границу. Правда, это было сделано по ходатайству императрицы, внявшей мольбам Натали.

Выслушав почтительное донесение Орлова о том, что надворный советник Александр Герцен развивает в Париже возмутительную антиправительственную агитацию заодно с известными международными буянами, Николай хмуро посмотрел на императрицу и молвил сквозь сжатые зубы:

— Вот ваш протеже.

Она жеманно поджала свои тонкие немецкие губы и приняла вид обиженной куклы.

Брат Николая, великий князь Михаил Павлович, собирался сказать не без некоторого злорадства: «Женская сентиментальность неуместна на монаршем престоле». Но не решился, а только энергично откашлялся голосом, охрипшим от командования на войсковых парадах.

Решение царя было коротко: приказать Герцену вернуться в Россию, а там видно будет.

Легко сказать: вернуться. Так и станет дожидаться Герцен монаршего приглашения! Он был уверен, что префект парижской полиции, чтобы потрафить своим русским коллегам, не остановится перед тем, чтобы арестовать его и

передать в руки русских жандармов. Он раздобыл паспорт на чужое имя и спешно укатил в Швейцарию. Ищи ветра в горах!

Герцен писал жене, что здесь, в Швейцарии, «все так чисто, так светло, озеро синее, небо синее, горы белые, женщины на улицах отворачиваются, мужчины обедают в час... а в 12 все спят... Ни галунов, ни мундиров... ни всего оскорбительного, петербургского — что там дома в Париже».

Он много ходил по горам. Ему полюбилось забираться в снежные ущелья. Он это делал машинально, занятый мыслями. Но потом заметил, что в его бессознательной тяге к снегу есть какая-то закономерность. «Меня, очевидно, просто тянет к чему-то похожему на русскую зиму»,— решил он, улыбаясь. Но небо здесь, над Женевой, так плакатно-сине, воздух так химически прозрачен, да и самый снег податливый, ватный, словно не настоящий, не русский...

Президент Женевского кантона Джеймс Фази встретил беглеца из Парижа радушно. «Лучший друг не мог бы искреннее и душевнее нас принять»,— пишет Герцен жене в Париж. Его пленила демократичность президента и теплота приема. Они сошлись довольно близко.

Однако со временем Герцен стал примечать в Фази иные черты. Тут, конечно, сказалась особенность Герцена: его доброжелательность, его сердечная распахнутость. Понравившемуся ему человеку он отдавал себя полностью. На этом пути Герцену пришлось пережить несколько горьких разочарований. Они не излечили его от доверчивости, временами чисто детской. Его первое ощущение от нового человека почти всегда было добрым. Дальнейшее решало поведение человека. Иногда он разочаровывал так глубоко, что Герцен давал волю своему неудержимому темпераменту. Так было и с Фази. Тургенев пишет о Герцене: «...я знал, что при всем его блестящем и проницательном уме

понимание людей, особенно на первых порах, у него было слабое».

Герцен начал прозревать в президенте Женевского кантона черты упоения властью, то, что он определил как «деспотически-республиканские замашки».

Внешне дружелюбный Фази заверил Герцена, что примет его в подданство Женевского кантона. Но все тянул, да так и не принял. И только через два года Герцен стал швейцарским гражданином совсем в другом кантоне, в Фрибургском, обойдясь без помощи Фази.

Не только люди в Швейцарии, но и самая страна эта становилась для Герцена невыносимой. Ему, этому вечному изгнаннику, стало и здесь невмочь. «Жизнь здесь монотонна, — жаловался он в письмах,— ограниченна, в ней много германизма, педантства, кальвинизма».

Он начал ощущать щемящую скуку. Ему не хватало людей, притом равных ему по интересам и образованности. «Джеймс Фази все-таки не то, слишком политичен. Герман Струве — узкий догматик, со своим постным лицом и длинными прядями волос из-под шапки, похожий на захолустного попика». Другой немецкий эмигрант, Карл-Петер Гейнцен, этот «немецкий Собакевич», по выражению Герцена, и «святой грубиян», по выражению Маркса, к тому же требовавший для успеха революции два миллиона голов, вызывал в Герцене отвращение.

Приехал к Герцену сын Саша, хороший мальчик, но ведь мальчик. «Не знаю,— записал Герцен,— желал ли бы я навсегда остаться в Швейцарии; нашему брату, жителю долин и лугов, горы через некоторое время мешают: они слишком громадны, близки, теснят, ограничивают...»

Он взмолился:

— Поезжайте же, наконец,— пишет он жене,— а то ждать скучно. Я совершенно отвык жить в таком isolement[1]...

[1] — одиночество *(фр.)*.

И вот в начале июля радостная встреча: приезжает Натали. Не одна, ее сопровождает Гервег.

Его, Георга Гервега, поэта и неудачливого баденского революционера, встречает холодно и неприязненно и эмигрантская среда, и женевская демократическая общественность. Ему не подавали руки. Отворачивались при встрече. Слишком памятно было поведение Гервега во время похода немецкого легиона в помощь баденским повстанцам. И не только в бегстве с поля боя упрекали его, но и в несколько легкомысленном обращении с деньгами, отпущенными французским правительством на организацию баденского похода.

Немало труда положил Герцен для того, чтобы если не совсем рассеять, то хотя бы немного смягчить это отношение к своему другу, каким тогда был ему Гервег. «Я его спас от остракизма, я защищал его перед всеми, перед Фази и Струве»,— вспоминал впоследствии Герцен.

В то же время именно здесь, посреди преувеличенно горячих уверений Гервега в дружбе, у Герцена впервые появляются смутные подозрения в его вероломстве.

Между тем дела, и среди них немаловажное — финансовая тяжба с царским правительством, требовали присутствия Герцена в Париже.

Он покидает Женеву. Делает короткую остановку в Цюрихе. Несмотря на приятные дни в Женеве, веселые прогулки в горах вместе с Натали и Гервегом, тяжелые предчувствия не покидают Герцена: он не хочет углубляться в них. Но мрачность, несвойственная Герцену, от этого не проходит. Все выглядит в его глазах плохо. Цюрих — тоже. Натали пишет Гервегу в Женеву: «Цюрих не будет нашей резиденцией, Александр испытывает к нему отвращение».

Именно в этом мрачном настроении Герцен создает свое апокалиптическое произведение «Эпилог 1849» — он включает его в книгу «С того берега». Он клеймит в «Эпи-

логе» «год крови и безумия», «торжествующей пошлости, зверства, тупоумия...». Так он приравнивает к тягчайшим бедам человечества глупость.

Приехав в Париж, Герцены поселились в самом центре, в отеле Мирабо на улице Мира, часто бывали в театрах, на балах-маскарадах.

Однажды, выходя из гостиницы, Герцен заметил, что за ним следует неотступно некая личность, держась, впрочем, на приличном расстоянии, но так, чтобы не выпускать его из поля зрения. Герцен понял, что за ним снова учинена слежка. Полиция еще не приблизилась к нему вплотную, но уже держала его на невидимой привязи.

— Не ошибаетесь ли вы? — усомнился Боке, учитель его детей.— Вряд ли такие вещи у нас возможны. Не говорит ли в вас русская подозрительность? Ведь у нас все-таки республика.

Герцен посмотрел на него с сожалением.

— Наивнейшая вы душа, дорогой Бокеша. Какое бы правительство ни захватило власть в руки, полиция у него уже готова, часть населения будет помогать ему с фанатизмом и увлечением.

В эти дни в Париж тайно прибыл известный итальянский революционер Джузеппе Маццини. Не только в Италии, но и во Франции, и в Англии у него были приверженцы и поклонники в разных кругах общества, и это дало ему возможность остановиться в одном из аристократических особняков Парижа. Отличная конспирация!

Что-то скорбное было в аскетическом лице Маццини. Он дружески приветствовал Герцена. Они любили друг друга, несмотря на политическое разномыслие. Каждый уважал в другом революционный дух и чистоту помыслов. Преданность единомышленников Маццини своему вождю была так велика, что они, как свидетельствует Герцен,

шли на казнь с возгласом: «Да здравствует Италия! Да здравствует Мацини!»

Одно время Герцен считал Мацини стихийным социалистом. Это одно из любопытных заблуждений Герцена. Он говорил, что Мацини был социалистом прежде социализма, но сделался его врагом, когда социализм стал становиться новой революционной силой. Политическое честолюбие Мацини было непомерно: освобожденная Италия по его замыслу только начало, а в дальнейшем посредством Италии будет освобождено человечество. Ex Italiae — lux! [1].

Полемизируя с социалистами, Мацини назвал Прудона в одной брошюрке «демоном». Прудон отомстил ему тем, что назвал его в своей брошюрке «архангелом».

Но заботы о человечестве — это в дальнейшем. А сейчас Мацини, как и Гарибальди, борется за свободу Италии и за сплочение ее в единое государство. Это были передовые помыслы, и Герцен был всецело за них. Он не заглядывал за этот предел сознательно, ибо дальше началось бы расхождение. А Герцен не хотел становиться в оппозицию ни к Мацини, ни к Гарибальди. Но ведь и между ними были противоречия, хотя Гарибальди называл Мацини «maestro», то есть «учитель». При этом он говорил:

— Я готов служить папе, королю, черту, лишь бы он делал наше дело.

Мацини возражал:

— Я не верю, чтобы от князя, короля или папы сегодня или когда бы то ни было могло прийти спасение Италии.

Этот профессиональный бунтарь не был прагматиком. Его чувствам и даже действиям была свойственна некоторая приподнятость. Энгельс говорил о «высокомерных декларациях» Мацини и его страсти к «вечным заговорам».

---

[1] Из Италии — свет *(лат.)*.

Когда-то старец Филипп Буонарроти, знаменитый друг знаменитого Гракха Бабефа, погибшего на плахе в 1797 году, благословил Маццини на революционную деятельность, как бы символизируя этим вечную преемственность революционного духа. Но впоследствии разочаровался в нем за внеклассовые, а попросту буржуазные и даже аристократические связи.

Маццини оставался верен себе. Недаром его девиз был: «Ora et semper» — «Теперь и всегда». 1849 год был его пик. Европейские правительства трепетали перед прославленным заговорщиком. Потом пошел спад, наступил закат. Абстрактные заговоры и заговорчики лопались один за другим.

Сейчас Маццини выступил с новой идеей. Он предложил Герцену присоединиться к ней. Маццини хотел вовлечь его в затеянный им эмигрантский «Европейский центральный комитет». Его программа была выдержана в возвышенном стиле маццинневского красноречия: освобождение угнетенных национальностей и создание союза европейских народов.

Герцен отверг это предложение:

«Европейский комитет мне был не по душе. Мне казалось, что в основе его не было ни глубокой мысли, ни единства, ни даже необходимости».

Герцен, конечно, не подозревал, что он совпадает в этом мнении с Карлом Марксом, который подверг новую затею Маццини резкой критике. Маркс считал, что под прикрытием лозунгов о всеобщей свободе, равенстве и братстве программа комитета на деле призывает к забвению классовых противоречий во имя «интересов одной партии — буржуазной».

Герцену была ясна узость идеалов Маццини и Гарибальди. Но он глубоко уважал их за чистоту и цельность натуры. Вероятно, благодаря именно этим качествам промахи Джузеппе Гарибальди получили неожиданно

мягкую оценку со стороны Маркса и Энгельса, обычно беспощадных ко всем другим в критике политических ошибок.

У Герцена был неписанный перечень достопримечательностей, с которыми надлежит ознакомиться, когда попадаешь в Европу. В этом списке наряду с Лувром, Кельнским собором, парижской толпой, английским парламентом был и Прудон. Да! Пьер Жозеф Прудон, работой которого «Что такое собственность?» Герцен восхищался еще в России.

Он познакомился с Прудоном у Бакунина, который тогда жил в Париже на тихой улице Бургонь в квартире своего поклонника композитора Адольфа Рейхеля.

Коренастый, с широкими сутулыми плечами, с большим высоколобым лицом, обрамленным, как шейным платком, шкиперской бородой, Прудон вначале показался Герцену хмурым благодаря сдвинутым словно в гневе косматым бровям. Впрочем, взгляд у него был прямой и смелый.

Герцен рассматривал автора знаменитого изречения — «Собственность — это кража» — с таким интересом, что Прудон не мог скрыть своего удивления. Тогда Герцен, смеясь, признался, что Прудон значится в его списке европейских достопримечательностей.

Прудон тоже рассмеялся и уверял Герцена, что он «не памятник и не привидение».

— Чтобы удостовериться, можете пощупать меня руками.

Смех разбил ледок первых минут знакомства, и между ними сразу установилось дружеское общение. Сын крестьянина, потом типографский рабочий, самоучка Прудон соединял в себе тонкость мыслителя с грубоватостью «упрямого безансонского мужика», так назвал его как-то в минуту досады Герцен.

Едкий стиль Прудона, его задиристые парадоксы восхищали некоторых русских туристов, игравших в вольномыслие. Павел Васильевич Анненков пришел в восторг от последней книжной новинки — «Философии нищеты» Прудона и излил свои восторги в письме к Марксу, который тоже наличествовал в иконостасе Анненкова. Ну как же, и Прудон в моде, и Маркс в моде, и между ними он, Анненков, щеголяющий своим передовым направлением.

Увы, ответ Маркса холодным ушатом пролился на восторженную голову Павла Васильевича.

«Признаюсь откровенно,— писал Маркс,— что я нахожу в общем книгу плохой, очень плохой... Г-н Прудон дает ложную критику политической экономии... Он не подвергает критике социалистическую сентиментальность... славословит мелкую буржуазию...»

Несколько позже Маркс писал о Прудоне в своей «Нищете философии»:

«Он хочет парить над буржуа и пролетариями, как муж науки, но оказывается лишь мелким буржуа, постоянно колеблющимся между капиталом и трудом, между политической экономией и коммунизмом».

Еще когда Герцен был в Швейцарии, его судьбой заглазно распоряжалась не только французская полиция, но и французские революционеры. Два эмигранта, поляк Хоецкий и друг юности Герцена Сазонов, уверили Прудона, что Герцен даст ему деньги на издание демократической газеты. Деньги немалые — двадцать четыре тысячи франков на внесение залога в казну. Полетели письма из Парижа в Женеву к Герцену. К письму Хоецкого Прудон сделал приписку: «Задача... в том, чтобы разъяснить самой буржуазии ее настоящие интересы». Как характерна для догматического мышления эта уверенность, что, если буржуазии открыть глаза на нее самое, она послушно перестанет быть буржуазией!

Сазонов со своей стороны в письме к Герцену уверял его, что газета Прудона принесет ему, Герцену, барыши. Это нелепое письмо выдает не только барское отсутствие практичности в Сазонове, но и то, как мало он понимал своего великого друга, если считал, что тот гонится за барышами! Нажива и Герцен — что может быть более взаимоисключающее!

И если Герцен дал Прудону эти деньги, то им руководила надежда, что он сможет в этом органе публично выражать свои убеждения. Дал, между прочим, легко, со своим обычным изяществом. Гильмен, ведавший материальными делами газеты, говорил, что никогда не видел человека, который бы давал деньги с таким великодушием и добротой: «Можно было подумать, что услугу оказываем мы». Между тем у Герцена и денег таких не было, он их занял.

Герцен в письме к Прудону не скрыл от него, что деньги эти «сам взял взаймы по 5%...». При этом излагал условия своего участия в газете:

«Мы... приобретаем право располагать уголком в вашей газете — чтобы превратить ее в орган европейского революционного движения... Без такого влияния на эту часть газеты наше сотрудничество свелось бы к чрезвычайно жалкой роли вкладчика капитала, а это — скажу вам откровенно — не слишком-то мне улыбается...»

Прудон принял условия Герцена — руководство иностранной частью газеты (через Сазонова), «бесконтрольное право публиковать свои статьи по любым вопросам».

Герцен действительно поместил в «La Voix du Peuple» («Голос народа») — так стала называться газета Прудона — несколько этюдов, вошедших впоследствии в «С того берега».

Прудон считал, что Герцен пишет с «варварским задором». Варварским — не потому, что Герцен — русский, то есть скиф, а потому, далее прибавляет Прудон, что к это-

му варварскому задору «вас приучила немецкая философия». Знание России было у Прудона на уровне развесистой клюквы. Так, например, он видел «тайные корни» русского самодержавия «в самом сердце русского народа». Неосведомленность в русской действительности и фантастические представления о национальной психологии русского народа заставляли Прудона предполагать, что черта покорности этого народа проистекает из какой-то мистической любви к царю-батюшке.

Чем дальше, тем «La Voix du Peuple» все больше вызывал у Герцена чувство неудовлетворения. Влиять на европейское революционное движение — это скорее цель Бакунина. Герцену же близки судьбы России. На них он хотел бы влиять. Но он еще не пришел к четкой идее создания Вольной русской типографии. А тем более — организации тех каналов, по которым свободное русское слово могло бы проникать в Россию,— а иначе к чему оно? Только для самоуслаждения или для питания падких на сенсацию европейских журналистов...

«La Voix du Peuple» существовал недолго, около восьми месяцев. Сазонов вскоре из него ушел, не поладив с Прудоном. Никакого влияния на европейское революционное движение не получилось. К тому же газету заели непрерывные штрафы. Вскоре ее и вовсе запретили. От залога, внесенного Герценом, ничего не осталось.

В сущности, социализм Прудона с сильным запашком анархизма никогда не удовлетворял Герцена. Он однажды заметил:

— Прудон не настолько раскрыл дверь в социализм, чтобы можно было туда пройти...

При всем первоначальном уважении к Прудону Герцен никогда не стоял перед ним коленопреклоненным в молитвенном экстазе и всегда ценил в его учении больше метод, чем сущность.

— Чтение Прудона,— сказал он,— как чтение Гегеля, дает особый прием, оттачивает оружие, дает не результаты, а средства.

Именно в этом смысле Герцен приравнивал «Философию нищеты» Прудона к «Феноменологии» Гегеля.

Некоторое время Герцен, ценя способности Прудона и его прямую натуру, предпочитал закрывать глаза на «темные стороны этого огромного таланта». Но с годами разочарование стало все сильнее овладевать Герценом. Он начал примечать в облике Прудона перемены, которые ему казались гибельными. «Упрямый безансонский мужик» явно терял свое революционное упорство, изменял самому себе. Уже в 1848 году Герцен писал Марии Каспаровне Рейхель:

«Читаю теперь 3-й том Прудона... И вот над ним тоже свершился рок... Человек, который смог написать целый том (в 200 с лишним страниц) римско-католической клеветы против женщины — не свободный человек...»

А еще через несколько дней:

«Давно мне не было так невыразимо больно, как при чтении книги Прудона».

Чем больше Герцен вникал в новую книгу Прудона «О справедливости в церкви и революции», тем больше он видел, что этот человек, некогда такой сильный, ныне надломлен.

Покаянное открытое письмо Прудона префекту парижской полиции Карлье, напечатанное в «La Voix du Peuple» с отречением от политики и антиправительственной деятельности, вызвало горестное замечание Герцена: «Нет, цельных натур больше не существует... Все *простужены* из-за холода...»

Болезненно поразило Герцена отношение Прудона к восстанию в Польше. «Прудон,— заявил Герцен,— с ужасным бесчеловечьем упрекал Польшу, что «она не хочет умирать»».

Из Герцена выветрились последние остатки былого уважения к Прудону. Теперь он выражается о нем так: «...народы решительно не хотят... почтенного убожества по Прудону...».

Сходную реакцию вызвало это и у Маркса, заметившего, что Прудон в своем сочинении «Мир и война» «обнаруживает в честь царя цинизм, достойный кретина».

Надгробное слово Герцена о Прудоне тоже, в сущности, отмечало только силу его метода, напоминало, что он был силен не в созидательном утверждении, а в отрицательной критике:

«Может, он и думал, что умел лечить, но сила его была не в лечении, а в рассечении трупов».

## *Под бормотание колес...*

Всюду встречи безотрадные,
Ищешь, суетный, людей,
А встречаешь трупы хладные
Иль бессмысленных детей.

*РЫЛЕЕВ*

Осколок Великой французской революции застрял в излюбленном ею слове «декрет». Но то, что было когда-то взрывом революционной бури, опрокидывало старый порядок, ныне, в середине XIX века, выродилось в казенный окрик из полицейской части. Декретами теперь называются распоряжения нового префекта парижской полиции Пьера Карлье, сменившего Ребильо. Он некоторым образом тоже мог считаться и агентом русской полиции, поскольку ревностно выполнял прямые поручения III отделения — в отношении эмигрантов, конечно. В праздничные дни он нацеплял на грудь русский орден, пожалованный ему Николаем. Он являлся в некотором роде новатором: он изобрел, как отметил это Герцен, «ремни

с кистенями, чтобы разгонять народ». Карлье делал свое мрачное дело с садическим наслаждением, являясь, так сказать, и полицейским идеологом, автором программы борьбы с «возмутителями народа». Его обессмертил Маркс, назвав «грязной и пошлой карикатурой на Фуше...».

Одного из его декретов удостоился Герцен: весной пятидесятого года Карлье издал декрет о немедленной высылке Герцена уже не из Парижа, а из пределов Франции с запрещением возвращаться туда под страхом тюремного заключения. Итак, после России — Франция.

В том же году петербургский уголовный суд постановил по личному приказу Николая I:

«Согласно высочайшего его величества повеления и руководствуясь статьей 355 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, подсудимого Герцена, лишив всех прав состояния, признать за вечного изгнанника из пределов Российского государства».

В этом образце казенного красноречия по меньшей мере две неточности. Во-первых, Герцен не был подсудимым, ибо расправа с ним была бессудной и заочной. Во-вторых, Герцен не был уголовным. Но понятия «политический» не существовало в Российском государстве.

Поистине полицейская ретивость странствует по миру без виз. Через всю Европу с Востока на Запад от Леонтия Дубельта к Пьеру Карлье летели доносы на «вечного изгнанника». У Дубельта была зоологическая ненависть к Герцену. Как все перебежчики, он отличался особенным полицейским усердием. Во время расправы с декабристами Дубельт, этот, как его называли когда-то «крикун-либерал Южной армии», мгновенно переметнулся из либералов в реакционеры, смекнув, что несравненно безопаснее, да и выгоднее самому вешать, чем быть повешенным. Допрашивая Селиванова, заподозренного в сношениях с эмигрантами, Дубельт сказал о Герцене, нисколько не скрывая своей злобы:

— У меня три тысячи десятин жалованного леса, и я не знаю такого гадкого дерева, на котором бы я его не повесил!

Сейчас в Париже Герцен хлопотал не об отмене — это безнадежно,— но хотя бы о небольшой отсрочке его изгнания из Франции.

Карлье, человек аккуратный, завел на Герцена досье. Герцен увидел его в префектуре, куда он пришел добиваться отсрочки, и не удержался от скорбной улыбки при взгляде на этот, как он выразился, «второй том романа, первую часть которого я видел когда-то в руках Дубельта».

К этому моменту жизнь в Париже стала для Герцена удручающе тягостной. «Последние два месяца, проведенные в Париже,— сумрачно вспоминал он,— были невыносимы. Я был буквально gardé à vue [1]. Письма приходили нагло подпечатанные и днем позже. Куда бы я ни шел, издали следовала за мной какая-нибудь гнусная фигура, передавая меня на углу глазом другому». Он ждал, удастся ли его поверенному, банкиру Джемсу Ротшильду, вырвать из России его деньги.

Герцен борется с тяжелым настроением, все более овладевавшим им. Он повторяет полюбившееся ему изречение древних: «Tristia est animi imperfectio» [2]. Необъяснимые предчувствия томят его. Он воспринимает окружающее как канун беды. Он пишет Гервегу из Парижа:

«Я мечусь, как затравленный дикий зверь, на каждом шагу наталкиваясь на препятствия... Боязнь, беспокойство, судорожное ожидание — и затем прострация, апатия. Это, пожалуй, одно из самых мрачных времен, какие мне пришлось пережить».

[1] Под явным надзором *(фр.)*.

[2] Грусть — несовершенство души *(лат.)*.

Лето было томительно жаркое. Даже ночь не приносила прохлады. Решительно не спится. Устав бороться с бессонницей, Герцен постучался в комнату к Эрнсту Гаугу, гарибальдийскому генералу, рубаке, мечтателю и щеголю. Герцен в ту пору любил его, быть может, больше всех своих зарубежных друзей. Они понимали друг друга с полуслова. Но им и молчалось вместе хорошо.

Гауг тоже не спал. Он взял трость, подаренную ему Герценом, и оделся, как всегда тщательно, словно они шли на бал, а не в безлюдные ночные улицы,— серый фрак, светло-голубой жилет с цветами и мушками и повязал поверх жабо темно-синий галстух с львиными головками.

Они окунулись в пустынные улицы ночного Парижа. В молчании пересекли площадь Согласия. Вдруг возле собора Святой Магдалины Герцен заговорил. То, что он сказал, было неожиданно:

— Вы знаете, я всю свою жизнь, в сущности, любил одну женщину: Натали. Только она сыграла роль в моей жизни, и роль эта огромна, и я ее люблю так, как в первый день. Она — мое блаженство, мое небо...

Герцен в ту пору много работал. Пожалуй, слова «в ту пору» могут показаться неуместными: он всегда много работал. Но, по собственному признанию, годы 1848—1849 были для него особенно плодотворными. Это была его болдинская осень, растянувшаяся на два года. Кроме «Писем из Франции и Италии» он создает гениальное «С того берега». Отдельные главы его писались на протяжении всех этих двух лет: «Vixerunt!» [1] — в конце сорок восьмого года, «Consolatio» [2] — зимой сорок девятого. Глава «Перед гро-

[1] «Отжили!» *(лат.)*. Слова Цицерона после казни участников заговора Катилины.

[2] «Утешение» *(лат.)*.

зой» проникла в Москву и там — наряду с другими подпольными изданиями: «Письмом Белинского к Гоголю» и пьесой Тургенева «Нахлебник» — шла широко по рукам в разных копиях, которые делал Кетчер.

Герцен называет «С того берега» — «моя логическая исповедь, история недуга, через который пробивалась оскорбленная мысль...». Далее он объясняет, что это «страницы заклинаний и обид». Он считал «С того берега» лучшим из всего, что он написал. Правда, тогда еще не было «Былого и дум».

«Эпилог 49» — заключительная глава этого произведения — подобен финалу трагедии. Какой мрачной силой отчаяния, какой горькой страстностью обдают нас эти слова — нет, не слова — вопли этого герценовского Экклезиаста: «Я краснею за наше поколение, мы какие-то бездушные риторы, у нас кровь холодна, а горячи одни чернилы... Мы размышляем там, где надобно разить, обдумываем там, где надобно увлечься, мы отвратительно благоразумны... Мы все переносим, мы занимаемся одним общим, идеей, человечеством...»

Вызывало споры это многозначное название: «С того берега». Как его понимать? Сам Герцен не всегда держался одного толкования. ««С того берега» означает только — за рубежом революции, больше ничего», — писал он в одном письме. Но в обращении к сыну, предпосланном этому произведению, Герцен иначе осмысляет название: «...не остаться на этом берегу. Лучше с революцией погибнуть, нежели спастись в богадельне реакции».

В те дни в Париже тоска по России иногда овладевала со щемящей силой — просто по ее лицу, материнским чертам, Москве-реке, соколовским перелескам. Он шел тогда в парк Монморанси, там в глубине одна рощица удивительно напоминала ему подмосковный лес.

— Не знаю отчего, — признавался он, — но... идешь и думаешь... вот сейчас пахнет дымком от овинов, вот сейчас

откроется село... с другой стороны, должно быть, господская усадьба, дорога туда пошире и идет просекой; и верите ли? Мне становилось грустно, что через несколько минут выходишь на открытое место и видишь вместо Звенигорода — Париж...

Вернувшись домой, не насыщенный этим суррогатом родины, он писал в той же главе «Consolatio» в диалоге двух воображаемых спорщиков:

— «...спокойного уголка в тепле и тишине вы не найдете теперь во всей Европе.

— Я поеду в Америку.

— Там очень скучно.

— Это правда...»

Ну, а в Россию? Ведь где бы ни скитался за рубежом Герцен, в каком уголке Европы ни кидал он якорь и порой на годы, он только снимал дом, но не покупал его. Не свивал, стало быть, гнезда навечно. Значит, надежда на возвращение в Россию не покидала его? Да! Но он ставил условие. Он пишет в главе «Прощайте!», на одной из страниц все того же всеобъемлющего и пронзительного произведения «С того берега»:

«...Я не хочу возвратиться... я подожду до тех пор, пока усталая власть, ослабленная безуспешными усилиями и возбужденным противудействием, не признает чего-нибудь достойным уважения в русском человеке!»

Кафе «Комартэн» на улице того же названия или кафе «Тортони» на Итальянском бульваре, где у Сазонова был свой постоянный столик, театры, иногда балы-маскарады в «Опера» или в «Комеди Франсез» — вот куда, порой утомленный работой, заглядывал Герцен обычно с женой. Правда, в последние дни Натали неохотно покидала дом. Дети, друзья, среди них главным образом Гервеги, стали ее миром.

Все же Герцену удалось однажды ноябрьским вечером увлечь ее с собой на премьеру в театр «Водевиль». Это была модная новинка сезона. Публика валила валом. Одно название чего стоило: «Собственность — это кража»! И дальше: «Социалистический фарс в 3 актах и 7 картинах».

— Позволь! — удивилась Натали.— Ведь это знаменитое изречение Прудона из совершенно серьезного произведения — философского, политического. При чем тут фарс?

Они пробирались сквозь толпу, заполнившую проход в театр. Герцен по дороге объяснял Натали:

— Страсть к шутке, к веселости, к каламбуру составляет один из существенных и прекрасных элементов французского характера. Ей соответствует на сцене фарс, который есть народное произведение французов.

Оказалось, что один из героев фарса — сам Прудон. Под сплошной хохот публики он торжественно отменяет название «Биржевые маклеры», заявляя: «Отныне они будут называться: «Биржевые посредники»».

Натали была шокирована.

— Это издевка над социализмом! — заявила она после спектакля.

— Нисколько! — ответил Герцен, хохотавший во время представления как дитя.— Здесь подмечены комичные стороны французского догматизма. Ты заметила, что французы всякий раз начинают все сначала. С серьезным видом они начинают рассуждать, является ли свобода печати нерушимым правом? Или: должно ли быть обеспечено право собраний? Это же азбучные вопросы. В Англии они невозможны со времен Кромвеля, в Америке — со времен Вашингтона.

— Но этот фарс — оскорбление Прудона,— не сдавалась Натали.

— У Прудона есть темные стороны,— отвечал Герцен

уже серьезно,— но он огромный талант, и ради его достоинств я готов простить ему поношение Руссо и даже его странный призыв: «Примирение — это революция».

— Примирение с кем?

— Буржуазии с пролетариатом. Я рассматриваю это как измельчание Прудона.

Прогулки по Парижу иногда совершались в мужской компании. В таком случае спутниками Герцена бывали Сазонов и Гервег. Иногда — один Гервег. Этот готов был развлекаться каждый вечер — ему были чужды ночные бдения за письменным столом. Кроме того, ни сантима в кармане, обанкротившийся тесть сократил до минимума ежемесячные подачки, и Гервеги все больше переходили на содержание Герцена.

От назойливых порой зазываний Гервега приходилось Герцену отделываться записками, пока еще добродушно-шутливыми по тону, но категоричными по существу, вроде такой:

«Нет, Гервег, это невозможно, человеческие силы имеют предел, и у меня их больше не осталось... все вместе взятое не позволяет мне добраться даже в экипаже до собора Богоматери...»

Однажды втроем — с Сазоновым и Гервегом — они забрались в клуб «Легион Везувианок».

Деятелями этого клуба были только женщины. Имя знаменитого вулкана они присвоили своему клубу как символ потрясения основ благопристойной буржуазной морали.

Когда друзья вошли под своды, потемневшие от табачного дыма, раздались возгласы:

— Какой красавчик пришел!

Гервег действительно был красив. Это, собственно, и был его основной капитал. Темные шелковистые кудри,

красиво подернутые легкой сединой при молодом лице. Шелковистая же бородка, не скрывавшая мягких очертаний подбородка. Тонкий нос с маленькой горбинкой. Изящный овал узкого лица. Лицо матово-смуглое, с бронзовым оттенком — его можно было принять за аравийского принца. Глаза темно-карие, блестящие, вдруг вспыхивающие. Выражение лица отрешенно-милосердное. Строен, хорошо сложен, гибок. Голос — из бархатных, с ласкающими модуляциями. Кисти рук узкие, холеные. Вкрадчивая мягкость в манерах.

Когда Гервег показывался в обществе, взгляды женщин обращались на него с интересом, иных — с восхищением.

Одевался Гервег изысканно. Меринг пишет о нем в сожалительном тоне, что он «обратился в модного щеголя и франта». Гейне, который знал Гервега в молодости, писал:

Еще ты мускусом не пропах,
И не носил еще лорнетки,
Цепочки ты не имел золотой,
Жены и бархатной жилетки.

Придирчиво хороший вкус нашел бы, что Гервег слишком сладок, недостаточно мужествен, может быть даже кокетлив. «У него была какая-то полумужская изнеженность»,— замечает мимоходом Герцен.

Наблюдательный Павел Васильевич Анненков характеризует Гервега как «изящную и вместе холодную, эгоистическую, сластолюбивую личность». Павел Васильевич был человек сдержанный, но надо было видеть, какие насмешливые искорки загорались в его глазах, когда Гервег подходил к зеркалу, плавным жестом оглаживал свои шелковистые кудри, чуть побелевшие на висках, и говорил при этом:

— Я люблю свою седину.

Каким жеманным самодовольством звучал его голос в эти минуты.

Натали писала подруге своей Наташе Тучковой:

«Эмма... я люблю ее, но в ней много ненужного, ее муж — широкая натура, с ним мне даже хорошо молчать, мысль не задевает за него, не спотыкается...»

Да, между ними не было идейных споров, проблемных разговоров, а просто бездумная дамская болтовня, в которой Гервег был испытанный дока. Отсюда возникало ощущение радостной легкости, немножко почему-то стыдной, словно недозволенной, «мысль не задевалась». Но когда молчит мысль, тогда поднимает голос чувство.

Быть может, это и было начало того трагического периода в жизни Герцена, который он впоследствии назвал «Кружение сердца».

А ведь весна пятидесятого года перед отъездом в Ниццу так хороша была в Париже! Так славно гулялось Герцену на Елисейских полях под платанами, они только начинали зеленеть и выпускать свои царственные покуда по-младенчески крохотные листья в виде короны.

Жалко покидать Париж? Теперь уже нет. Герцен испытывал равное презрение к реакционерам, засевшим в правительстве, и к тем, кто, называя себя оппозиционерами, также торговали интересами народа.

Нет, этот отъезд в Ниццу не только вынужденный, не только насильственная высылка из Франции как нежелательного иностранца,— но и добровольный.

Право же, Герцену вот сейчас, когда он, остановившись под платанами, раскуривает сигару, кажется, что он уже чувствует солоноватый поцелуй моря на губах.

Вот, стало быть, и середина марта, думалось ему, вот и перевал зловещего месяца во вторую половину. В каждом марте зарыта бомба. Она взорвалась и сейчас — устрашающее известие из России об аресте Огарева подтвердилось. К счастью, арест был недолгим...

Герцен, улыбаясь, мысленно набросал шутливую радостную записку Эмме Гервег, которую тоже высылали из Франции:

«Господин надворный советник Герцен (фон) имеет честь покорнейше уведомить милостивую государыню Эмму Гервег, что высокоценный паспорт ее счастливого супруга на поездку в Ниццу визирован... Иды марта».

Тут же его пронзило. Только вчера он раскрыл томик Гая Светония Транквилла «Жизнеописание двенадцати цезарей» — сам не зная почему, может быть, заразился латиноманией от этого непоседы Тургенева — и сразу наткнулся на этот недобрый разговор Юлия Цезаря с предсказателем Спуринной, который призывал его быть осторожным в эти средние дни марта (они назывались у римлян «иды»), предвещающие Цезарю беду. И когда Цезарь посмеялся над этим, сказав, что вот же иды марта пришли и не причинили никакого зла...

— Да,— сказал Спуринна,— пришли. Но не прошли...

## *Завязка*

She loved me for the dangers
I had passed.[1]

*ШЕКСПИР*

Георг Гервег плакал. Часто и охотно. Не стесняясь присутствием людей. Наоборот, ему в эти моменты нужна была публика. Смотря какая, конечно. В данном случае — Герцены. Причем поодиночке. Так он и проник в их сердца, лучше сказать вплыл туда на потоке слез.

1849 год был годом создания одной из наиболее глубоких вещей Герцена — «С того берега», годом социаль-

[1] Она меня за муки полюбила *(англ.)*.

ных потрясений во Франции, годом краха баденского восстания в Германии, годом политического преследования Герцена за рубежом, годом рождения с помощью Герцена социалистической газеты Прудона «Голос народа». Но, кроме того, этот год — море слез Гервега.

Слезы — оружие слабых. Иногда — неодолимое. Что тут было притворством, что шло от сердца, трудно сказать. Быть может, выразительнее всего на этот вопрос ответил Диккенс.

Конечно, это чистая случайность, что прославленный роман его «Давид Копперфильд» появился в 1849—1850 годах, когда разыгралась трагедия в семье Герценов. Но, честное слово, можно подумать, что, создавая образ плаксы Урии Гипа, знаменитый романист имел перед собой моделью Георга Гервега.

Да, пустить слезу для Гервега не составляло никакого труда. Впадая в радостное волнение, он мгновенно доводил себя до слез. Так что же, действительно притворство? Скорее — приспособление к обстоятельствам. Душевная распущенность, гипертрофированная сентиментальность, а под всем этим расчет холодной натуры, не всегда сознательный, расчет инстинкта, безошибочно направленного на то, чтобы нравиться, обаять, извлекать наслаждение, а также и пользу.

«Гервег относился ко мне,— вспоминает Герцен,— как будто мы месяца не виделись... не отходил от меня ни на одну минуту, снова и снова повторял слова самой восторженной и страстной дружбы...»

Это было зимой сорок девятого года, когда Герцен с матерью приехал в Берн. Гервег провожал их. Гервег «проводил меня на почтовый двор, простился... утирая слезы...». Слезы Гервега! Кажется, они уже не действовали на Герцена.

Гервег играл в отчаяние, в несправедливость к нему судьбы, в трагедию одиночества, в безысходность. Он хо-

тел, чтобы его жалели. Недаром в русском языке слова «жалеть» и «любить» иногда смыкаются по внутреннему смыслу. Да только ли в русском? Отелло у Шекспира говорит о Дездемоне: «She loved me for the dangers I had passed, and I loved her that she did pity them...» [1]

Стало быть, Дездемона испытывала к нему «pity», то есть жалость. Жалость, переливающуюся в любовь.

Гервег хотел, чтобы его любили. Оба: и Александр, и Натали. Конечно, по-разному: в первом случае он ломился в дружбу-покровительство, чуть ли не в усыновление (в одном из слезливых писем к Герцену он так и пишет: «Будь мне старшим братом, отцом...»), во втором — он с профессиональной уверенностью вел игру обольстителя.

Когда же он оставался наедине со своей женой, слезы сразу высыхали на лице красавчика. С Эммой он был резок. Здесь он был повелитель.

Натали жалела его. Она убеждала Герцена, что Гервег «большой ребенок», что он тоскует по «нежному вниманию».

Натали постепенно втягивалась в «нежное внимание» к этому романтическому реве. Ей казалось поначалу, что чувство, рождающееся у нее к Гервегу,— это действительно чувство матери, друга, сестры.

Быть может, первое время Натали отталкивала от себя это наваждение тяги к Гервегу, цеплялась за детей, за мужа, уверяла себя, что у нее не более чем сестринское чувство к Гервегу. При этом чувствовала себя безмерно счастливой, как-то по-новому, по-иному, возбужденно-счастливой.

«...Чувствую себя свежо, ярко и юно...— писала она в эти дни Наташе Тучковой,— ...сидела долго-долго у открытого окна, когда я одна, я ничего не боюсь, я как-то

---

[1] Она меня за муки полюбила,
А я ее за состраданье к ним *(англ.)*.

дышала полнее и шире оттого, что ни милое, ни постылое прикосновение не мешало мне. Из этого не значит, что милая помеха не приятна никогда — совсем нет!»

Новое чувство начинает забирать Натали с такой неудержимостью, что она впадает в не совсем свойственный ей игривый тон — признак происходящих в ней перемен. Их голос иногда достигает силы крика.

«...Мне небо теперь кажется с овчинку,— пишет она более распахнуто Наташе,— все с овчинку, все темное, горькое, больное, все пустяки! все пустяки! Я счастлива, друзья, счастлива бесконечно...»

Время не стоит. Его движением вперед распоряжается воображение. Вспять — память. У Герцена могучая память. Она для него источник творческого наслаждения, когда она воссоздает в «Былом и думах» прошедшее так явственно, что оно светится, как настоящее. Но она же — память — мучит его неотвязными картинами перенесенных бед. Горе встает так же ослепительно, как и радость.

Переселению Герценов в Ниццу предшествовала, как известно, жизнь в Швейцарии. Ничто как будто не омрачало ее. И все же...

Вернемся несколько назад. Герцен выезжал в Париж в каком-то смутном состоянии. Натали оставалась покуда в Цюрихе. Герцену стало казаться, что что-то изменилось в ее духовном облике. Может быть, даже исказилось. Не слышится ли в ней эхо декламаций Гервега о том, что избранные натуры вольны жить в согласии со своими порывами?.. Кстати, он сейчас увидит Гервега. Он заедет по дороге к нему в Берн. У Гервега корректура немецкого перевода «С того берега». Но можно думать, что не одни литературные заботы влекли Герцена к нему.

Несмотря на свой доверчивый нрав и уверенность в

монолитности чувств, связывающих его и Натали, Герцен начинает ощущать первые туманные... Подозрения? Да нет еще. Догадки? И даже не это. Какое-то, сказали бы мы, неясное беспокойство.

Он все возвращался мыслью к истокам их любви. Он винил себя: «Мне надо было гораздо сильнее втянуть ее, просто ввергнуть в реальность жизни. Как случилось, что рядом со мной, таким земным, она дала увлечь себя в какую-то мистику дружбы... А может быть, я идеализировал ее, подымал на пьедестал? Как и она меня. А не в том ли все дело, что в ней больше женщины, чем человека?..»

Наставив воротник пальто, Герцен бродил по рано темнеющим парижским бульварам, где гулял пронзительный декабрьский ветер. Он брел куда глаза глядят и своими путаными маршрутами сводил с ума следивших за ним филеров. Ему никого не хотелось видеть — редкая для его общительной натуры жажда нелюдимости. Он был, по собственному признанию, в состоянии крайнего раздражения. Он не отдавал себе отчета в причинах этого. Вернее, он отталкивал от себя желание или даже необходимость разобраться в сумбуре своих чувств.

Но в конце концов он это сделал. Он выпустил из области подсознательного мрачных вестников беды.

В те дни от Гервега из Швейцарии поток писем. Сверхдружеских! От Натали, оттуда же, горячие нежные письма, которые, впрочем, перемежаются порой, как Герцен сказал сам себе, с «резкими холодными ответами».

«Когда это могло начаться? — задавал он себе мучительный вопрос.— Как я не заметил начало того, что стало между ними больше, чем дружба? Но не хватаю ли я через край? Есть ли оно в действительности это «больше, чем дружба»? (Он избегал и в мыслях слова «любовь», даже «увлечение».) Ведь только что в Берне он обливал меня слезами, клялся в дружбе. Только что... А что было до этого «только что»?.. Спокойно! Побольше самооблада-

ния. Прикинем числа. Двадцатого июня я уехал в Женеву. Так. Она осталась в Париже. Дальше. Натали приехала ко мне в Женеву только десятого июля... Двадцать дней... Может быть, тогда это все и началось?

Но ведь они и сейчас рядом. Там, в Цюрихе. И я сам, разжалобленный его слезами, уговаривал его переехать из Берна в Цюрих. Выталкивал его туда собственными руками. И вот уже скоро месяц они рядом... А может быть, это уже не начало, а продолжение того, что началось тогда в Париже? А?.. А может быть, все-таки ничего не было, и ничего нет, и это все мои придумки... Но ее неспокойствие... И какая-то нервная тоска...

Нет, нет, так нельзя. Надо пресечь это неведение. Я должен все узнать...»

Вернувшись к себе, Герцен написал Натали письмо. Он не дал вылиться на бумагу той буре, которая бушевала в нем. Он сдержал себя. Это была скорее просьба. Вот тогда-то он и просил ее «тихо, внимательно исследовать свое сердце». Самыми пронзительными были те строки, где он напоминал Натали о любви, которая их связывала всю жизнь. Во имя этой любви он просил ее сказать всю правду не только ему, но и самой себе.

И тогда же пришел этот успокоительный ответ от Натали:

«Чиста перед тобой и перед всем светом, я не слыхала ни одного упрека в душе моей...»

На какой-то намек она все же решилась:

«...В самой глубине души что-то, как волосок тончайший, мутило душу...»

И еще более определенно в одном из последующих писем, которые теперь градом летели из Цюриха в Париж:

«...Эта неудовлетворенность, что-то оставшееся незанятым, заброшенным искало иной симпатии и нашло ее в дружбе к Г...»

Что это? Полупризнание? Как сказать! Это довольно

гибкая формулировка — тут и «симпатия», и «дружба», и расчет, быть может бессознательный, как среагирует на все это Герцен.

Реакция была ошеломляющая: Герцен ответил угрозой уехать в Америку.

Тогда-то и состоялся мгновенный, панически быстрый приезд Натали в Париж, предваренный ее письмом:

«Что ты!.. Что ты!.. Я — и разлучиться с тобой — как будто это возможно. Нет, нет, я хочу к тебе, к тебе сейчас — я буду укладываться и через несколько дней я с детьми в Париже!»

И в другом письме:

«...Недоразумения! — я благодарна им, они объяснили мне многое... они пройдут и рассеются, как тучи...»

Но «недоразумения», как называла все это Натали, не прошли с ее приездом.

Наоборот, они сгущались.

Значит, она не любила Герцена? Любила! Всей силой своего экзальтированного сердца. И она даже пишет об этом... Но кому? Гервегу! Примерно через неделю после своего приезда в Париж:

«...Ты знаешь всю мою жизнь, то есть всю мою любовь к Александру,— во мне не найдется и крупицы, в которой не было бы его...»

Это письмо к Гервегу она отправила тайком от Герцена. Почему? Потому что после слов: «...не найдется и крупицы, в которой не было бы его...» — следовали слова: «Но нашлось еще место и для тебя...»

Наконец в середине июня Герцены покидают Париж. Они отвергают дилижансы и в жажде острых ощущений едут по железной дороге — технической новинке середины века. Их конечный пункт — Ницца, она тогда находилась в пределах Сардинского королевства. Когда Герцен пере-

секал границу, он, как сам признается, «свободно вздохнул так, как во время оно вздохнул, переезжая русскую границу».

На одной из станций Герцен бросил в почтовый ящик письмо к московским друзьям, он набросал его в вагоне:

«...Езда по железным дорогам имеет какое-то величие и притом сладострастие, после этого вихря, несущего вас с быстротою стрелы, почтовые кареты и дилижансы делаются противны...»

Покачиваясь в вагоне, он машинально вслушивался в ритмичные стуки поезда, и постепенно они стали складываться в слова. Ему сделалось смешно. Он сказал жене:

— Натали, вслушайся в шум колес. Они все время твердят одну и ту же песенку.

Она добросовестно вслушалась.

— Слышишь?

— Я слышу мерный, ритмический стук: та-та, та-та-та, та-та, та-та....

— И больше ничего? А я слышу: «Про-вен-ти-ли-руй свой ин-тел-лект».

Он засмеялся своим звонким смехом и глянул на жену победоносно, как всегда, когда он набредал на счастливую находку.

Впрочем, тут же молвил серьезно и даже с грустью:

— Я бы сказал, вполне дельный совет. И как раз вовремя.

Она улыбнулась бледной, вымученной улыбкой. Опять он забыл: к сожалению, ей недоступно чувство юмора. Хотя сегодня на перроне, увидев паровоз, это огнедышащее чудовище, она сказала:

— Тележка с самоваром.

Натали дремала. Герцен тоже откинул голову на валик вагонного дивана и призывал сон. Но сон не отзывался. Тонкая ниточка боли тянулась от одного виска к другому

сквозь череп — мигрень, родовая мигрень, все Яковлевы страдали ею. Стало быть, не заснуть. Он мысленно вооружился пером и распахнул воображаемую тетрадь. Когда он не мог писать в дневник по-настоящему, он делал это мысленно:

«Мне весело думать, что я избавлюсь, наконец, от этого судорожного засасывающего беспокойного и болезненного существования, которое я влачил последнее время...

Весело? То ли это слово? Никому человек не лжет так охотно, как самому себе. Да, я не примирился с сегодняшним Парижем. Это меня бесит. Я убеждаю себя: какое мне, в конце концов, дело до всей этой политики Франции, будь она проклята!..»

Он на мгновение вообразил Соколово. Осень. И этот запах, который всегда сладко томил его — нежный, чуть пряный дух палых вянущих листьев. Куда деваться от тоски по России! А эти дураки пишут у себя в газетах: «Русский может быть либо рабом, либо анархистом...» И все-таки это был не совсем сон. Забытье! Отключение. Бегство от всех завихрений жизни в туман полудремы под железное бормотание колес:

«Про-вен-ти-ли-руй свой ин-тел-лект... Про-вен-ти-ли-руй свой ин-тел-лект...»

## *Дремлющий Везувий*

То истиной дышит в ней все,
То все в ней притворно и ложно!
Понять невозможно ее,
Зато не любить невозможно.

*ЛЕРМОНТОВ*

Иногда слова Натали поражали духом предчувствия.

За несколько лет до любовного вихря, закружившего ее, она писала Огареву и Сатину — не о себе, а о только что родившейся у нее Тате, но, в сущности, о себе:

«...Вот и другая Наташа явилась на свет, новая, хорошая, с такими большими глазами, с таким чудесным лбом, точно у отца, пусть и во всем будет похожа более на него, нежели на меня, пусть чувство не перевешивает рассудок, а то неловко жить на свете...»

Она все время жила как бы в предвкушении каких-то необычных поворотов своей судьбы. Жаждала ли она их? Скорее, чувствовала себя обреченной на большие душевные встряски, может быть падения, но и последующие возрождения. Эта внутренняя сумятица в немалой мере подогревалась чтением романов модной тогда Жорж Занд. Ее книги были евангелием для некоторой (преимущественно дамской) части читающей публики. Боткин называл Жорж Занд «Иисусом Христом женского рода».

Через год после письма Огареву и Сатину (собственно, приписки к письму мужа) Натали писала уже исключительно для себя в своем интимном дневнике:

«О великая Санд! Так глубоко проникнуть человеческую натуру, так смело пронести живую душу сквозь падения и разврат и вынести ее невредимо из этого всепожирающего пламени...»

Герцена временами тревожила странная восторженная настроенность его жены. В конце концов и повесть-то свою «Кто виноват?» он написал для Натали. Недаром ей он посвятил ее. Он звал там Натали от жизни одним сердцем к широте интересов, к богатству умственных переживаний, эстетических эмоций и даже политических чувствований и, может быть, действий.

Вряд ли Огарев догадывался о тех чувствах, которые роились в душе этой молодой, на вид такой неопытной жены его друга. Подумать только, что Герцен когда-то считал ее холодной, безжизненной! Как обманчива наружность! Хрупкая, с ласковой улыбкой, имевшая в себе что-то дет-

ское в свои тридцать лет... Высокий чистый лоб, не закрытый прической на прямой пробор, темно-голубые глаза, глубоко утопленные, с какой-то тайной думой в них, оттененные бровями в свободном мечтательном разлете, необыкновенно ясный взгляд, словно к чему-то зовущий, плавная грация движений — во всем этом пленительная красота, неброская, но вглядишься — не отведешь глаз.

Она продолжала любить Герцена. Но не боготворить, как в первые годы замужества. Она свергла его с пьедестала, на который сама же прежде вознесла. Не потому ли, что он оказался слишком земной? Ах, поймите, не поклонников жаждала она, а предмет поклонения, кумира, которому сама могла бы поклоняться. Притом из тех, кого бы в то же время любил и муж, стало быть из ближайших его друзей. Именно в этом противоестественном положении раздвоенное сознание Натали, могущее вместить две любви, нашло бы некую совершенную гармонию.

Нельзя исключить некоторого влияния на Натали Огарева — влияния, о котором он, между прочим, и не подозревал. Из заграничного вояжирования он вернулся нигилистом, ниспровергателем устоев. Он проповедовал в своей мягкой и чем-то неотразимой манере неограниченную свободу личности. Наш старый друг, Павел Васильевич Анненков, в ту пору часто, как и Огарев, бывал у Герценов и свидетельствует, что Николай Платонович стал провозглашать, что следует «спокойно и сознательно пренебрегать... нравственными стеснениями...».

В дневнике Натали появляются записи об Огареве:

«...Какая мощь мысли, твердость, внутренняя гармония,— в этом отношении он выше Александра... натура его божественна... я не могу устоять против этого влечения...».

В этом разговоре Натали с самой собой отпечатлелись две глубинных черты ее душевного состояния: сотворение

божка для поклонения ему и невозможность противостоять этому влечению.

Впору удивляться другому. Конечно, Огарев был незаурядный человек. Но как можно приравнивать его к Герцену, полному огня и блеска, гениальных прозрений и могучего художественного таланта!

Анненков, этот проницательный флегматик, подметил возрастающий внутренний протест Натали против бытовой рутины ее существования. Тайный роман в письмах с Герценом — да! Ее бегство из дома княгини Хованской и тайное венчание — да! В юности все это отвечало романтическим зовам ее души. Но повседневный стереотип — будничная «законная» любовь, домохозяйство, роды, самый блеск герценовского гения — приелся, даже отвращал своим навязчивым постоянством.

Дружба с Герценом была, разумеется, для Огарева драгоценна. И хотя отблеск ее падал и на жену друга, однако Огарев и не подозревал, насколько дружба с ее стороны носит особый характер. Сам Николай Платонович не разделял эту пару. Оба они — и Александр, и Натали — были для него единым существом.

Огарев был в ту пору женат гражданским браком на Наталье Тучковой, той самой любимице Натали Герцен, называвшей ее «Consuelo di sua alma» и поверявшей ей свои сердечные тайны. Однажды Натали сказала ей:

— Я больше создана для твоего Огарева, как ты для моего Александра, в вас жизнь больше кипит, а мы больше созерцаем.

Тучкова, хотя и польщенная этой откровенностью, сильно удивилась. Она попробовала обратить это в шутку.

— Ты что ж,— сказала она,— предлагаешь обмен мужьями?

Натали поняла, что зашла слишком далеко, и включилась в шутливый тон — безмолвно, правда: рассмеялась и обняла подругу.

Когда Натали была в Неаполе, она отмахнулась от олеографической красивости неаполитанского залива. Но не отводила глаз от Везувия, мощно возвышавшегося вдали. Он в ту пору был неспокоен, и Натали вдруг почувствовала в нем что-то родственное себе. Она пишет Тане Астраковой в Москву:

«...Мрачный, величественный Везувий каждую минуту выбрасывает огненный сноп... Я полюбила его как друга, эту гору, я так сочувствую ее вулканической жизни... меня физически тянет в ее огонь...»

## *Любовь небесная и земная*

> Тициан, где вы сейчас? Клянусь, если бы вы написали то, что я вам рассказываю, вы повергли бы всех в такое же очарование, каким охвачен я сам!
>
> *ПЬЕТРО АРЕТИНО*

Ницца мерещилась Герцену как земля обетованная. В Ницце не преследуют политических эмигрантов. В Ницце вечное лето. «Там вечно ясны небеса». Герцен надеялся, что прекрасная ясность придет и в его семейную жизнь и все в ней уладится.

Гервег продолжал засыпать Герцена письмами.

«Дайте мне еще раз вашу руку! — восклицает он.— Я любил вас безумно, я и теперь с такой же силой люблю вас».

Можно подумать, что это письмо от любовницы.

«Будущее без вас, знайте это, для меня — бессмыслица...»

«Жизнь мне кажется полной только с тех пор, как я встретил вас!..»

В конце концов этот поток преклонения, почти раболе-

пия действует на Герцена. Он готов поверить в искренность этой преданности. Он отвечает, что согласен с предложением Гервега, которое тот делает, как бы зайдясь в восторге дружбы, перейти на «ты». Он пишет Гервегу:

«...Да, да... мы друзья... близнецы...»

Гервег покуда по-прежнему в Швейцарии. Там же мать Герцена и их приятельница Мария Эрн.

В Ниццу вместе с Герценами приезжает Эмма Гервег. Муж ее почему-то туда не спешит, хотя здесь его страстно ждут. Натали приписывает к письму мужа:

«Мне все кажется, что вы вышли на минутку и что я увижу вас всякий раз, когда открывается дверь... Обнимаю вас от всего сердца. Пишите, пишите, пишите! Натали».

Это словно бы язык дружбы. Весьма тесной, но все в рамках добрых приятельских отношений. Взаимное дружеское тяготение — хочется назвать это «экстаз дружбы» — дошло до того, что Герцен, Гервег и Натали в ту пору стали называть друг друга именами персонажей из романа Жорж Занд «Маленькая Фадетта»: близнецы Ландри и Фадетта. Герцен отнесся к этой выдумке, как к игре, с ироническим добродушием, как и вообще к этой писательнице. «Романов Жорж Занд читать не могу — скучны»,— писал он впоследствии дочери.

Но Гервег ухватился за игру в близнецы с азартом и называл отныне Герцена не иначе как своим «двойником». С таким же правом недвижный омут мог называть себя двойником водопада. Он не понимал, что в глазах Натали он был привлекателен именно тем, что был совсем непохож на Герцена, полярен ему. Ее манила неведомая противоположность — какая она? — изведать жутко и интересно.

Была ли то догадка, расчет или случайное совпадение, но Гервег возник в жизни Герцена в тот момент, когда Натали устала от блеска, мощи и грохота водопада и бессознательно тосковала по антиподу Герцена, стремилась без-

отчетно к тихой заводи, мечтательной, поэтической, стоячей.

Незадолго до этого Герцен сокрушался о слепоте Огарева, который не замечал вольного поведения своей жены Марии Львовны Рославлевой. Герцен писал Натали:

«Бедный, бедный Огарев! И еще повязка не спала с глаз его».

Нынче повязка плотно прикрывала огненные глаза Герцена. Он не видел ни любовной спирали, закружившей Натали, ни даже того, что было явственней всего,— ревнивых мучений Эммы. Он усвоил теорию Натали о «большом ребенке» и уговаривал Гервега не капризничать, не хныкать, не обижать Эмму и т. п. И когда он писал Гервегу: «Жизнь сама бросает под ноги камешки, споткнувшись о них замечаешь, и т. д. и т. д.— ты любишь в таких случаях прикрыть глаза, а я нет — вот и вся разница»,— он не замечал, что под его ногами не камешки, а вырастает пропасть, которую вырыли близкие люди...

Гервег побаивался Герцена. А вдруг Герцен прозреет? Это и удерживало его от приезда в Ниццу. Натали в письмах успокаивала его, старалась рассеять его опасения. Но тут же предупреждает об Эмме, которая, как пишет Натали, «уже не скрывает более передо мной своего отвращения, ужаса, перед совместной жизнью в одном доме...».

А ведь Эмма — Натали этого не знала — давно уже стала ревновать к ней Георга. Еще со времени того пикника в Бельвю под Парижем, когда праздновали именины Натали и Таты ранней осенью сорок восьмого года. Никто ничего не замечал, но Эмма хорошо знала своего Георга, понимала значение обращенных к Натали томных взглядов его красивых глаз и того особого медового оттенка голоса, который так действовал на женщин. Возможно, конечно, что у Гервега не было специально направленных планов и он пускал в ход свои чары машинально, просто, чтобы не растренироваться.

Во всяком случае, Натали в приведенном только что письме подчеркнула слова «передо мной», то есть, стало быть, не перед Герценом. Причина житейская: Эмме невыгодно, чтобы Герцен узнал об истинных отношениях Натали и Георга,— он лишит Гервегов материальной поддержки,— а жили-то они на его счет. Ревность и расчетливость боролись в Эмме. В семье Гервегов она, а не ее содержанец Георг была мужчиной, опорой, добытчицей. Это необычайно развило в ней практицизм. Все в ней было обращено на извлечение пользы. Когда кто-нибудь из домашних проходил мимо нее, она спрашивала, куда он идет, и немедленно нагружала его поручением. Счета из магазинов за забранные ею товары она, не стесняясь, отсылала Герцену.

Разумеется, потому это письмо Натали — тайное. К этому времени возникает два потока ее писем. Одновременно в явном письме к Гервегу Натали пишет тоном доброй знакомой:

«...Нового с тех пор прибавилось только мороженое по вечерам и два живописца за обедом. Все большие прогулки мы откладываем до вашего приезда».

Но даже этот полуприятельский, полусветский тон он считал неосторожным, могущим выдать его и Натали.

Натали приходится успокаивать его:

«Он (то есть Герцен.— *Л. С.*) не в состоянии понять нас — нельзя от него этого и требовать... И совсем непростительно тебе, ангел мой, видеть в его письмах и в моих открытых письмах — намеки...»

Но страхи не оставляли Гервега. В нем вызывал опасение предстоящий приезд в Ниццу «старух»— лишние глаза! «Старухами» Натали называла с развязностью, тоже раньше ей несвойственной и появившейся только в угаре «нежного внимания» к Гервегу, мать Герцена Луизу Гааг и их приятельницу двадцатисемилетнюю Марию Каспаровну Эрн.

В конце концов Гервег заражает страхами Натали. Чем ближе день его приезда в Ниццу, тем сильнее ею овладевает опасение, что Гервег выдаст себя взволнованностью, может быть, излишней нежностью взглядов или как-нибудь еще иначе. Она спешит предостеречь его в одном из тайных писем:

«Будь осторожен ради меня. Не бойся, что ты покажешься мне холодным... Не бойся, я знаю, я понимаю все, что ты испытываешь; твоя суровость явится для меня наибольшим доказательством твоей любви».

Постепенно этот страх разоблачения принимает у Натали характер одержимости, к которой, нет сомнения, она всегда была склонна. Временами Натали испытывает припадок стыда перед Герценом, все еще ничего не подозревающим. В таком состоянии она пишет Гервегу: «Ты подозреваешь Александра там, где его искренность, его доверие, откровенность причиняют мне боль...»

И в другом письме:

«...Один лишь намек на то, что было сделано, сказано и написано, лишит меня Александра, тебя же лишит нас обоих — я не хочу жить и минуты после того».

Мотив этот — страх разоблачения — повторяется, становится постоянным в письмах Натали к Гервегу:

«Счастье Александра и, стало быть, столько же и мое я отдаю в твои руки,— его, детей, все...»

Примерно в это же время Герцен пишет в одном письме об особой «любознательности, об этом страстном интересе, который человек испытывает ко всему трагическому, грозному, бурному...».

И когда читаешь в письме Натали к Гервегу о том, что «покинуть его (Герцена.— *Л. С.*) — значит убить; желаешь ли ты этого? Превратить его тело в ступеньку, чтобы быть ближе к тебе... Наступи же ты лучше на мой труп...»,— когда читаешь это, то задаешь себе вопрос, как могла эта тонкая, нежная, идеально чуткая, по общему (если только

оно не преувеличено) мнению, женщина написать эти страшные слова о «ступеньке»? Быть может, здесь имела место та «любознательность», которую человек проявляет «ко всему трагическому, грозному, бурному»?

Конечно, Натали хотела сохранить обоих: и Герцена, и Гервега. Ее не хватило на это. Она нашла выход в смерти.

Взрыв ее страха перед возможным прозрением Герцена был вызван, конечно, письмом Гервега к Герцену, где он называл их брак «смешным супружеством» («ménage ridicule» — переписка между Герценами и Гервегом шла по-французски).

Неудивительно, что воображению Гервега этот брак казался смешным, старомодным, обывательским. Гармония сердец, слияние, общность духовных интересов между супругами — все это представлялось ему «мещанским счастьем».

Письмо Гервега о браке вызвало довольно резкую отповедь Герцена, хотя и не разорвало их дружбы:

«...Где тот критерий, с помощью которого ты определяешь предел доверия между нами обоими, между мною и Натали? Между двумя людьми, которые вместе вступили в жизнь и, полные любви и сочувствия друг к другу, прошли через все превратности, прожив пятнадцать лет в гармонии и взаимном доверии... Любил ли ты когда-нибудь женщину настоящей любовью? Я начинаю сомневаться в этом...»

Стремясь развлечь Натали, Герцен увез ее на несколько дней в Италию. Там он водил ее по достопримечательным местам, музеям, Ватикану, среди античных колонн римского форума. Показал ей Аппиеву дорогу, на плитах которой навечно запечатлелись бережно сохраняемые выбоины от древних колесниц.

В музее Боргезе он подвел ее (не без тайной мысли, быть может!) к картине Тициана «Любовь небесная и земная». Слева у колодца в спокойной, полной достоинства

позе восседает молодая почтенная матрона в пышном одеянии,— воплощение скромности, безупречной чистоты помыслов на ясном челе, гордая постановка головы в сознании своих высоких нравственных качеств.

Справа — нагая женщина, само сладострастие — в скрещении обнаженных ног, в соблазнительном изгибе бедра, в зовущем мановении полной голой руки, в победительной усмешке, с какой она смотрит на свою высоконравственную соседку. Яркость, почти выпуклость красок придает особенную силу могучей кисти Тициана.

Натали скользнула по картине безучастным взглядом.

— Не нравится?

Натали пожала плечами:

— Картина неприятна.

— Чем? — беспокойно удивился Герцен.

— Своим противопоставлением... Слишком навязчиво... Почти карикатурно. В жизни все сложнее...

В Ницце Герцены сняли комфортабельный особняк с садом, очень просторный в расчете не только на себя, но и на семью Гервегов.

Редкий день у Герценов не бывало гостей. В Сардинском королевстве, которому принадлежала Ницца, политических эмигрантов не преследовали. Здесь их собралось великое множество — всех национальностей. Многие стали частыми посетителями дома Герценов. Пожалуй, больше других отличал Герцен графа Феличе Орсини, которого Маркс впоследствии прозвал «бессмертным мучеником». Герцен полюбил его за чистоту воззрений, за революционную волю, которую Орсини выражал с неукротимой силой и дикой энергией, не расставаясь при этом с тихой своей улыбкой и кротким голосом. Герцен приравнивал Орсини к Колумбу, к Наполеону I. Орсини был римлянин, и какая-то античная строгость была в изящных его чертах. Ко всему,

его и Герцена объединял этот роковой месяц март. Свой смелый, прошумевший на всю Европу побег из австрийской тюрьмы в Мантуе из камеры смертников Феличе Орсини совершил 29 марта. Казнь его за покушение на Наполеона III состоялась двумя годами позже — 13 марта.

Сблизился Герцен с франко-польским литератором Хоецким, писавшим под псевдонимом Шарль-Эдмон. С химиком Тесье, которого Герцен пригласил преподавателем к своему сыну, хотя посмеивался над пристрастием Тесье к спиритизму. Нередко в доме Герценов можно было встретить маленького, почти карлика юриста Матье, бывшего революционного прокурора скончавшейся французской республики, похожего, по словам Герцена, «на авгура и на его птицу».

Из русских почтил своим присутствием дом Герценов в Ницце московский знакомец Разнорядов. Перед тем как зайти к Герцену, он забежал в кондитерскую, выбрал объемистую коробку и приказал наполнить ее шоколадом. Он прослышал, что Герцен — сластена. На беду его у Герцена хорошая память, и он вспомнил характеристику, данную Разнорядову еще Белинским:

«Этот персонаж подлаживается к нам путем мелкой услужливости. Всем своим существом он старается показать, что готов и на крупную услугу, да случая не представляется, а представится, он и жизни своей не пожалеет для тебя. Все это сильно попахивает его прикосновенностью к охранительным службам, сиречь к ведомству генерала Дубельта. Гони его, братец! Такие не из обидчивых: получил взашей, встряхнулся и пошел стучаться в другую дверь, авось, там посчастливится...»

Оный совет Белинского был Герценом выполнен неукоснительно.

Крепко подружился Герцен на первых порах и, можно сказать, отдал часть своей щедрой души другому русскому, Владимиру Энгельсону. Знакомство началось неожиданно:

Энгельсон с маху поцеловал руку несколько оторопевшему Герцену, залился слезами и поклялся в вечной преданности. Экзальтация была в его натуре. При несомненных способностях и чистоте революционных помыслов этот бежавший из России петрашевец был раздражителен, взбалмошен, болезненно ревнив в дружбе. Вино, к которому он пристрастился, подстрекало его на странные выходки. Герцен впоследствии раздружился с ним, потом пытался снова сблизиться, но после неблаговидных поступков Энгельсона окончательно порвал с ним. Орсини считал Энгельсона ненормальным.

Случались — и нередко — среди посетителей Герцена и такие, которые навещали его просто из любопытства или из своеобразного снобизма, чтобы иметь возможность, вернувшись в Россию, прихвастнуть: «А я был у самого Искандера», щегольнув, кстати, знанием его знаменитого псевдонима.

Как ни силился Герцен, он не мог вспомнить имени одного русского с одутловатым лицом и крупным носом. Этот орлиный героический нос на незначительном отечном лице производил впечатление знатного иностранца, случайно затесавшегося в провинциальное захолустье. Герцену мерещилось, что он где-то мельком встречался с ним в стародавние московские времена, но смог припомнить только его прозвище Аяин, данное ему некогда за манеру начинать почти все свои реплики словами: «А я...», что было признаком его большого интереса к собственной личности. Привычку эту он, оказывается, не оставил и сейчас. Оглядывая обстановку в доме Герцена, он объявил:

— А у меня старинный фарфор и фамильное серебро. Пришлось сделать на двери особо крепкие запоры.

Не прочь он был также прихвастнуть, что жена его знает испанский язык. Все это Аяин проговаривал важным голосом с барственными растяжками, но как бы между прочим.

Герцен сказал ему вполне серьезно:

— Вполне понимаю ваши опасения: воры могут украсть ваш фарфор и ваше серебро, а заодно прихватят испанский язык вашей жены.

Все эти люди и многие другие со всеми их страстями и причудами откладывались в кладовой творческой памяти Герцена. Конечно, это были объемные портреты, но каждого из них он помечал, как кодовым знаком, какой-нибудь преимущественной чертой, доминантой, хрией: Орсини — благородством, Матье — комичностью, Энгельсона — истеричностью, Аяина — низменным практицизмом.

Где бы Герцены ни жили, чаще всего они виделись с Гервегами.

Кстати, откуда он взялся, Георгий Гервег, сыгравший столь роковую роль в судьбе Герценов?

Придется нам заняться им на некоторое время.

Русские эмигранты на первых порах относились к иностранным революционерам с большим пиететом. Сказывалась гостеприимная распахнутость русской души. Здесь было что-то и от русского барства, от хлебосольства. Какой-нибудь лжедемократ из Пруссии вызывал чуть ли не преклонение у наших радушных изгнанников, даже таких крупных, как Бакунин и Огарев. Кстати, они оба способствовали сближению Гервега с семьей Герцена. А ведь еще за два года до того один берлинский знакомый предупреждал Огарева:

— В Гервеге есть что-то несвободное, что-то риторическое, совсем так же, как в его поэзии...

Но ведь Огарев (по слову Герцена, который и сам склонен был порой ошибаться в людях) «никогда не умел судить о людях».

А на квартире не то у Бакунина, не то у Сазонова произошло это злосчастное знакомство.

В ту пору Гервегу было тридцать лет. Отец его, ресторатор в Штутгарте, мечтал о духовной карьере для сына и

отдал его в семинарию в Тюбингене. Это были своего рода лютеранские иезуиты. Не они ли развили в Гервеге мягкую вкрадчивость и елейную сладкоречивость, от которых он никогда не мог избавиться. Впрочем, в священники он не пошел: слишком он был избалован, как выразился Герцен, «самой пламенной жаждой мелких наслаждений».

По окончании семинарии он бежал из родного Вюртемберга в Швейцарию. Сам он придавал этому побегу политический характер. В действительности он бежал от военной службы и долго не мог оправдаться от обвинения в дезертирстве.

Гервег в Цюрихе оказался в оппозиции к правительству и писал стихи, в которых подражал Беранже. Вот, к примеру, два куплета из его «Колыбельной песни»:

Спи, Германия родная,
Безмятежно, как в раю,
Ни о чем не поминая.
Баю-баюшки-баю.
От восторга просто тая,
Над тобою я пою:
Спи, Германия родная.
Баю-баюшки-баю...[1]

Нашелся издатель, который выпустил стихи Гервега под несколько вызывающим заглавием «Песни живого». В Германии тогда бурлили политические страсти. Дорого яичко к христову дню — гражданские мотивы книжки пришлись к моменту.

Стихи Гервега имели успех. И такие приподнятые строчки, как:

Над землей кресты видать —
Все должны мечами стать! —

становились революционными лозунгами. За два года вышло шесть изданий.

---

[1] Перевод П. Вейнберга.

Когда вышел второй том «Песен живого», он не имел того успеха. Но Гервег продолжал публиковать политические стихи в «Немецко-французском ежегоднике» Карла Маркса.

Много лет спустя Гервег написал «Песню пчел». По рекомендации Лассаля она стала гимном рабочего союза — на время, пока не раскрылось, что это, в сущности, подражание «Песне британцев» Шелли.

Но вернемся к периоду славы Гервега. На крыльях успеха «Песен живого» Гервег вернулся в Германию. Модного поэта пожелал видеть сам Фридрих-Вильгельм IV, туповатый и взбалмошный король Пруссии, имевший слабость воображать себя знатоком и покровителем искусств. Во время аудиенции Гервег поцеловал у короля руку. И — стремглав покатился вниз в мнении общественности. Его уличили в низкопоклонстве. Появились в печати шаржи. Наиболее распространенный состоял из двух частей: слева Гервег в ожидании приема стоит в гордой, независимой позе, скрестив руки на груди; справа он же перед королем, угодливо изогнув свой вертлявый стан.

Гейне, и ранее относившийся иронически к Гервегу и окрестивший его «железным жаворонком», еще раз прошелся по нему в стихотворениях «Экс-живой» и «Аудиенция».

Гервег сообразил, что ему надо как-то обелить себя. И он направляет королю протест против запрета распространения в Германии журнальчика, который он редактировал, под громоздким названием «Немецкий вестник из Швейцарии», щедро заполненный его стихами.

Реакция последовала немедленно: правительство издало распоряжение, столь обычное для монархических государств, когда оно хочет избавиться от нежелательного гражданина, об изгнании Гервега из Пруссии.

Франц Меринг так охарактеризовал падение Гервега в немилость после его флирта с королем: Гервег «никогда не

мог забыть своего низвержения с такой высоты... Мучительная смесь фатального равнодушия и придушенной злобы проникла с тех пор во все его поступки и в немалой степени также и в произведения...»

Одна выгода для Гервега: эта высылка несколько реабилитировала его в глазах революционной эмиграции.

Следовало, однако, позаботиться и о поправке пошатнувшегося материального благополучия. Но тут Гервег долго не раздумывал и выгодно женился на Эмме Зигмунт, дочери придворного поставщика шелка. Обожавший свою дочь старик Зигмунт положил выдавать молодым ежегодный пенсион в двадцать тысяч марок. Правда, пристрастившемуся к роскоши Гервегу этого не хватало. Но на что, позвольте спросить, богатые друзья? Ими, сколь странным это ни представляется, чудовищным даже, стали Герцены.

Некоторое время Гервег порхал по эмигрантским кругам в Швейцарии. Завернул как-то на собрание «Союза справедливых». Он был бесконечно далек от крайних взглядов этих изгнанников, склонявшихся к коммунизму. Но он любил покрасоваться в их среде, щегольнуть своим свободомыслием, потешить свое тщеславие комплиментами «Справедливых», которых он в одном письме аттестовал так:

«Глупые немецкие коммунисты меня скомпрометировали, так как я иногда выражал мое согласие с демократическо-социальными реформами...»

Вскоре он поселился в Париже. Здесь он стал завсегдатаем немецкого эмигрантского клуба в кафе «Милуз». В этом гнезде эмигрантов была своя иерархия. Гервег вошел в руководство клуба, потеснив Борнштедта. Он завел связи и в международной эмигрантской среде, сошелся, между прочим, с Сазоновым — и не только на почве политических интересов, но и в смысле посещения всяких парижских увеселений, которых этот русский изгнанник был отменный знаток.

В то же время он зачастил к Герцену. Он считал удачным тот день, когда ему удавалось уговорить Герцена заглянуть в ресторан «Провансальские братья», один из самых дорогих в Париже. Ради удовлетворения своих гурманских привычек он терпел колкие замечания Герцена о своей бездеятельности и капризных замашках. Но хотя Гервега и передергивало от насмешливого фейерверка Герцена, он не в силах был оторваться от него не только из соображений выгоды: по-своему он любил Герцена, насколько этот холодный эгоистичный человек способен был любить кого-нибудь, кроме самого себя. А в Герцене был огромный кладезь нежности. И частицу его он в ту пору изливал на Гервега.

Что ж, значит, Герцен настолько плохо разбирался в людях?

В этом случае — с сильным опозданием.

## *Мартовские иды Герцена*

> ...Гадатель предсказал Цезарю, что в тот день месяца марта, который римляне называют идами, ему следует остерегаться большой опасности. Когда наступил этот день, Цезарь, отправляясь в сенат, поздоровался с предсказателем и шутя сказал ему: «А ведь мартовские иды наступили!», на что тот спокойно ответил: «Да, наступили, но не прошли!»
>
> *ПЛУТАРХ*

Месяц март Герцен почитал особенным в своей жизни. Может быть, это был единственный вид суеверия, свойственный ему. Он и посмеивался над ним, однако с наступлением марта всякий раз в него прокрадывалось какое-то томительное ожидание. Не то, чтобы он ждал беды или,

напротив, благ. Но всегда чего-то сверхбудничного, такого, что не останется в жизни безрезультатным. И этот трепет подспудно держался в нем весь этот сырой весенний месяц, пока не приходил первоапрельский «день дураков». Его Герцен приветствовал каскадом шуток и веселых мистификаций, в которые он сбрасывал странное мартовское наваждение.

Он записал в дневнике в мартовские дни 1839 года:

«Не в самом ли деле в году есть дни, месяцы, особенно важные, климатерические, как говорили занимающиеся тайными науками? В таком случае март отмечен ясно в моей жизни.

25 марта 1812 года я родился.

31 марта 1835 года прочли повеление о ссылке.

3 марта 1838 года первое свидание с Натали...»

В 1840 году мартовские иды улыбнулись Герцену: 13 марта с него снят полицейский надзор. В марте 1847 года Анненков пишет из Парижа Белинскому:

«Герцен сейчас приехал и уже наполнил Париж грохотом желудочного своего смеха».

1 марта сорок девятого года Герцен написал в этюде «С того берега», обращаясь к московским друзьям, свое знаменитое «Прощайте!», объявив, что решил остаться за рубежом, где он — «бесцензурная речь ваша, ваш свободный орган...».

А двумя годами раньше, мартовским вечером там же в Париже, зайдя к Сазонову (кстати, только накануне выкупленному им из долговой тюрьмы в Клиши), Герцен знакомится с красивым молодым человеком, поклонившимся ему с важной любезностью. Это был Георг Гервег. Таким образом, тот март сорок седьмого года по справедливости может считаться одним из самых несчастливых в жизни Герцена.

Гервег в Париже принимал участие в организации «Немецкого демократического легиона».

Цель легиона — поддержать предполагаемый революционный переворот в Германии. А для этого — вторгнуться в сопредельный с Францией Баден, разбить или привлечь на свою сторону королевские войска и, как апофеоз, провозгласить германскую республику.

В легион уже набралось примерно свыше семисот человек. Гервег был в группе командования кем-то вроде политического комиссара. Легионеры собирались в кафе «Милуз», здесь их снаряжали и отправляли в Страсбург, там была база. Большинство легионеров были немецкие ремесленники, учителя, молодые подмастерья, бежавшие в эмиграцию из-за своих левых взглядов.

Чаемую германскую революцию субсидировало французское республиканское правительство. По распоряжению министра иностранных дел поэта Ламартина (которого, кстати сказать, Гервег переводил) легиону были отпущены средства из расчета пятьдесят сантимов в сутки на человека во время похода до границы и на питание по дороге. А после границы, на родной германской земле, предполагалось, легион сам себя прокормит. Французское правительство ничего не имело против отъезда немцев, так как они отбивали работу у французских рабочих, и выделило легиону кругленькую сумму в тридцать тысяч франков. Командование — бывшие прусские офицеры Борнштедт, Отто Корвин-Вирзбицкий не хотели иметь дело с деньгами и просили распоряжаться ими Гервега. Он согласился.

Уже в самой идее создания этого легиона было что-то несерьезное, порой даже с чисто опереточными моментами. Маркс был резко против этого легкомысленного предприятия и предостерегал его инициаторов в свойственных ему гневно-иронических выражениях:

«Борнштедт и Гервег ведут себя, как прохвосты».

«Мы,— писал Энгельс,— самым решительным образом выступили против этой игры в революцию... насильствен-

но навязать ей (Германии.— *Л. С.*) революцию извне, означало подрывать дело революции в самой Германии...»

Гервег меж тем и его жена готовились к походу легиона, не совсем четко представляя себе серьезность этой операции. Гервег следовал в рядах легионеров, но в приобретенном им щегольском экипаже. По свидетельству Анненкова, в экипаж погрузили ящики. С патронами? С ручными гранатами? Как бы не так! С вином! С паштетами из индейки, фаршированной трюфелями! Вот как элегантно мы снаряжаемся в революционные битвы!

Эмма Гервег, сопровождавшая мужа, поехала в специально сшитой на этот случай амазонке из трех национальных цветов — черного, красного и золотого. Тех же цветов была кокарда на ее берете. Сам Гервег повесил на свой франтоватый сюртук саблю.

Легион, плохо вооруженный и неумело организованный, был разгромлен в первом же столкновении у Шопфгейма с регулярными королевскими войсками. Немногие полегли на поле боя, кое-кто утонул в Рейне, остальные бросили оружие и подняли руки. Лишь некоторым удалось спастись, бежав в Швейцарию.

Поведение Гервега в битве под Шопфгеймом обесславило его на всю Европу. Даже его комплиментарный биограф Флери нехотя замечает:

«Нет ничего более потрясающего, чем контраст между славой Гервега перед 1843 годом и его непопулярностью, начиная с этой эпохи и особенно после 1848 года».

Гейне отозвался на батальные похождения Гервега язвительным стихотворением «Симплициссимус Первый» (то есть «Простак Первый» — пародия на титул генералиссимуса). Называя его «божком мещан, крикуном базарным, фигляром презренным в роли геройской», Гейне писал:

...Молва идет, что тщетно жена
Боролась тогда с малодушьем супруга —
Когда при выстрелах ружейных
Кишечник нежный ослаб от испуга.
...Защелкали пули — бледнеет герой,
Лепечет слова без конца и начала —
Он бредит, а супруга рядом
Платок свой к длинному носу прижала...

Ко всему этому прибавились упорные слухи, обвиняющие Гервега в слишком вольном обращении с кассой легиона, которую он взялся сохранить. Герцен был уверен, что эти общественные деньги, как вспоминает он в «Былом и думах», «беспорядочно бросались, и долею на ненужные прихоти воинственной четы».

Через Швейцарию, больше всего стараясь, чтобы их не узнали, Гервег с женой добрались до Парижа.

К кому в горести своей кинулся этот раздавленный человек?

Уж конечно не к немецким эмигрантам, понимая, какой уничтожающий прием он там встретит. Не посмел он толкнуться и к Сазонову, не без основания опасаясь, что этот его товарищ — более по кутежам, чем по убеждениям — брезгливо отвернется от него: ведь неудачников не любят.

Не пошел он и к Бакунину, называвшему себя другом Гервега и даже бывшему шафером на его свадьбе, потому что не сомневался, что Бакунин со свойственной ему политической непримиримостью и взрывчатым темпераментом жестоко осудит его.

Он толкнулся к Герцену. Почему? На первый взгляд это кажется удивительным. Не друг, не приятель, просто знакомый, один из многих в пестрой эмигрантской колонии Парижа. Было между ними к тому времени не более чем несколько встреч, незначительных разговоров.

Но Гервег своим инстинктом загнанного зверька учуял в Герцене его широкое сердце, настежь распахнутое для всех обездоленных, его добрую снисходительность к павшим, его доверчивость и — что имело для Гервега немалую притягательность — его богатство и всем известную щедрость.

Он не прогадал. Это был верный ход. Герцен пожалел его. Обогретый этой жалостью, Гервег расстался со своей позой надменного одиночества и прилепился к Герцену с такой силой, что того это даже тронуло.

«Оставленный всеми, он держался за полу моего платья, как дети держатся за мать...— писал о нем Герцен,— он ютился ко мне по-женски. Я видел, что он очень несчастен, я верил, что он из неосторожности навлек на себя нареканье...»

Как же все-таки случилось, что Герцен, предсказавший грозное явление Бисмарка, как же он, еще за три года предвидевший франко-прусскую войну, не разгадал сразу в Гервеге то, что увидел в нем значительно позже,— его, как Герцен выразился впоследствии, «лимфатическую», «боязливую», «мелочно-осмотрительную» натуру? Может быть, это случилось оттого, что гений Герцена был дальнозорок. То, что происходило под боком, он различал неотчетливо, а отдаленное будущее прозревал как пророк.

Гервег прильнул к Герцену с цепкостью, с какой вьющееся растение обвивает мощный кряж и приживляется на нем.

Но даже когда Герцен стал распознавать истинную цену Гервегу, он не отдалился от него. К этому времени они уже стали друзьями. А Герцен был снисходителен к друзьям. Он долго щадил Кетчера, он многое прощал Бакунину. Его дружба с Гервегом была род покровительства старшего младшему, сильного слабому. Он как-то писал Гервегу:

«Я не очень легко схожусь с людьми, но, однажды сблизившись с человеком, я считаю это за совершившийся факт: играть, как Гретхен, в «любит не любит» можно только в начале, у вас же это все еще продолжается».

Ответ на вопрос, чем Гервег пленил Герцена, не может быть однозначным. Талантом? Не так уж он был велик. Биографией? Она неинтересна. Преданностью? Но капризные вспышки Гервега, его частые упреки и придирки к Герцену были скорее похожи не на преданность, а на зависть. Услуги по изданию? Не так уж они были значительны.

Но надо сказать при этом, что Герцен был очень общителен и вопреки тому, что он писал о себе в приведенном только что письме, не очень был строг и разборчив на знакомства, даже на быструю дружбу. У Гервега была репутация революционера, несмотря на слухи о его трусливом поведении в баденской экспедиции. О флирте Гервега с прусским королем Герцен просто не знал. Сыграли свою роль и рекомендательные письма к Герцену, данные Бакуниным и Огаревым, которые тоже знали Гервега поверхностно.

Наконец, немалая доля в дружбе Герцена и Гервега принадлежит добродушию Герцена. Притом Гервег пустил в ход все чары своего обаяния. Он льстил Герцену. А по утверждению Татьяны Пассек, «корчевской кузины» Герцена, он «был податлив на лесть». Гервег выполнял мелкие поручения Герцена. Он, можно сказать, вымогал эту дружбу.

Все же Герцену понадобилось не так уж много времени, чтобы раскусить, что представляет из себя его новый друг. Не раз он упрекает Гервега и устно, и в письмах в эгоизме, тщеславии, лживости, внутренней грубости при внешней ласковости. Но упрекал, как взрослый упрекает ребенка,— из воспитательных соображений, в надежде, что испорченный «ребенок» исправится.

Поначалу Герцен даже похваливал стихи Гервега. Правда, для этого он делал над собой некоторое усилие. Он чувствовал, что чего-то очень существенного в этой поэзии нет. Позже, когда Герцен окончательно понял, как ничтожен внутренний мир Гервега, ему стало понятно: в душе Гервега царил вакуум. В ней не клубился тот первозданный хаос, из которого рождаются миры.

Всю жизнь клеймивший мещанство, Герцен не заметил, что пригрел мещанина, который вполз в его семью.

## *Экзальтация*

> Кто мог пережить, тот должен иметь силу помнить.
>
> *ГЕРЦЕН*

В Герцена влюблялись. Он был неотразимо обаятелен кипением ума, таланта, очаровательною легкостью обращения, силой характера. Его крупный выразительный рот, его проницательный, то веселый, то гневный взгляд блестящих глаз, магия его речи, искрящейся остроумием и глубокой мыслью,— все это так красиво, что не восхищаться им было невозможно. Да, в него влюблялись и, сказал бы автор, влюбляются и сейчас, когда его давно уже нет, но живы его книги, точный отпечаток его блестящей натуры.

Таня Астракова, та самая, которая, по меткому слову Герцена, питала к Натали «религиозную любовь» и ныне (впрочем, как всегда) решительно приняла ее сторону, писала в одном письме о Герцене:

«Сколько раз он оскорблял ее в жизни своею ветреностью! Сколько раз ей приходилось смотреть сквозь пальцы на его беспрестанные увлечения! Наташа... увлеклась мщением... Да, мщением!..»

Может быть, отчасти и мщение, но, по-видимому, не оно одно, а еще и некое стремление к равновесию в отношениях, к душевной компенсации, что ли, продиктовали Натали следующую запись в ее интимном дневнике:

«Теперь я не за многое поручусь в будущем, не поручусь за то, что это отношение останется цело, сколько бы ни пришлось ему выдержать толчков...»

Она разжигала в себе внезапно нахлынувшую неутолимую жажду переживаний и — всегда, в общем, жившую в ней — томительную тягу к счастью с тем, кто стал бы ее идеалом.

Но вот — «толчки»... Что она, собственно, хочет этим сказать, уединившись в спаленке и склонив гладко причесанную голову над раскрытой тетрадью. Возмещение обид? Возместить... месть... Натали подумала, что это сближение понятий, пожалуй, позабавило бы Александра. Ведь он так любит играть словами. Но ведь он же и есть обидчик. Тут не до слов...

В глазах Натали — слезы.

Но что же все-таки означает это неожиданное слово «толчки»?

Не раскрывается ли это в последующих строках, которые она неторопливо дописывает своим изящным почерком:

«...Могут быть увлечения, страсть, но наша любовь во всем останется невредима...» — строки, поражающие своим предвидением, той точностью, с какой Натали будет следовать неутоленной томительной жажде счастья.

Восторженность, экзальтация, перевозбужденность чувств бродят в Натали смолоду и ищут выхода. Иногда она обрушивала эту приподнятость на юную Наташу Тучкову:

«Встреча с тобой внесла столько прекрасного в мою душу, сделала меня настолько лучше... да, да, не смейся этому, я не в припадке делать комплименты, а если это и

припадок, то он так долго продолжается, что я признаю его за нормальное состояние...»

Даже если бы Натали не призналась в этом сама, некоторые особенности ее поведения говорят о том, что размах ее экзальтации порой выходил за рамки нормального душевного состояния и приближался почти к безумию, например, когда она писала Гервегу в мистическом экстазе:

«Пусть когда-нибудь люди падут ниц, ослепленные нашей любовью, как воскресением Иисуса Христа!»

При этом она действительно не собиралась уходить от Герцена. Можно подумать, что ей хотелось длить это мучительно-сладостное состояние потаенной любви, это скольжение на грани между Герценом и Гервегом, между здравым смыслом и безумием. «Есть упоение в бою и битвы мрачной на краю». О том, что этот край окажется и краем ее недлинной жизни, она не могла знать. А если бы и знала, разве это могло бы остановить ее в этой ураганной ее экзальтации! На шестой день после родов — двадцать шестого ноября — Натали пишет Гервегу в потаенной записке — он тут же в доме, на третьем этаже, отведенном ему щедрым Герценом: «Ты заставил меня родиться вновь, и ты стал моей вселенной, я живу в тебе...»

Несомненно, Натали была в этот период на грани безумия, когда писала ему: «Подумаем о других, постараемся избавить их от страданий...» Другие — это, конечно, Герцен и Эмма.

И все же она не хотела уйти к Гервегу. Ее тешило состояние тайны, подземной любви, эта захватывающая дух эквилибристика на острие между двумя любимыми. Ей нужен был Парис и хоть самая маленькая Троянская война. Ей хотелось не только мучиться, но и мучить, ибо она воображала, что и Гервег мучается. Вот здесь она ошибалась. Он нисколько не мучился. Он только делал вид, что хочет,

чтобы она ушла от Герцена к нему. Он отлично понимал, что она не уйдет, и это его устраивало.

Решив писать обо всем этом мучительном узле отношений, когда он уже остался позади, Герцен обмолвился: «...принимаюсь за рассказ из психической патологии». Он повторяет, повествуя о том же, этот почти медицинский термин в письме к Жюлю Мишле: «Это печальная патологическая история».

Признание некоторых искажений в душевном состоянии Натали пришло к Герцену слишком поздно. А ведь сигналы были давно. Еще в пору своей юношеской влюбленности в Натали Герцен подметил в ней эту склонность к исключительной перевозбужденности, тогда изливавшейся на него, и предостерег от нее:

— ...ты слишком поэтично поняла мой характер. Сальный луч свечи, отраженный в бриллианте,— втолковывал он ей в пору своего жениховства.

В те дни Натали писала Герцену:

«...Наш дом воздушный,— чтобы все, к чему мы касаемся, не касалось земли, простор, эфир, музыка! А бедная Emilie шьет мне приданое,— это убийственно!..»

Через много лет Натали увидит парящего над землей ангелоподобного Гервега, сотканного из «эфира и музыки». А тут рядом на земле муж, заметно потолстевший, с лицом медного отлива, обрамленным лопатообразной бородой, посасывает бургундское, обсыпая сигарным пеплом жилетку, под которой округляется прозаическое брюшко (где уж тут «эфир и музыка»!) и «не по годам, а по часам,— пишет Натали все той же преданной подруге Тане Астраковой с плохо скрытой досадой,— делается домоседом и семейным человеком, так что уж я имею маленькую надежду привезти вам почтенного старца».

Что из того, что Александр иногда сам посмеивается над своей округлившейся фигурой и впоследствии напишет в одном письме: «...несмотря на мою фальстафовскую на-

ружность, нет такого тонкого, едва уловимого чувства, которое не находит глубокого отклика в моей душе...»

В своем бегстве от стереотипа в отношениях с Гервегом Натали чувствовала неодолимую потребность в украшении и возвышении этого, в сущности, такого банального романа, в декорировании его всякими романтическими выдумками. Она изобрела тайные условные знаки, от которых попахивает мистикой. Один из них Λ — это контур горы на берегу Женевского озера близ Монтре. Этот символический знак появился после прогулки там третьего августа сорок девятого года втроем — Герцены плюс Гервег.

На скользком подъеме Гервег подхватил Натали на руки и нес ее. Запыхавшийся Герцен долго поспевал снизу. Знак стал в письмах Натали к Гервегу символом их внутренней общности.

Другой придуманный ею знак ╳ означал апогей увлечения.

Душевное неспокойствие Натали тревожило Герцена. Но он был бесконечно далек от мысли, что между ней и Гервегом идет любовная переписка. А она доходит до того, что вписывает свои признания Гервегу в его записную книжку. В этих записях, носящих порой полубезумный характер, примитивные любовные вскрики перемежаются с высокопарными восклицаниями: «Обманем смерть, да не отнимет она у нас жизни! Не оставим ей ничего, что она могла бы у нас отнять. Выпьем все — и отдадим ей кубок пустым!»

Гервег прочел, снисходительно улыбнулся и сунул записную книжку в карман. Потом вышел на улицу, взял под руку Герцена и отправился с ним на прогулку в горы. Они провели там несколько часов, и в тот же день — это было четвертого сентября сорок девятого года — Натали пишет Эмме, которую она обманывала так же, как и своего мужа:

«Они возвратились со своей экскурсии — обожженные солнцем, веселые и довольные, как дети, оба — милы до крайности».

Был в переписке Натали и Гервега и третий знак: О, быть может, самый емкий. Она старательно вычерчивала все эти мистические обозначения в письмах к Гервегу.

«Видишь ли, что все могло идти так хорошо — дружба, симпатия, гармония... и наш Λ явился бы вершиной этой общей жизни и О... был бы ее звездой, солнцем, распространяющим свет и тепло на все...»

Вернемся на время к Парижу. Он тогда бушевал. Мало кто — даже далеко за пределами его — оставался равнодушным перед лицом этого кипения политических страстей, ибо во Франции бил пульс Европы и биение его ощущалось во всех странах. Ну, а в России? Герцен хотел, чтобы дыхание бурлящего Парижа как-то отозвалось и в России.

Он знал Францию, он знал, что за видимым Парижем, за блеском Больших Бульваров, витрин, ресторанов и злачных мест площади Пигаль, за громыханием парламентских дебатов, за аршинными крикливыми заголовками газет есть Париж невидимый, Париж, как он выражался, «тайных обществ, работников, мучеников идеи и мучеников жизни», и именно этот Париж был ему внутренне близок.

По-прежнему Герцен не вовлекал Натали в бурное течение своих политических переживаний, а оставлял ее томиться на унылом берегу будничного домашнего быта. Время или привычка выветрили у него из памяти страстные слова, с которыми десять лет назад он обращался к Натали:

— ...одной литературной деятельности мало, в ней недостает плоти, реальности, практического действия...

Внимательный наблюдатель Анненков, свидетель этого периода жизни Герценов, замечает своим несколько тяжеловесным, но точным слогом, что Натали «сделались не только скучны, но и подозрительны доблести при домашнем очаге», что она «страдала отсутствием поэзии...», что «она предпочла бы поэтические беды, глубокие несчастья... тому простому безмятежному благополучию», в котором текло ее повседневное существование. По правде сказать, ей надоела ее репутация святой.

Понимал ли это Герцен? При всем своем огромном уме он не разглядел вовремя некоторых душевных исканий Натали. А ведь она писала ему: «...с самого начала нашей жизни вместе, в которые незаметно, там где-то на дне, в самой глубине души что-то, как волосок тончайший, мутило душу...» Настал момент, и это мутное поднялось.

Вот оно и получилось, что, в то время как Герцен писал московским друзьям:

«...Революция, которая теперь приготовляется (я вижу ее характер очень вблизи), ничего не имеет похожего в предыдущих... Старому миру не устоять...»

В эти самые дни Натали пребывала на другом полюсе жизни. Она писала сестрам Тучковым:

«...Как-то примелькались революции, возмущения, опошлились liberté, egalité, fraternité [1], все это пустяки... Хочу жить, жить своею жизнью, жить, насколько во мне есть жизни...»

Одна фраза из переписки Натали с Гервегом неожиданно высвечивает природу увлечения, вдруг захлестнувшего ее. И — вовсе не «вдруг», оказывается:

«...Что бы ни таило для меня будущее,— писала она,— я люблю свою любовь; ни один миг из своего мучительного существования я не обменяла бы на все земные радости...»

И в другом письме тоже как бы случайная фраза, но, в сущности, настойчиво повторяющая то же самое:

---

[1] — свобода, равенство, братство *(фр.)*.

«...Буду кричать, что люблю,— и это должно облегчить безымянную жертву, любовь моя безымянна...»

Стало быть, еще до встречи с Гервегом в ней жила огромная потребность любить. Она еще не знала кого. Герцена? Но это свое, повседневное, притупившееся, как привычка.

Она любила — нет, не Гервега. Попадись в стране ее вожделений другой, любовь была бы та же.

Ибо она любила не человека, а свою любовь.

И — тайну, ее окутывавшую.

Недаром Анненков называл это увлечение Натали «головным». Да и сама она в минуту откровенности, когда она не изображала героиню в духе романов Жорж Занд, а была сама собой, обмолвилась в одном из писем этого периода:

«Я занимаюсь тем, что изобретаю «прекрасную русскую пьесу», поскольку у нас нет таковой».

В интригу этой жизненной «пьесы» Натали вплела тайну. И эта тайна была, быть может, самым пленительным во всем этом положении, сменившим монотонный ритм ее прежней жизни. Во всяком случае, тайна тут сыграла значительную роль. В ней было что-то романтическое, что-то жоржзандовское. (В скобках заметим, что и Гервега вполне устраивали тайные отношения, поскольку он продолжал жить на счет Герцена.)

Когда тайны не стало, роман стал терять свою привлекательность в глазах Натали. Она увидела, что чувство ее было обращено на ничтожный объект. Партнер не оказался на высоте созданной ею сказки. Натали только не рассчитала своих сил. Их не хватило. Двойственное существование исчерпало их быстро.

## *Акварель*

О друг, я все земное совершила,
Я на земле любила и жила.

*ЖУКОВСКИЙ*

Гервег все еще не спешил в Ниццу.

А вдруг, думал он, Герцен все же дознался о его отношениях с Натали и фальшивыми заверениями в дружбе заманивает его в Ниццу, как в ловушку, чтобы там расправиться с ним, а?

А потом, положа руку на сердце, не так уж страстно он, Гервег, увлечен Натали, беременной, увядшей, слишком восторженной. Влюбленной в него? Да, но... Но как-то экстатически, литературно. Его, откровенно говоря, порядком утомляет ее выспренность, все эти романтические жоржзандизмы.

Зачем же спешить в Ниццу, тем более что он отнюдь не скучает и здесь, в Цюрихе. В перерыве между развлечениями он сочиняет мелодраматические послания к Натали. Адресует он их... Эмме. Да, это так! Эмма передавала Натали нежные письма своего мужа, кусая губы от злости, но не смея выдать его, ибо тогда — финансовый крах! Герцен немедленно порвал бы с Гервегами и выставил бы их из своего дома.

В письмах этих Гервег уверяет Натали, что не приезжает в Ниццу из-за того, что ревнует ее... к мужу. В письмах его это каким-то диковинным образом перемешивается с денежными интересами. В одном ответном письме Натали отметила эту черту Гервега с чувством, близким к брезгливому удивлению:

«...И потом эта мелочность — это нас ты называешь «богачами»? Мне нечего возразить на это...»

Жалобы на безденежье, хоть и перемешанные с лирическими стенаниями, повторялись в письмах Гервега к

Натали с таким постоянством, что в конце концов она послала ему из своих личных средств пятьсот франков. Гервег — письменно! — впал в благородный гнев,— дескать, за кого ты меня считаешь, я не приму этих денег, но принял, да так никогда и не вернул их.

В этих письмах Гервега, хоть старательно отлакированных в высокопарном стиле, так наглядно стала выпирать его мелкотравчатость, что Натали приходилось все крепче зажмуриваться, чтобы сохранять надземный образ своего чувства к нему. Пока ей это удавалось.

Наблюдательный Анненков не ошибся: это был головной роман — с ее стороны. С его — корыстный. Но не только: значительную роль тут сыграло чувство зависти, владевшее Гервегом. Это был своего рода Сальери. Его самомнение было непомерно. Ничто в поэзии ему не нравилось. Даже о Байроне, которому он старался подражать в жизни, и о Беранже, которому он пытался подражать в поэзии, он выражался с оскорбительным высокомерием.

В Герцене же все возбуждало его зависть. Он завидовал его бурной талантливости, его творческой плодовитости, широте его образованности, его темпераменту, его денежной независимости. А больше всего — его блеску, мгновенности его реакций, волшебству его сверкающей речи.

В конце концов томления завистника, хоть и тщательно скрываемые, не ускользнули от внимания Герцена.

«...Я с презрением увидел...— писал впоследствии Герцен Маше Рейхель о Гервеге,— что в груди его гнездилось еще одно подлое чувство, именно — зависть ко мне... Признание моих трудов и презрение к его праздности точило его... Наконец... он, уверяю вас, завидовал моим деньгам...»

Но еще ранее, в пору, казалось бы, безоблачно дружеских отношений, Герцен, возмущенный обращением Гервега с Эммой, заявлял ему:

— Как вы дошли до такого апофеоза малейшего своего желания, малейшего каприза, до такого бережного отношения к самому себе... Как вы дошли до такой озабоченности собственным покоем и до такого забвения своих окружающих?

И дальше слова, которые, как скоро оказалось, были пророческими:

— Вас будут любить, но счастливы с вами не будут; с вами будут жить, но жизнь эта будет тяжела...

Сказано это было, только когда Гервег, так сказать, вплотную приблизился к Герцену и он, Герцен, понял его истинную натуру и сказал по открытости и пылкости своего характера Гервегу в лицо, каков он есть,— в некоторой надежде (ибо Герцен бывал иногда, как многие широкие и увлекающиеся люди, непосредствен до наивности, до простодушия), что его беспощадные упреки помогут Гервегу «исправиться», выпрямиться. Насколько эти надежды Герцена были неосновательны, видно из следующего письма Гервега к жене:

«Не щади тщеславия Герцена... Оставайся из гордости, упрямства и во имя мести... Ты можешь увидеть Натали у своих ног, как только захочешь этого, Натали будет пресмыкаться перед тобою. Пусть эти собаки почувствуют твою силу».

Не о Гервеге ли сказал Герцен много лет спустя (ибо никогда не затянулась полностью рана, нанесенная Герцену его семейной драмой):

— Слабые люди самые жестокие...

В конце августа Гервег наконец приезжает в Ниццу и занимает покои на третьем этаже в доме Герценов. Начинается почти пятимесячная совместная жизнь в одном доме. Он окружен садом. Из кухни в столовую прямой ход в самом доме. Но повар, Паскуале Рокка, делал крюк через

сад, чтобы пройти мимо беседки. В этом павильоне, затененном деревьями и густо обсаженном вьющимися магнолиями, Натали давала Гервегу уроки русского языка. Она приходила туда с маленькой стопкой книг в руках. Пышные складки широкого платья скрадывали очертания фигуры: она была на шестом месяце беременности.

Сегодня день глаголов. Очень трудный день. Гервег ужасался:

— Sogar fünf Genera! [1].

Смешно коверкая слова, он говорил:

— Штрадательны... Рафратны... Пардон, фосфратны?.. Mein Gott! Was für eine wilde Sprache! [2]

Спохватываясь, переходил с немецкого, в котором Натали была не сильна, на французский:

— Pas une, langue comme ce russe! C'est un marais! [3]

В притворном ужасе закатывал свои красивые глаза к потолку, где на голубом фоне среди облачков, похожих на овечек, порхали голенькие амурчики.

Рокка, толстяк, как многие повара, и добряк, как многие толстяки, хмурился. Ему чудились доносившиеся из павильона звуки поцелуев. Он мотал массивной головой и горестно шептал:

— Male... [4]

Рокка обожал Герцена, говорил о нем: «Подобного человека невозможно найти на свете», хотя Герцен иногда добродушно подшучивал над ним и, каламбуря, называл его «наш рок».

Об этих уроках русского языка в беседке уже начали шептаться в доме. Да и душевное состояние Натали бросалось в глаза уже не только одному Герцену. Ее странное волнение, нервные вспышки, что-то мятущееся в ее

---

[1] Целых пять залогов *(нем.)*.
[2] Боже мой! Что за дикий язык *(нем.)*.
[3] Нет языка, подобного русскому! Это болото *(фр.)*.
[4] Нехорошо *(ит.)*.

манерах уже нельзя было объяснить только причудами беременной. В доме воцарилась напряженная атмосфера. Мария Рокка, жена повара, и Жаннета, горничная Эммы, старались ходить бесшумно, говорили пониженными голосами, словно где-то рядом лежал тяжело больной. Эмма хлопала дверьми и отпускала шпильки по адресу Натали. Впрочем, тут же извинялась. Словом, горючего материала было вдоволь. Первая же искра могла вызвать взрыв. Ее не пришлось долго ждать. Взрывы последовали один за другим — каскадом.

В канун Нового года Натали приготовила всем домашним праздничные подарки. Осматривая эту маленькую выставку и одобрив ее, Герцен заметил среди всяких сувениров рисунок, сделанный искусным итальянским акварелистом Гио с натуры. Это был их дом, там были изображены Тата и Саша, но самое главное — в глубине рисунка на террасе — Натали. Таким образом, это был, в сущности, портрет Натали, обрамленный пейзажем.

Сердце Герцена растопила нежность. Он легко переходил от одного чувства к другому. Ему так хотелось верить Натали, верить в ее любовь, отринуть от себя все эти тягостные подозрения последних дней. Сейчас, когда он растроганно смотрел на этот чудесный подарок, ему мнилось, что он сам навоображал в каком-то ревнивом кошмаре что-то недостойное ни Натали, ни его самого, ни того неудачливого малого с третьего этажа, тоже в общем заслуживающего снисхождения.

Натали смутилась и сказала, протянув ему акварель:

— Возьми ее себе...

Герцен сразу понял все: картина предназначалась Гервегу.

Вспоминая потом этот момент, это внезапное головокружительное падение в житейскую грязь, Герцен пишет, что он пробормотал в ответ,— нет, не пробормотал, а сказал, странно чеканя слова, слыша свой голос как чужой:

— Если Гервег позволит, я велю сделать для себя копию.

Можно представить себе, каково было вечером встречать Новый год.

## *Новый год*

Пришла беда — отворяй ворота.

*Пословица*

Новый год встречали на квартире у матери Герцена, Луизы Ивановны Гааг, «die Liebe» [1], как ее звали в своей среде за очаровательную кротость характера.

— Гость пошел косяком,— заявил со смехом Герцен, когда в дверях столкнулись Фогты с Гервегами.

Герцен дружески обнял Фогта. Он не чаял в нем души, и Фогт был предан ему безоговорочно. Никто не сказал бы, что он на целых пять лет моложе Герцена. Однако, несмотря на свою солидную профессорскую внешность, он был очень живой, подвижный человек. Врач по образованию, он презрел медицину, которую он называл неуважительно «врачебной кабалистикой», и ушел в естественные науки — физиологию, геологию, зоологию. Его работа «Океан и Средиземное море» сделала его знаменитым, едва он перешагнул за тридцать лет. В книжном шкафу Герцена стояла другая его известная работа, «Физиологические письма», с дарственной надписью Герцену.

Увидев увесистую фигуру Фогта, Гервег поморщился. Давно выдохлась легкая приязнь, которая пять лет назад связывала их во Франции, когда оба они вместе с Бакуниным и Огаревым составляли неразлучную четверку. Ныне Фогт еле здоровался с Гервегом. Он проник в истинную

[1] — любимая *(нем.)*.

сущность баденского героя и, правда, за глаза, но во всеуслышание называл его карьеристом и трусом, и Гервег об этом знал.

Резкий и горячий в своих личных отношениях, Фогт, однако, был осторожно умеренным в политической деятельности. Герцен мирился с этим ради дружбы, но со стороны Маркса политическая робость Фогта вызывала крайнее неодобрение.

Гервег, здороваясь, расцеловал руки Луизы Ивановны и сказал, что она чудо как хорошо выглядит, прямо барышня. Луиза Ивановна вздрогнула, комплимент был неудачен, типичный faux pas[1]. Ее обожгло воспоминание об излюбленной жестокой кличке, которою ее, свою невенчанную «жену», окрестил покойный Иван Алексеевич Яковлев: «Fräulein mit Sohn»[2]. А ведь в издевательской шутке старого ерника была доля правды: в Луизе Ивановне действительно сохранилось что-то девическое даже сейчас, в ее пятьдесят пять лет,— так она была моложава.

У Гервега в разговоре с Луизой Ивановной голос приобретал медовую сладость, как всегда, когда он хотел нравиться дамам. Это, между прочим, и раньше задевало Натали. Не удержавшись, в ревнивом трансе она писала Гервегу:

«Я всегда замечала в вас маленькую слабость к синим лентам г-жи Гааг... А она просто очарована вами и дает мне чувствовать довольно заметно, что только я стою помехой между вами обоими».

Но не «синие ленты г-жи Гааг» привлекали Гервега. Для него не составляло большого труда выведать у простодушной Луизы Ивановны, что от покойного Ивана Алексеевича она унаследовала треть его состояния, то есть кругленькую сумму в сто шесть тысяч рублей серебром. Запах больших денег притягивал к себе Гервега неодолимо.

[1] — ложный шаг, неловкость *(фр.)*.
[2] — барышня с сыном *(нем.)*.

Тимофея Всегдаева встретили дружным хором приветствий. Его любили в доме Герценов и взрослые и дети. Все семейство высыпало в переднюю встречать его. С минуту он стоял неподвижно, восторженно глядя на Герценов, долговязый, неуклюжий. Его длинная змеевидная шея увенчивалась маленькой доброй головкой. Он припал к руке Натали долгим поцелуем. Ни для кого не было секретом, что он влюблен в нее платонически. Она сказала о нем когда-то, что он «предобрый и пресмешной». Действительно, доброта была основным украшением Тимоши Всегдаева. Она была так велика, что порой из достоинства превращалась в недостаток. Для всех у Тимоши находились слова снисхождения. Притом — хлопотун неуемный. Но не только по своим делам — всегда рад услужить людям. Впрочем, на Герцена у него были нынче свои планы: он хотел написать о нем сочинение — то ли диссертацию, то ли просто монографию — и собирался сегодня вечером это ему открыть.

Разоблачившись, Всегдаев принялся раздавать подарки. Натали он преподнес корзинку, прикрытую бумагой. Приподняв ее, Натали увидела фиалки. Всплеснула руками:

— Фиалки в эту пору! Да вы волшебник!

Сказав это, она приподнялась на цыпочки и поцеловала Тимошу в лоб.

Затем Всегдаев извлек из кармана сюртука шелковый платок со стилизованным изображением Сардинского королевства и преподнес его Луизе Ивановне. Она расцвела от радости и немедленно повязала его вокруг шеи. Такой мягонький, ласка для кожи!

Настала очередь Герцена. Он получил коробку цюрихских сигар «Панатеолс Телескопо», своих любимых. Всегдаев купил их проездом в Швейцарии. Какое внимание!

Потом — дети: Тате — куклу, рыжеволосую венецианку с золотым обручем на голове, Коле — коробку оловянных солдатиков в белых австрийских мундирах. Затем Тимоша

Всегдаев — ну, чистый Санта Клаус! — бережно вынул из бархатного чехла мандолину с перламутровыми инкрустациями и изящно изогнутым грифом. И протянул ее Саше, десятилетний «Александр Герцен — junior» [1], как его величали, покраснел от удовольствия. Это был красивый мальчик, весь в Яковлевых. Герцену он напоминал портрет его отца, Ивана Алексеевича, работы Бараду. Акварельный портрет этот висел в московском доме на Сивцевом Вражке и изображал Сашиного деда в возрасте двадцати лет в пудреном завитом парике, в зеленом кафтане и пышном жабо, со светски учтивой улыбкой на красивом лице.

— Вот,— сказал Всегдаев немного смущенно,— настоящая итальянская.

— Да уж! — рассмеялся Герцен.— Такая уж это страна Италия, что в ней все итальянское.

Всегдаев смутился еще более.

Герцен меж тем взял мандолину и перевернул ее декой вниз.

— На что она, по-вашему, сейчас похожа? — спросил он.

Всегдаев растерянно пожал плечами.

— На птицу! — вскричал Герцен.

Всегдаев удивленно покачал головой:

— Скажите пожалуйста...

Действительно, опрокинутый выпуклый корпус мандолины был точь-в-точь как тело крупной птицы, а обращенный книзу гриф — как ее хвост.

Подошедший в эту минуту Володя Энгельсон воскликнул:

— А ведь правда! Как это вы увидели, Александр Иванович?

Энгельсон был восхищен этой непроизвольной, почти автоматической способностью — да и потребностью — Гер-

---

[1] — младший *(лат.)*.

цела в образном уподоблении всего, на что падал его взгляд.

Легко воспламеняясь, но и столь же быстро остывая, Владимир Аристович Энгельсон был сейчас в периоде влюбленности в Герцена.

Когда уселись за стол, встал Гервег. Он поднял широким торжественным жестом бокал за здоровье и в честь «своего драгоценного друга и близнеца Александра Герцена» и пожелал, чтобы «все оставалось между нами, как в минувшем году ..». Но взглянув на внезапно исказившееся яростью лицо Герцена, сразу спал с тона и пролепетал что-то о дурных предчувствиях, сославшись почему-то на Байрона, которого тут же назвал «раздутой знаменитостью».

Герцен не пригубил. Напротив, отодвинул бокал и ответил на тост Гервега презрительным молчанием.

Гости переглянулись. На мгновение воцарилось неловкое молчание. Сам же Герцен прервал его, сказав, что каждый выбирает того Байрона, который ему по плечу. Фогт захохотал, покосившись на Гервега. Тот не шевелился. Величественно окаменелое лицо его было до того застлано корректностью, что на нем ничего нельзя было разобрать.

Не то Эмма. Она деланно засмеялась, чтобы показать, что слова Герцена относятся совсем не к ним. Одета она была, как всегда, эксцентрично: нечто вроде амазонки, узко стянутой на довольно плотной талии, и сдвинутая набекрень широкополая шляпа, которую она почему-то не снимала. По обе стороны ее долгоносого лица свисали хитро завитые кудри. По-видимому, она воображала, что похожа на воздушную цирковую наездницу.

Весь вечер Герцен был необычайно и как-то нервно разговорчив. Каламбуры и остроты, особенно когда они метили в Гервега, так и сыпались с его языка. По-видимому, Герцен дал волю той черте своего темперамента, кото-

рую Прудон называл «ваш варварский задор». При этом даже ненаблюдательный Всегдаев заметил, что Герцен почти не обращается к Натали.

Представляя гостям запоздавшего Аяина, Герцен неразборчиво назвал его фамилию, и когда Фогт переспросил, воскликнул:

— «Что в имени тебе моем!» Как процитировал Пушкина один современный поэт, пряча свое иссохшее поэтическое вымя...

И сам тут же с удовольствием, якобы специально для Фогта, перевел это на немецкий. Правда, игра слов при этом пропала, но едкий смысл их сохранился.

Жена Энгельсона, Александра Христиановна — Пупенька, как все ее называли, подражая ее мужу, не удержалась от легкого смешка. И тут же прикрыла рот рукой: у нее были дурные зубы, она этого стеснялась. Да и руки у нее были нехороши, коротконалые и жесткие от домашних работ. Тик подергивал ее лицо, истомленное, но от природы красивое, так же как ее фигура, статная и до того пышная, что Коля Герцен, сидевший, как и Тата и Саша за новогодним столом, мальчик не по годам сметливый, оглядывая ее пышный бюст, удивленно воскликнул с детской непосредственностью:

— Zu viel Milch! [1] — За что ему погрозил пальцем, скрывая улыбку, сидевший рядом его гувернер Шпильман.

Да и вообще за столом царствовало смешение языков с явным преобладанием немецкого. То и дело возникали странные паузы, какие-то пустоты, в которые проваливалось это новогоднее застолье. Всегдаев тревожно озирался. Он чуял в этой вечеринке что-то фантасмагорическое. Чтобы прервать это, переключить на реальность, он деланно-оживленно начал передавать Герцену московский привет от Василия Петровича Боткина.

Герцен слабо улыбнулся:

[1] Слишком много молока *(нем.)*.

— Ну как поживает этот испанец с Маросейки?

— Процветает,— ответил засмеявшийся Всегдаев,— сейчас вплотную занялся торговыми делами своего отца. И, представьте, проявил незаурядные деловые способности.

Герцен сказал, вдруг перейдя на немецкий, да так резко и громко, что все прислушались:

— Я не люблю людей практичных в низменном значении этого слова.

Всегдаев счел это несправедливым, тем более что он был хорош с Боткиным:

— Василий Петрович по-прежнему не оставил своих литературных...

Герцен перебил его таким же повышенным голосом, впрочем, по тону словно бы и совершенно спокойно. О волнении его можно было догадаться разве только по тому, что голос его более обычного модулировал:

— Успокойтесь, я имею в виду не Боткина, а совсем другую личность...

Гервег молчал. Вид у него был угрюмый и вместе настороженный. Он догадывался, что Герцен все знает. Поняла это и Натали. Бледная, с выражением ужаса в синих прекрасных широко раскрытых глазах, она вышла из-за стола, ссылаясь на то, что пора уложить детей.

Между тем Фогт сел за фортепьяно. При первых же звуках Герцен поморщился. О нем говорили, что он холоден к серьезной музыке. Так ли это? Действительно, в доме Яковлевых музыка не была в почете и Герцен не был воспитан музыкально. Смолоду, да грешным делом и сейчас, он любил незатейливую музыку духовых оркестров, уличных музыкантов, бродивших по дворам с шарманками, незамысловатый гром военных маршей, гимнов, церковных хоров. Повзрослев, он предпочитал Россини и Мейербера Бетховену. И все же нельзя сказать, что Герцен был нечувствителен к серьезной музыке. Но — смотря к какой. Он, например, не понимал преклонения Огарева перед

Гайдном и Генделем, их музыку он называл «ученой». Но в то же время Моцарт был его богом.

— Что-нибудь из «Волшебной флейты»,— попросил он, подойдя к фортепьяно.— Эту оперу люблю без границ.

Но Моцарт был выше возможностей Фогта. Он просто бренчал что попало и даже пробовал подпевать хрипловатым, но верным голосом.

Герцен налил бокал своей любимой «Марсалы», выпил залпом и, подперев рукой щеку, остался сидеть у стола в задумчивости. Энгельсон подсел к нему.

— Вы невеселы, Александр Иванович.

Герцен отвечал глухо, как бы разговаривая не с Энгельсоном, а с самим собой:

— Я как медаль, у которой с одной стороны архангел Гавриил, а с другой Люцифер.

И помолчав:

— Сегодня как раз сторона Люцифера.

Потом поднял голову, провел рукой по лицу, как бы силясь стереть некое наваждение, и сказал:

— Так развеселите меня, Владимир Аристович. Изобразите нам... ну... не стану заказывать, кого хотите, у вас все хорошо.

Энгельсон не заставил упрашивать себя. Вот он уже священник и с наигранным благочестием раздает благословения окружающим. Удивительно, как его тщедушное вертлявое тело сразу стало объемистым, плавным. Он преображался в полицейского, в гусара, в самого царя — и притом без всякого перерыва, мгновенно,— даже в женщину, в купчиху например.

— Необыкновенно...— повторял Герцен свое любимое словечко, с восхищением глядя на Энгельсона, который, оседлав стул, изображал в этот момент Николая I на коне,— необыкновенно... Да вы могли бы, если бы занялись этим всерьез, стать актером с мировой славой. Может быть, именно в этом ваше призвание...

Александра Христиановна — Пупенька — в возмущении кусала губы. Такой удар по респектабельности, на которой она помешана. Ее муж, ученый-филолог, политический деятель, кривляется и валяет дурака на потеху посторонним, как клоун в балагане! И притом не знает удержу в этом!

Сердобольный Всегдаев, глядя на взмокшее лицо Энгельсона, сказал:

— Отдохните, Владимир Аристович, вы, верно, устали.

— Кто устал? — вскричал Герцен. — Да в нем хватит élan vital[1] на добрый десяток людей, утомленных своей гениальностью.

Он сказал это по-русски. Фогт не отказал себе в удовольствии тут же перевести на немецкий якобы для Шпильмана, сидевшего рядом с Гервегом.

Всегдаев наконец решился. Он подошел к Герцену и, набравшись храбрости, сказал:

— Позвольте мне сделать одно признание, Александр Иванович...

Слова эти Герцен услышал как бы издали. Ему надо было сделать усилие, чтобы внять им. Одна мысль, одно неистовое желание переполняли его весь этот вечер, что бы другое он ни делал и ни говорил. Он рассеянно посмотрел на Тимошу и промолвил сквозь сжатые зубы:

— Только теперь я впервые проник в глубокий смысл в словах Лютера: «В ненависти я чувствую всю мощь бытия моего».

Всегдаев опешил. Лицо его испуганно вытянулось. Герцен очнулся. Горькая усмешка тронула его лицо. Он взял Всегдаева за руку. Ведь к Тимоше благоволил Белинский. А это было для Герцена лучшей рекомендацией.

Всегдаев набрал воздуха, откашлялся. Налив вина, выпил. Наконец выпалил:

---

[1] — жизненный порыв *(фр.)*.

— Я хочу писать о вас диссертацию.

Герцен удивился, ему стало смешно.

— А может быть,— сказал он,— лучше я напишу о вас?

Всегдаев, кажется, обиделся.

— Шутить изволите, Александр Иванович. Конечно, мне невозможно обнять целиком такую огромную фигуру, как вы...

— И потому вы отсекаете от меня какой-нибудь аппетитный кусочек. Уж не окорок ли? Пощадите! Я ведь веду сидячий образ жизни.

— Изволите смеяться надо мной, Александр Иванович... А я ведь серьезно...

— Ну, давайте серьезно. Тема?

— «Язык Герцена». Я подобрал много примеров вашего замечательного пера.

— О языке? О моем слове? О моем оружии? О моем мече? Любопытно. Да... Но...

Герцен посмотрел на Тимошу ласково и с сожалением:

— Вы, видимо, не отдаете себе отчета, дорогой мой, что у такой диссертации нет никакой будущности. Она не может быть ни защищена, ни издана. Э, да вы ничего не знаете, дитя вы неразумное. По высочайшему повелению,— Герцен произнес эти слова как бы взяв их в кавычки,— его императорского величества я объявлен вечным изгнанником из пределов Российского государства... Так-то оно...

Сказал, и минутное оживление снова покинуло его. Опустился на стул. Лицо его приняло прежнее выражение тоскливой озабоченности.

Всегдаев был, видимо, растерян.

— У меня целая тетрадка,— пробормотал он,— с цитатами, выбранными из ваших сочинений. Там даже есть такая глава: «Контрасты и каламбуры».

Помолчал. Потом сказал упрямо:

— Все равно напишу. Не вечно же такое положение будет в России. Придет время...

Герцен прервал его:

— Тетрадочку эту вы мне покажите. Мне интересно посмотреть примеры из меня.

Он сказал это слабым, словно не своим голосом. При этом мучительно тер лоб.

Всегдаев встревожился:

— Александр Иванович, вам нехорошо?

— Страдаю, но терплю...— прошептал Герцен.

Потом сказал почему-то по-французски:

— I'ai mal à la tête plus convenable à un chien enragé, qu'à un littérateur — polyglote [1].

Всегдаев должен был нагнуться, чтобы расслышать, что произносят шепчущие губы Герцена:

— Ничего... Это мигрень... Это наша яковлевская наследственная... И еще вот то... Да, то...

— Помилуйте, Александр Иванович, о чем вы?

Тем временем Аяин после несколько неумеренного приема шампанского пришел в состояние умиленности. Все вокруг ему необыкновенно нравилось. Он в доме у Герценов! И какие люди вокруг! Он уже не чувствовал робости перед Герценом. Он подошел к нему, оттеснил Всегдаева и сказал:

— А я никогда не чувствовал себя так хорошо, Александр Иванович, как сейчас у вас.

Герцен поднялся со стула. Казалось, к нему вернулись силы после краткого припадка слабости.

— Вы не у меня, а у моей матери,— сказал он.

Голос его окреп. Все же,— отметил Всегдаев,— выглядел Герцен усталым и грустным. «Странный Новый год,— подумал Тимоша.— А ведь по старинному поверью, каково было в новогоднюю ночь, таково будет и весь год...»

---

[1] У меня головная боль, более приличествующая бешеной собаке, чем литератору-полиглоту *(фр.)*.

— А я считаю,— бодро выкрикнул Аяин,— что это все равно — у вас ли я или у вашей матушки. Какие вы все благородные, чистые! Посмотрите хотя бы на чету Энгельсонов. Голубки! Особенно она! Влюблена в мужа, как новобрачная! Не правда ли?

— Да, да...— не слушая, сказал Герцен.

Он потер лоб с мучительной настойчивостью, словно силился извлечь из него не дававшуюся ему мысль. Вот-вот ускользнет...

— Видите ли,— проговорил он с трудом, видимо, все-таки ухватив ее и крепко держа, чтоб не выпустить,— женщина сильнее сосредоточена на одном любовном отношении, больше загнана в любовь...

Энгельсон догадался по обращенным на него взглядам Герцена и Аяина, что речь между ними идет о нем. Он приблизился к ним. Пупенька не отставала от него.

— Как, как?— вскричал Энгельсон.— Загнана?

— Именно загнана,— твердо повторил Герцен.— Она больше сведена с ума и меньше нас доведена до него.

Энгельсон смотрел на Герцена, не отрываясь.

— Да,— продолжал Герцен,— она не добровольно предалась любви, а поневоле, от бесправия, от подчиненного положения, от недопущения ее в сферу общественных, политических интересов. И ее стесненная энергия устремилась в узкий канал любовных эмоций. Там она, наконец, чувствует себя как личность.

Энгельсон забил в ладоши.

— Превосходно: «загнана в любовь»! — кричал он.— Каково сказано! Вы слышите, как вас, Аяин? Какая поразительная образная точность! Только вы, Александр Иванович, и никто другой можете найти такую емкую и наглядную формулу для такого сложного явления. Только вы во всей Европе можете вместить в одном слове столько глубокого смысла! И вы знаете почему? Потому что вы

в одном лице соединяете замечательного художника и крупного ученого, подобно великому Гёте.

Герцен махнул рукой:

— Ох, увольте меня от этого уподобления. Может быть, Гёте, как вы утверждаете, и велик. Но я-то его не люблю за его олимпийское небожительское парение над нашей грешной землей.

Он замолчал и удивился, что в комнате так тихо. Огляделся. Да ведь многие уже ушли, комната пустеет. Адельгайда, пожилая горничная Луизы Ивановны, шмыгает вокруг стола, составляет тарелки, убирает блюда с недоеденными яствами.

— Уже поздно, господа,— пробормотал Герцен.

Пожал руки Энгельсонам, Аяину, Тимоше. Нашел еще в себе силы сказать Пупеньке:

— Отчего вы так грустны? Когда вы веселы, это вам больше к лицу...

Проводил гостей до дверей. С секунду постоял на пороге. Небо на востоке бледнело. Звезды еще не гасли. Он решил не идти домой, а ночевать здесь.

Он вернулся в комнату, затянул на окнах тяжелые гардины.

Лишь бы не думать. Его голова устала от мыслей, просто изнемогла, как изнемогает и падает бессильно натруженная рука.

Он налил вино из бутылки, оставленной на столе, может быть, для него. Выпил стакан до дна, повалился на диван и задул свечу. И полетел в черную зияющую пустоту. Без дна. И без мыслей.

## *Логический роман*

**Духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848 года был крахом *буржуазных иллюзий* в социализме.**

***ЛЕНИН***

Он проснулся среди ночи. Внезапно. Он не понимал: может быть, это длится все то же черное забытье без сновидений. Темнота обволакивала его. Он ощущал ее как тяжесть, как гранитную глыбу, как двинувшийся вниз, на темя, на грудь каменный свод темницы в Крутицких казармах. Он зажег свечу. Неверный свет побежал по стенам. Но могильный гнет все давил и давил. Он понял: нет, это не извне, гнет в нем самом.

И вдруг точно что-то ожгло его: сходство! Да, поразительное сходство его личного, внутреннего, с тем, что вовне, с общим. Его частное, семейное, заплутало. А революция разве не заплутала? Бездорожье и там и здесь...

Он вспомнил строки из письма Натали тех дней, не к нему, конечно, они были тогда рядом, а к московским друзьям, к Тане Астраковой, кажется... «Натали всегда давала мне читать свои письма»,— подумал он с внезапно нахлынувшей нежностью. (Он ведь не знал о других, о т е х ее письмах...)

Да, это были горькие строки... А ведь начиналось все так светло. И все же с самого начала в этой зазвучавшей так близко музыке свободы заскрежетали какие-то фальшивые ноты. Это было время не только открытых душ, но и трескучих фраз. Это барабанное красноречие имело своего великого мастера — Ламартина. У приподнятого красноречия его были поклонники — одни по простодушию, другие по криводушию,— даже, представьте, среди московских либералов — Боткина, Кавелина, Анненкова. Для них Гер-

цен — с его страстью к словотворчеству — изобрел словечко-неологизм «ламартыжничество».

Герцен продолжал сидеть на измятой постели. Простыня под ним сбилась. Одеяло сползло с дивана. Он не замечал этого. Он был весь в том времени. Но и в этом. Он двоился. Иногда в порыве то ли гнева, то ли запоздалого сожаления он ударял кулаком в склокоченную подушку. «Удары в подушку,— подумал он с самоиронией, которая в общем никогда не покидала его,— признак бессилия...»

Да, фразы, фразы... Как властно слово над человеком! Слово правды, но и слово лжи. Еще неизвестно, которое сильнее... «Февральская революция была революцией красивых порывов... Июньская революция была гадкой, отталкивающей революцией... потому что республика обнажила самую голову чудовища...»

(Как жаль, что Герцен не знал работ Маркса сорок восьмого — пятидесятого годов, его замечательных статей в «Новой Рейнской газете»! Они пленили бы Герцена не только точностью политического анализа, но и своей образной силой, в которой, как и в этом сатирическом пассаже, было что-то родственное стилю Герцена.)

Какие ж то были строки в письме Натали? Что-то, помнится, о пушечных выстрелах, «которые (натужив свою удивительную память, Герцен вспомнил-таки эти строки — и даже зрительно — немного вкось и вниз) продолжались — день и ночь! — четыре дня... убитых, говорят, 8000. Вот все, подробностей недостает духа описывать...»

Но у него самого достало духа. Он приписал тогда к письму Натали:

«Что мы видели, что мы слышали эти дни — мы все стали зеленые, похудели, у всех с утра какой-то жар... Преступление четырех дней совершилось возле нас — около нас.— Домы упали от ядер, площади не могли обсохнуть от крови... Теперь кончились ядры и картечи — началась мелкая охота по блузникам. Свирепость Национальной

гвардии и Собранья — превышает все, что вы когда-нибудь слыхали...»

Говорят, самовыражение облегчает. Да и сам Герцен отозвался о своем произведении «С того берега»: «Я освободился от своих горестных ощущений, когда написал его». Он и раньше вылил свою скорбь, спел отходную революции и, как он выразился, «написал проклятие — мой «Эпилог 1849»». Это было, когда, казалось, его немощь достигла апогея. Однако это только казалось. Сейчас снова его тянет к перу. Сказать! Сказать все! Но кому?

И он вспомнил заключительные строки своего апокалипсического проклятия «году торжествующей пошлости, зверства, тупоумья».

«Итак, пусть раздается наше слово!»

...А кому говорить?.. о чем?

Герцен продел ноги в шлепанцы, подошел к окну, взялся за витой пунцовый шнур, чтобы раздернуть гардины. Да передумал. Только представилось ему, что трезвый дневной свет ослепительно хлынет ему в лицо и призовет к действию, так сразу отпрянул от окна. Ведь ему надо еще кое-что обдумать. Пускай самовыражение не облегчает, все равно он будет писать хотя бы потому, что это — то есть потребность сказать людям правду — «сильнее меня».

Ибо «Эпилог 1849» — это только часть правды. И он входит в большую правду как часть ее. «Как часть того сочинения,— думал Герцен, уже возбужденно шагая по комнате, слегка шлепая слишком большими домашними туфлями,— которое можно назвать философией революции 1848 года. Это будет как бы послание людям с того берега времени». Он ведь не просто прожил июньские дни, он, как уже однажды сказано им, «прострадал» их.

И страдание это живо. Он чувствует себя обманутым, одураченным. Как если бы вдруг выдернули половицу из-

под его ног и он провалился бы в густую смрадную трясину.

И не только не умеряло, а, наоборот, удесятеряло его боль и гнев сознание, что не он один, а весь народ обманут, ограблен, поманили свободой, а в руки не дали. Ибо что такое, повторял он, обращаясь к невидимому противнику, человеку отнюдь не из числа этих буржуазных мерзавцев, а, наоборот, чистому и честному, просто заблуждающемуся — ах, сколько их — стада покорных! — может быть, этот наивный Боке или не менее простодушный Всегдаев,— ибо что такое, повторил он, раздергивая, наконец, чисто машинальным движением гардины и не обращая внимания на ливень света, хлынувший с этого южного неба, просто не замечая его в возбуждении мысли,— ибо что она такое ваша хваленая «всеобщая подача голосов, при монархическом устройстве государства... при полицейской централизации всего государства в руках министерства,— такой же оптический обман, как равенство, которое проповедовало христианство...».

Он услышал за дверью шаги, потом стук в дверь, легкий, даже робкий, почти царапанье. Насторожился.

Он не сознавался себе в том, что ждал Натали. Нет, пожалуй, нельзя это чувство назвать ожиданием. Это — страстное желание, чтобы она пришла и развеяла то дурное, что — в воображении Герцена — скопилось вокруг нее.

Потом там за дверью — удаляющиеся шаги, такие легкие, почти шорох. Он узнал хорошо с детства знакомую ему, почти неслышную, «ангельскую», как кто-то сострил, поступь матери.

«Ничего,— сказал он себе, вдруг ожесточась,— ничего, боль эта пройдет со временем, трагический и страстный характер уляжется... нас немного, и мы скоро вымрем...»

Он повторил мысленно эти слова, словно желая запомнить их. Потом, уже думая о другом, опустил их в подвалы памяти, с тем чтобы извлечь их, когда через некоторое

время он будет запечатлевать свою боль в этой тетради скорби, которую он обозначит словом «Плач», но почему-то по-итальянски: «Il pianto»,— может быть, так сердцу легче?

Да, легче этому маленькому зверьку, который трепещет, не умолкая, в своей ребристой клетке. Герцен приложил руку к груди, ощущая мягкие, слишком торопливые удары сердца. Он вспомнил предостережение Фогта: «Не прислушивайтесь к работе своего сердца, оно этого не любит».

Значит, разочарование в революции? Герцен задумчиво прошелся по комнате. Он понимал, что это главный вопрос. Разочарование? Если быть честным, да! В такой революции — да! Но нет! Тысячу раз нет! Он отвергал это слово «разочарование». Отвергал яростно. Оно казалось ему несоизмеримым с его душевной болью.

Но ведь народ побежден? Да. Было время, он «верил еще в побежденных».

Время прошло. Он изверился. Он пришел к выводу... нет, надо прямо сказать, он уткнулся в безнадежность. Он клянет себя:

— Будь я хоть немного проницательнее, я должен бы предвидеть, что «демократическая сторона, или сторона движенья, была побеждена, ПОТОМУ ЧТО ОНА БЫЛА НЕДОСТОЙНА ПОБЕДЫ».

Это была та мысль, которую он запечатлел в письме к московским друзьям, причем, чтобы подчеркнуть ее, большими прописными буквами, и так же подчеркнуто запечатлелось в его сознании то, что ему не впервые открылось, то, что его снова озарило:

— «...а недостойна победы потому, что везде делала ошибки, везде боялась быть революционной до конца...»

Он вспомнил свой недавний разговор — через всю Европу — с Грановским.

«Я стал душевно поспокойнее,— писал он ему в мину-

ту безмерной усталости.— Я многое схоронил и примирился с горем...»

И тут же, устыдившись своего упадочного тона:

«...Я во всю мою жизнь не был деятельнее, как теперь. У меня натура кошки, живучая...»

Не выдавал ли он в тот момент, когда писал это, чаемое за сущее?

Письмо о «спокойствии духа» разрослось. Но за счет чего? Оно не было сразу отправлено. Пролежало денек-другой. И на третий на обороте того же листка Герцен написал:

«И все, что я писал о спокойствии духа,— вздор, прошло два дня, и — мне дурно, отвратительно...»

Это письмо иносказательное. Оно пошло по почте и, значит, было обречено на то, чтобы быть вскрытым в России на почтамте в черном кабинете. Поэтому кое-что в письме остается понятным только для адресата. Герцен не сомневался, что Грановский, прочтя в письме: «Я пишу только по части естественных наук»,— поймет, что Герцен пишет нечто политическое, и притом глубоко современное.

И действительно, под псевдонимом «естественных наук», придуманным для полиции, Герцен обозначал одно из самых острых своих произведений «С того берега», свой «логический роман», как автор называл его, хотя произведение это более сильно своей лирикой, которую, впрочем, можно назвать логикой сердца.

В те же примерно дни случилась верная оказия в Москву. И Герцен пишет вслед первому письму второе, откровенное, без оглядки на полицию. Здесь он приветствует возможную грядущую революцию, которая сметет ненавистный ему буржуазный строй, эту тиранию мещанства. Да, приветствует, но новая нота вплетается в его политические мечтания: он не может освободиться от скорби перед неизбежностью насилия. Так глубоко вкоренилось в него отвращение к террору сорок восьмого года.

Он адресовал это письмо московским друзьям, но, положа руку на сердце, как это, кстати, только что делал Герцен, оно было направлено и к самому себе.

Так, так! Этот «разговор через Европу» продолжается и сейчас, когда он мечется в комнате с неубранной постелью, с недопитой бутылкой бургундского на столе, с сюртуком, брошенным на кресло, и с вихрем мыслей в голове. И все о том же проклятом вопросе. Ну, хорошо, прошло довольно много времени с июньского краха, и можно, казалось бы, отмести эмоции и постараться лезвием анализа препарировать недавнее прошлое и раздвинуть духовным взором завесы будущего, а главное, постигнуть, где твое место в круговерти событий. Тем более что «никогда положение,— как сказано в том же «трансъевропейском» письме,— не было так ясно и так резко обозначено...».

Сходятся ли тут концы с концами? Нет ли противоречий в бушевавшем в его душе водовороте гнева и жалости, безнадежности и упований, веры и колебаний, иллюзий и крушений?..

Еще бы!

Он и сам обмолвился о своих переживаниях, что суть их philosophie [1], юмор и desperatio [2] «с дальними светленькими надеждами...».

Ах, стало быть, и надежды?

Всякий, кто хоть сколько-нибудь знал Герцена, не мог вообразить его в состоянии абсолютного покоя, буддийской нирваны. В сущности, он и не оставался бездеятельным ни на мгновение. Отчаявшимся? Да. Оскорбленным? Да. Униженным в мечтах своих? «Мне кажется,— писал он Грановскому в том письме, что пошло оказией,— что ты принял мою хандру за апатию... нет, она не парализовала нисколько деятельности...»

[1] — философия *(фр.)*.
[2] — отчаяние *(лат.)*.

Вот даже и сейчас, прервав бесконечные хождения по комнате, он застыл в задумчивости у окна и смотрит невидящими глазами на улицу, где уже появились первые прохожие, пробежал савояр-трубочист в традиционном цилиндре и с метлой в руке, проехал фиакр с откинутым по-южному верхом. И вдруг Герцен идет быстрой походкой своей к столу и записывает вывод из своих раздумий:

«Человек без земли, без капитала, работник спасет Францию. Я страстно люблю Россию и русских — только они имеют широкую натуру, которую во всем блеске я видел в французском работнике...»

Маркс называл пролетариат «львом». Спящим львом. Герцен проходил мимо него, не замечая. Но временами он вдруг ощущал как отгул и как предвестие грозных событий мощное дыхание льва.

## *Напрямик!*

Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом.

*ЛЕРМОНТОВ*

Он вскочил с дивана. Костюм измят, борода всклокочена. Привычка к порядку, к опрятности действовала непроизвольно. Он принялся оправлять на себе одежду.

Скрипнула дверь. Он резко обернулся. Натали? Нет! Он в эту минуту и забыл, что он не дома. Вошла Луиза Ивановна с чашкой кофе в руках.

— Мы не хотели будить тебя, Шуша,— сказала она.

Она назвала его детским именем, как он сам звал себя в детстве, и сейчас это отозвалось в нем нежностью и болью.

— Натали и дети,— продолжала она,— ушли еще вчера. А ты так сладко спал.

Сладко! Господи! Какое простодушие! Впрочем, что она знает... Пусть остается в неведении.

Он не спешил домой. Надо обдумать положение. Ему не хотелось поступать сгоряча. Он знал себя. В исступлении горя и ненависти он мог наворотить такое... А потом жалеть и каяться... Но в любом случае ясно: с ней — разговор-исповедь, он должен знать, до чего у них дошло, а его — вон немедленно, он потом решит, что с ним делать. А кстати, и с собой.

Тут его пронизало странное чувство, похожее на головокружение: будто все это однажды уже было, нечто вроде déjà vue[1]. Бог мой! Да не он ли сам описал нечто подобное! Он подбежал к шкафу и снял с полки свою повесть «Кто виноват?».

Ну да, так оно и есть! Особенно дневник Любоньки, да и финал. Ведь он и писал Любоньку с Натали. Он отшвырнул книгу, она ему стала неприятна. Предвидение? Да нет, какое ж предвидение. В сущности, шаблоннейшая адюльтерная история, довольно пошлая. Когда-то он назвал Натали тигренком, который не знает своей силы... Как же он не заметил, что тигренок вырос в тигрицу...

Дверь распахнулась. Вошла Натали.

Бледная. Видно, не сомкнула глаз. Лицо исплаканное. Дорогое, бесконечно милое лицо... Ну, какая же она тигрица! Герцен почувствовал, что к сердцу его подкатывается жалость. К сердцу или к горлу — стеснением, судорожным сжатием, когда хочешь и не можешь ничего сказать...

Она сама заговорила:

— Нам надо объясниться.

Гнев опять вспыхнул в Герцене. Он заговорил. Ну, уж он дал волю своей несдержанности. Ему ли занимать слова — жалящие, палящие! Да она ничего и не скрывала. И он, чья цельность до сих пор не знала трещин, он, ска-

---

[1] — уже виденное *(фр.)*.

завший как-то о себе с полным правом: «В течение всей жизни я не допускал трусливого дуализма между убеждениями и поведением»,— он почувствовал, как по его цельности впервые в жизни зазмеилась расщелина. Где выход из этой ярости? Уехать? Куда? В Новый Свет, как иногда называют Америку? Да какой она «новый»... Те же предрассудки пересекли океан, та же несвобода... Недаром время президентства Эндрю Джексона называют «отеческим деспотизмом». Спасибо, деспотизмом сыт по горло. И вообще — как бы далеко ни забраться, от себя не уйдешь. Убить?

Да, он может убить его, он подумал об этом с наслаждением. Но ведь их двое... Может ли подняться его рука на Натали — Наташу — Любоньку — тигренка — мать Саши, Таты, Коли...

Да, она ничего не скрыла. Но ведь все равно — тайна уже накануне раскрыта. Обаяние тайны выдохлось, она более не чарует. Длить это напряженное состояние более невозможно. Огонь подобрался к самому пороху.

Впоследствии, вспоминая Натали в этот момент трагического объяснения, Герцен снова не обошелся без психиатрической подробности: «...она смотрела на меня мутным, помешанным взглядом».

Место тайны в перевозбужденном сознании Натали заняло желание войны из-за себя. Есть мучительная сладость в ощущении того, что она добыча, из-за которой дерутся, что ее ревнуют с обеих сторон. Она бессознательно героизировала себя как центр драмы. Она хотела следующего действия: взрыва!

И вдруг то самое сильное, что Герцен чувствовал к Натали, снова накатилось на него: жалость. Безмерная жалость. Он не в силах был противиться ей. И произошло нечто вроде примирения в слезах. Давнее желание, подспудно жившее в Натали, свершилось: она остается с Герценом.

Самое прискорбное во всем случившемся то, что Натали сказала Герцену не все. Да, тайны больше не было, она истлела. Но хвостик тайны все же остался и юлил еще. Натали продолжала скрытную переписку с Гервегом. Теперь она любила в нем свою былую любовь. Расставание с ней затянулось...

Гервег уединился на третьем этаже. Он сидел там безвыходно. Пищу ему приносили. Объясняться с Герценом пошла Эмма. Гервег ждал решения своей участи.

Он испытывал чувство, похожее на то, которое владело им, когда он ретировался с баденского поля сражения.

Опять, значит провал? Что за рок преследует его! Неужели он неудачник! А ведь всякий раз все начинается так хорошо. Фридрих-Вильгельм IV сначала обласкал его, потом отвернулся. Гейне сначала приветствовал его, потом вышутил. Баденский поход начинался героически, потом — драп. И вот теперь с Герценом... Ведь между ними была больше чем дружба. Братство!..

Услышав тяжелую поступь Эммы, поднимавшейся от Герценов, он рванулся к ней навстречу.

С минуту она молча смотрела на него. Потом сказала тихо:

— Он требует, чтобы мы немедленно выехали...

Так. Крах. Выгоняют. Гибельное чувство провала... Гервег ощущал, как в нем закипает раздражение. В голове — сумятица. Обрывки мыслей. Десятки проектов. Мозг лихорадочно ищет достойного выхода: чтоб и честь сохранить, и капитал соблюсти... Минутку... Не может быть, чтобы все было потеряно: ведь у него есть власть над Натали. Писала же она ему в одном из потаенных писем незадолго до этого проклятого Нового года, что она словно бы склоняется к тому, чтобы уйти к нему. Правда, все это в выражениях очень приподнятых и, признаться, не очень яс-

ных и с таким обилием многоточий и восклицательных знаков... А главное — с такими уверениями в привязанности к Герцену и безумной любви к своим детям, что все это производит впечатление истерики, может быть даже рассчитанной, и, откровенно говоря, не вызвало уверенности в ее готовности уйти от Герцена. Но кто знает... При ее экзальтированности она способна на любой жизненный зигзаг... Во всяком случае, письмецо это надо сохранить — документ! От него не отвертишься...

Эмма покорно ждала. Она смотрела на Георга с тревогой и с благоговением: его нахмуренные брови, сжатые губы, взгляд невидящий, устремленный в одну точку — все это, по ее мнению, говорило о титанической работе духа.

Наконец он сказал:

— Иди к нему и скажи, что Натали едет со мной, а ты остаешься здесь.

Она спустилась к Герцену. Он сидел, поставив руки локтями на стол и зажав голову между ладоней. Он молча выслушал Эмму. Вначале он подумал, что не понял ее. Вникнув наконец в ее слова, Герцен еще сильнее сжал ладонями свою горячечную голову и подумал:

— Боже мой, с кем я дружил!.. А впрочем, мое обращение с этим человеком было более фамильярным, чем дружеским...

Когда всевышний изгнал после грехопадения Адама и Еву из рая, они не предприняли никаких попыток обратно пролезть туда. Не пробовали проскользнуть в Эдем с черного хода, поскольку в парадном стоял на страже ангел с пылающим мечом. Не предлагал Адам господу, что может вернуться в рай в качестве дрессировщика зверюшек, не разжалобливал бога угрозами, что покончит самоубийством, не стращал его тем, что зарежет своих малых детей

Авеля и Каина и в их крови предстанет перед всевышним в знак несправедливости его изгнания из рая.

Нет, не делал всего этого Адам, а, как полагается хорошо воспитанному человеку, без скандала, тихо, по-джентльменски ретировался из Эдема.

Но все это делал Гервег.

Он беспрерывно суетился у врат потерянного рая, играл в самоубийство, предлагал себя в гувернеры к детям Герцена (что, между прочим, вызвало замечание Герцена: «Да он, оказывается, сверх всего просто дурак!»), угрожал почему-то массовой резней всех членов своей семьи. Он не очень горевал по поводу отказа Натали уйти к нему от Александра. Гервег, собственно, жаждал вернуть не столько ее, сколько его, Герцена! Потеря близости с ним — это потеря престижа в глазах всей свободомыслящей Европы. Ведь именно дружба с Герценом, главным образом, обелила Гервега в мнении революционной общественности после его неудачи в баденской экспедиции.

Мать Герцена, Луиза Ивановна, издали, не смея вмешаться, скорбными глазами наблюдала драму в семье сына. После изгнания Гервегов она написала Машеньке Рейхель: «...Александр словно из тюрьмы выпущен; он так рад, что сбросил обузу с плеч».

Добрейшая Луиза Ивановна не подозревала, что «обуза» изо всех сил цеплялась за плечи Герцена. Вся эта трагическая история перемешалась с денежными интересами, ибо некоторые действия Гервегов носят характер диковинных претензий. Через два дня после «изгнания Гервегов из рая» они прислали своего старшего сына, восьмилетнего мальчика, обратно в дом Герценов под предлогом, что на новом месте жительства «им тесно». Герцен не принял его. Тогда Эмма Гервег передала через одного эмигранта, что она имеет право оставаться в доме Герцена еще три меся-

ца, потому что за квартиру заплачено домовладельцу вперед. Это верно, за квартиру действительно было заплачено вперед. Эмма упустила только одну деталь: заплачено было Герценом.

В первые дни преобладающим чувством Герцена было удивление. «...Как я мог пасть до дружбы с ним?» Удивление это было так сильно, что поначалу заглушило душевную боль. Но потом она взяла свое: «Праздные дни — ночи без сна — тоска, тоска. Я пил что попало... Желание мести... Писать я решительно не могу...»

Так ли это? Не справедливее ли сказать, что не писать Герцен не мог? Как глубоко ни было в нем все потрясено изменой жены и предательством «друга», мыслитель и борец в нем оставались живы.

Есть натуры одержимые. Ничто другое не вмещается в их сознании, когда ими овладевает одна идея, или страсть, или даже просто склонность. В этой ограниченности их сила, порой ураганная. Не такова ли Натали? И не это ли делает ее противоположной Александру (притом, что именно эта полярность легла когда-то в основу их взаимного влечения)? Ибо в Герцене нет ничего от мономана. Напротив! Его интересы, его думы были безграничны. Его хватало на многое и разное. И каждая из граней его духовного богатства была так мощна, как если бы она была единственной.

В эти мучительные для себя дни он пишет старым московским друзьям, Грановскому, Кетчеру, Коршу, Сатину, письмо. И хоть в нем прорывается острая сердечная тоска: «...я страшно одинок... я решительно ничего не делаю...»,— тут же — и в этом все сложное противоречие личности Герцена: «...голос мой получил вес... Что я сделал бы в России с железным намордником?.. Я хочу напечатать повесть, которую вы, кажется, читали — «Долг прежде всего»,— и думаю о другой...»

В те мрачные дни выходит одно из сильнейших его сочинений: «О развитии революционных идей в России». Сухое статейное название этого этюда вовсе не соответствует его необычайной идейной щедрости и литературному блеску. Смелость замысла поразительная. Но, впрочем, это всегда у Герцена. Точка его отсчета — рост свободомыслия в России и самопожертвование лучших ее сынов.

Сильно достается старинной язве российской государственности — бюрократизму. Герцен изобличает его противоестественность, называет «не национальным».

Оригинальная черта этого произведения — вовлечение в историю России ее художественной литературы. Она, считает Герцен, протест против разлития в стране власти чиновничества, которое по размаху своего влияния превосходит даже Византию, самое бюрократическое государство в истории человечества. Русская литература — это негодующий крик против сплошного оказенивания жизни страны. В сущности, здесь Герцен открывает Западу русскую литературу с совсем новой стороны. Он пишет о Фонвизине:

«...В произведениях этого писателя впервые выявилось демоническое начало сарказма и негодования, которому суждено было с тех пор пронизать всю русскую литературу, став в ней господствующей тенденцией. Этим смехом мы порываем связь, существующую между нами и теми амфибиями, которые, не умея ни сохранить свое варварское состояние, ни усвоить цивилизацию, только одни и удерживаются на официальной поверхности русского общества».

Боль за Россию, выраженная с такой энергией, поразила западного читателя. Пусть это о литературе. Но ведь «у народа,— говорит Герцен,— лишенного общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести».

Герцен распахнул перед Западом истинное содержание русской художественной литературы, гражданское значение которой по тупости своей пропускали «амфибии», как он окрестил всесильных отечественных бюрократов.

Герцен писал быстро, почти без помарок. Если фраза удлинялась, он резал ее беспощадно. Он был верен своему стилю, о котором он однажды писал Огареву, восставая против разрыхленной его прозы: «Надобно фразы круто резать, швырять и, главное, сжимать».

Он сжимал логическое и образное в один сплав. И ни с чем не сравнимое наслаждение доставляло ему излияние своих мыслей в свободной речи независимого человека.

И только одна фраза, такая короткая, далась ему с трудом. Он писал о Пушкине:

«Как все великие поэты, он всегда на уровне своего читателя... Его муза — не бледное существо, с расстроенными нервами, закутанное в саван, это — женщина горячая, окруженная ореолом здоровья, слишком богатая истинными чувствами, чтобы искать воображаемых, достаточно несчастная, чтобы не выдумывать несчастья искусственные».

После этих строк, словно отлитых из стали, как сказал однажды о слоге Герцена восхищенный Белинский, он приписал, подходя к последним дням жизни Пушкина:

«Он уже был женат на женщине, которая позже стала причиной его гибели».

Когда он писал эти слова, страдальческая гримаса пробежала по его лицу. Какое сходство в именах: и там Натали... Но только ли в именах...

Пушкин стоял вторым (после Рылеева) в том мартирологе, который Герцен приводил на одной из страниц своего труда. Скорбный список мучеников русской литературы! Сюда можно было прибавить и Чаадаева, он еще жив, но, так сказать, заживо погребен,— правительство объявило

его сумасшедшим. Герцен упоминает о нем в этой книге в другой связи. Прослышав об этом, Чаадаев взволновался. Но где достать эту книгу в Москве?

Мишле, французский историк, в своем отзыве об этой работе Герцена характеризует ее как «героическую книгу великого русского патриота». Он стал поклонником Герцена. Разумеется, Герцена не могло не радовать восхищение его трудом знаменитого ученого, хотя со свойственной ему иронией, не щадившей подчас и самого себя, Герцен обмолвился, что Мишле «раскомплиментировал» его.

В самой семье Герцена — маленький фурор. Луиза Гааг, преисполнившись материнской гордостью, писала Машеньке Рейхель:

«Книга революционная привлекла большое внимание!..»

Да и сам Герцен, хоть и несколько иронически, но, несомненно, с большим удовлетворением пишет сыну и жене:

«Что-то этот раз я сделался очень львом, в моде...»

И еще более определенно — одной Натали:

«...Успех моей брошюры в серьезном кругу великий, вообще меня что-то здесь ласкают...»

Несомненно, с удовлетворением прочел Герцен отзыв о своей работе французского революционного писателя Эрнеста Кердеруа, хотя самая личность его некоторыми странностями своими вызывала в Герцене известную настороженность:

«Это великолепное исследование, цельное и оригинальное, в нем есть подлинная мощь, серьезный труд, неприкрытые истины, глубоко волнующие места...»

Кердеруа, при всей чистоте своих революционных помыслов, иногда поражал неожиданными политическими зигзагами. Естественно, его и Герцена взгляды во многом сильно расходились. Кердеруа призывал к социальной революции, как и Герцен, который был уверен в ее неизбежности: «...не найдется в Зимнем дворце,— писал он все в

том же труде,— такого бога, который отвел бы сию чашу судьбы от России».

Но как представлял себе социальную революцию Кердеруа? Предшественник анархистов, уменьшенная (сильно уменьшенная!) копия Бакунина, причудливая смесь пылкого темперамента и здравых идей, вдруг сменявшихся полной путаницей в мыслях, Кердеруа уверял, что социальную революцию могут и должны произвести только... русские казаки. Книга его на эту тему так и называлась: «Hurrah!!! ou la Révolution par les Cosaques» [1].

Кердеруа называли: «Новый Герострат».

Герцен с вежливой беспощадностью опровергал и его наивный анархизм, и его мысли о России, от которых на пушечный выстрел разило «развесистой клюквой».

«Что до Николая и его режима,— разъяснял ему Герцен,— то в нем нет ничего славянского, национального. Русский империализм — только конечное следствие, только самое грубое воплощение сильного государства друзей порядка...»

Врач по образованию, Кердеруа не замечал все прогрессирующей неуравновешенности свой психики. Она довела его в конце концов до самоубийства в возрасте тридцати семи лет.

С особым удовлетворением смотрел Герцен на стопки французского издания «О развитии революционных идей в России». Герцен предназначал его главным образом для Москвы. У него возникли сомнения в качестве языка, он ведь сам написал французский текст. Мишле успокоил его:

— Я считаю вас, поверьте мне, одним из самых выдающихся писателей на нашем языке...

Часть тиража действительно проникла в Россию. Чаадаев, который сгорал от желания прочесть, что о нем на-

---

[1] «Урра!!! или Революция при помощи казаков» *(фр.)*.

писал Герцен, прослышал, что экземпляр этой книги есть у начальника III отделения шефа жандармов графа Орлова. Недолго думая, Чаадаев написал Орлову просьбу прислать ему эту книгу — какое понятное, но постыдное зрелище представляет собой этот блестящий ум, опустившийся из страха перед полицией до шельмования в этом письме к Орлову Герцена (а ведь его он глубоко уважал) как «наглого беглеца, гнусным образом искажающего истину»! — и обещал разоблачить его «наглую клевету о себе».

Книгу Чаадаеву предоставили. С упоением и с болью читал он в ней строки о себе:

«...Наконец пришел человек, с душой, переполненной скорбью; он нашел страшные слова, чтобы с похоронным красноречием, с гнетущим спокойствием сказать все, что за десять лет накопилось горького в сердце образованного русского... Автора упрекали в жестокости, но она-то и является его наибольшей заслугой. Не надобно нас щадить: мы слишком быстро забываем свое положение, мы слишком привыкли развлекаться в тюремных стенах...»

Когда Чаадаев читал эти строки, слезы показались на его лице, обычно мраморно-бесстрастном.

А Анненков! Чаадаев хоть прикидывался благомыслящим. А Павел Васильевич, за границей числивший себя в друзьях Герцена, расписался в своих воспоминаниях в потрясающем непонимании — и даже с оттенком злобы — огромной личности Герцена, его бескорыстия, искренности, душевного благородства. Он называет Герцена человеком «блестящего и вместе фальшивого ума» и обвиняет в «кокетничанье перед Европой» и, кстати, походя обливает грязью декабристов. Он совпадает в этом с Боткиным, который к этому времени был окончательно объят трусливым трепетом перед тайной полицией. При всей своей терпеливой снисходительности к старому знакомому Герцен в конце концов написал Маше Рейхель: «Даже Павел Анненков и тот лягнул...»

Конечно, в России лишь немногие прочли «О развитии революционных идей в России». Слухи об этом произведении распространялись гораздо шире, чем оно само. А так как экземпляры его попали главным образом в высшие сферы, доставленные туда зарубежными агентами русской тайной полиции, то и слухи, исходившие из этих сановных кругов, представляли его, разумеется, в искаженном виде и были попросту злобной клеветой.

Достойно удивления, что они оказали столь решительное влияние даже на Грановского.

В Грановском причудливым образом соединялись привязанность к Герцену, даже любовь, в искренности которой нельзя сомневаться, с охотной готовностью поверить любому поклепу на него. С одной стороны, он расточал Герцену похвалы вплоть до того, что пророчил ему будущность «великого писателя». Охваченный лирическими воспоминаниями о былой дружбе, он писал Герцену: «...внутренняя связь с тобой и Огаревым еще укрепилась. Если бы нам пришлось встретиться, мы, вероятно, не разошлись бы более в понятиях...».

А с другой стороны, он же называл работу Герцена «О развитии революционных идей в России» «жалкой», «напрасным и вредным трудом». То, что он сам ее не читал, нисколько его не смущает. «Все, что я знаю о твоем сочинении,— пишет он в том же письме к Герцену,— заимствовано из рассказов Блудова». То есть из рассказов сановника, карьериста, предавшего своих друзей-декабристов и в награду за угодливость удостоенного от Николая I министерских постов и графского титула.

Только через полтора года Грановский опомнился и, спохватившись, написал Герцену, что в общем он сожалеет о своем резком отзыве, который написал, как восклицает он покаянно, «под влиянием толков и сплетен о книге, которой в то время я еще не читал».

Читая эти строки, Герцен покачал головой. И это все?

Но мы уже знаем, как он был снисходителен к друзьям, щадя людей и помельче Грановского. А все же ему стало грустно... Он так отозвался об этом запоздалом покаянии Грановского:

«Письмо Грановского,— сообщает он Маше Рейхель,— грустно, он пишет: «Если бы ты мог видеть, что мы стали...» А ведь, воля ваша, я не могу вполне понять, как же это они ограничиваются одним унынием и слезами...»

Поразительно в письме Грановского это «что», а не «кем» «мы стали». То есть перестали быть людьми, а стали чем-то неодушевленным.

Но ведь и раньше были резкие неодобрения Грановским некоторых работ Герцена, полных ума и блеска. Свое личное мнение о них Грановский не скрывал от друзей, в том числе и от некоего Фролова Николая Григорьевича. Несмотря на свою родственную связь с петербургским полицмейстером Галаховым, Фролов был близок к вольнодумцам-западникам, а влиятельное родство использовал для частых поездок за границу, преимущественно в Париж под предлогом перевода Гумбольдтова «Космоса». С Грановским он сблизился еще в Берлине, где оба они так же, как Станкевич, Тургенев и другие русские, слушали лекции верховного гегельянского жреца профессора Карла Вердера.

Так вот, Фролову писал Грановский о герценовских «Письмах из Авеню Мариньи», что они ему «не нравятся, хотя очень умны местами. В них слишком фривольного русского верхоглядства. Так пишут французы о России».

Любопытно, что Грановский сам не заметил уничтожающего противоречия в этом своем глубоко несправедливом отзыве: получается, что французы пишут с русским верхоглядством.

Как тут не вспомнить пророческих слов Огарева, сказанных им еще в 1846 году в Соколове после препирательства с Грановским о Робеспьере, о бессмертии, но глав-

ным образом о нравственности (и безнравственности) русского народа:

«...В наши отношения с Грановским вошла горечь... По крайней мере, мы теперь знаем, Александр, что мы с тобой приютились друг к другу и связаны тем, что мы одни...»

Книга эта, «О развитии революционных идей в России», имела последствие, которого Герцен никак не ожидал: он получил от властей приказ немедленно покинуть пределы Сардинского королевства. Причину можно свести к следующей формулировке: уж не рассматривает ли русский эмигрант наш Пьемонт как типографию для издания своих возмутительных произведений?

Разумеется, этот демарш не был инициативой сардинского правительства, которое Герцен называл «ручным и уклончивым». Сюда через всю Европу протянулась цепкая рука Николая I.

Герцен-то все равно собирался покинуть на время Ниццу. Он устал. Впервые в жизни он ощущал в себе странную пустоту, словно от него осталась одна телесная оболочка, которая механически совершала то, что приучена делать плоть. Он испугался этой пустоты. Он не знал, как ее назвать. Бесчувствие? Безмыслие?

В день отъезда к нему зашел Всегдаев. Вид у него был несколько торжественный. Он вынул из кармана толстенькую тетрадку и все с тем же торжественным видом вручил ее Герцену.

— Что это?

— Диссертация-с. Пока материалы.

На обложке было каллиграфически выведено:

«Контрасты и каламбуры».

Герцен раскрыл тетрадь. На первой странице — четверостишие:

*А. И. Герцену*

Вы шли напрямик. И зашли в разлужье.
Но сами не стали от этого хуже.
Вот так напрямик Вам и дальше идти,
И нет такой силы, чтоб сбить Вас с пути.

Герцен поклонился.

— Благодарю вас,— сказал он устало.— Это весьма лестно для меня... Я и сам когда-то грешил стихами. Ужасными, как я сейчас понимаю. Но все же, простите меня, даже они были несколько более складными. Не сердитесь? Но позвольте спросить, в какое такое «разлужье» я забрел?

— Я, конечно, не поэт, Александр Иванович. Но бывают минуты... А что касается «разлужья», то, извините меня, конечно, какая же это для вас компания — Энгельсон, Сазонов и...— он запнулся,— ...и прочие. Мошки рядом с орлом. Помяните мое слово, Александр Иванович, вы еще от них натерпитесь. Ой, натерпитесь...

Герцен подозрительно посмотрел на Всегдаева. Что это за «прочие»? Неужели пошла молва?..

Он насупился. Это было так несвойственно ему, что Всегдаев удивился.

Герцен бросил тетрадь в раскрытый чемодан. Сказал отрывисто:

— Хорошо. Спасибо. На досуге посмотрю.

— Собираетесь куда-нибудь, Александр Иванович?

— В Париж. Оттуда в Швейцарию. Натурализоваться.

Всегдаев не понял этого слова.

Герцен пояснил:

— Хлопочу о швейцарском гражданстве. Не уверен только, примут ли.

— Вас? Да для Швейцарии это почет!

Герцен улыбнулся — так искренно прозвучало это восклицание. Что-то сдвинулось в его мире, помягчело. Он

вздохнул и сказал тихо, как бы про себя, скорее — подумал вслух:

— А мне бы без почета в Россию...

Он вынул из кармана письмо:

— Вот пишет мне Грановский, что драматург Островский написал новую пьесу «Свои люди — сочтемся» и что это «крик гнева и ненависти против русских нравов»... Счастлив Островский, что может у себя на родине писать напрямик...

Услышав это слово, Всегдаев обрадовался:

— Александр Иванович! Так и вы такой! Вот это я и написал в своем посвящении!

— Не заблуждайтесь, друг мой,— сказал Герцен грустно.— В том-то и дело, что я работаю не «напрямик». Слово мое шатается по Европе. А надобно, чтобы оно пересекало границу. Я представляю себе русский народ...

Он не договорил. Не закончил фразы намеренно. Его удержало опасение показаться выспренним — он этого не выносил ни в других, ни в себе. Не он ли насмешливо отозвался о собственной предбрачной, в общем юношеской сентиментально-возвышенной переписке с Натали: «...рядом с истинным чувством ломаные выражения, изысканные, эффектные слова, явное влияние школы Гюго и новых французских романистов». Не он ли учил других, что «злоупотребление громких слов... противно русскому характеру, чрезвычайно реальному и мало привыкшему к риторике...»?

А недоговоренная фраза была такая простая:

— ...в виде великана. Спящего. А себя — одним из тех, кто попытается его разбудить...

## *Видения*

Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело...

*ТЮТЧЕВ*

Погода в Париже дрянная, когда с неба не льет, все равно оно серое и лежит на макушке всем своим свинцом.

В пяти гостиницах отказали, лето — сезон туристов. Удалось наконец внедриться в грязноватый отельчик «Принц-регент».

Герцен писал Натали каждый день. Все то же — любовь, тоска, жажда мести.

Две недели пролетели, как один день, монотонный, тягостный. И — непреходящее чувство одиночества, хоть рядом дорожный спутник — Энгельсон. Да и Мишле забегал с комплиментами. И Ротшильд благосклонно обещал оттяпать у царя матушкино состояние, оставшееся в России.

Спектакли в «Опера комик», балы в «Шато руж» казались глупыми. Герцен так и выразился в письме к Натали: «Париж решительно утратил способность меня веселить».

Конечно, причина не вовне. «Мне глубоко грустно внутри»,— пишет ей же Герцен. «Тоскливая апатия» — так он называет свое душевное состояние в письме к московским друзьям.

Наконец день отъезда в Швейцарию.

Укладывая чемодан, Герцен наткнулся на тетрадь с надписью: «Контрасты и каламбуры». Что за чушь? И тут же вспомнил: диссертация этого унылого Всегдаева — «примеры из вас, Александр Иванович...». Полистал. Увлекся, стал читать. Сел на стул. Рядом стоял забытый чемодан, терпеливо разинув свой черный кожаный зев.

Вот первый пример «из меня»:

«...Никогда никто из посторонних не жаловался на его лихоимство; никогда никто из его сослуживцев не подозревал его в бескорыстии».

Контрастные слова подчеркнуты. Тут же в скобках примечание Всегдаева: (Осип Евсеич, столоначальник из «Кто виноват?»).

Второй пример:

«...В лице его как-то странно соединялись добродушный взгляд с насмешливыми губами, выражение порядочного человека с выражением баловня, следы долгих и скорбных дум с следами страстей, которые, кажется, не обуздывались».

Тут все подчеркнуто, все контрастно. В примечании Всегдаев пишет: «Бельтов из «Кто виноват?». Да это, кажется, и автопортрет. Спросить у Ал. Иван.».

Третий пример:

«Смотрю на эту мраморную беловежскую чащу здешнего собора. Такого великого изящного вздора больше не построят люди».

Примечание Всегдаева: «Это о миланском соборе. Контрасты головокружительные. Глубокое предвиденье будущего утилитарного стиля архитектуры».

Четвертый пример:

«...Далай-лама в ботфортах...»

Герцен мысленно вскричал:

«Да он с ума сошел! Кто ж ему это пропустит?!»

Примечание Всегдаева:

«...Оный контраст приписать должности не выше командира взвода».

Герцен досадливо махнул рукой: «Так ведь если вместо солдафона-царя разуметь солдафона-фельдфебеля — никакой соли!»

Пятый пример:

«Гинар, начальник артиллерии Национальной гвардии, хотел сам пристать к движению, хотел дать людей, согла-

шался дать пушки, но ни под каким видом не хотел давать зарядов; он как-то хотел действовать моральной стороной пушек».

Примечание Всегдаева:

«В сорок восьмом году. Словечко «как-то» придает всему обороту особую иронию».

Шестой пример:

«...Редкин постригся в гражданские монахи, служит себе в министерстве внутренних дел и пишет боговдохновенные статьи с текстами...»

Примечание Всегдаева:

«Это о нашем добрейшем Петре Григорьевиче, который выудил своего личного бога из гегельянской философии. Блестящая контрастная характеристика педанта. Небольшая ошибка Ал. Иван.: Петр Григорьевич служит не в министерстве внутренних дел, а в министерстве уделов. Но каково словечко: «себе» после «служит»! В нем весь Петр Григорьевич».

Седьмой пример:

«Она принадлежит к тому выносливому и тягучему кряжу, который заменили николаевскими юродивыми, с рождения испуганными, нервозными чудаками».

Примечание Всегдаева:

«Все подчеркнуто, ибо все контрастно. «Она» — это кузина Ал. Иван. Ей, как представительнице предыдущего поколения, Ал. Иван. противопоставляет нынешних людей, которые трепещут перед властями, кидаются из одной конъюнктуры в другую. Если это сочинители, то язык их вычурный, изломанный, пустой, далекий от карамзинской твердости, пушкинской плавности и гоголевской пронзительности. У одного сочинителя, близкого к стилю Бестужева-Марлинского, я даже встретил такое выражение: апокалиптические параболы. Противопоставить слогу Ал. Иван., несравненному по точности и художественному изяществу».

«Однако наш Тимоша Всегдаев не так уж прост, как нам казалось»,— подумал Герцен.

Далее в тетради Всегдаева следовало нечто вроде отдельной главы под заглавием:

«Анализ одной фразы».

«Вот эта фраза:

«Нет ничего забавнее и досаднее, как juste milieu[1] во всяком деле... Храбрость последовательности — великое дело»».

Примечание Всегдаева:

«Это снова о Петре Григорьевиче Редкине. Он весь здесь, как на ладони. Каждое слово веско и верно. «Забавнее», потому что «juste milieu» — нелепо до смешного. Но когда она является сутью человека серьезного и до некоторой степени близкого — тогда: «досаднее». Причем это справедливо для любой отрасли деятельности — «во всяком деле». И наконец, как вывод из этого лаконичного и глубокого пассажа,— блестящее, афористически отточенное выражение: «Храбрость последовательности — великое дело», где подчеркивается, что для соблюдения «последовательности», то есть для сохранения верности своему убеждению, требуется «храбрость», то есть душевная отвага. Не это ли качество подчеркивал мой незабвенный учитель Виссарион Григорьевич Белинский, когда уподобил язык сочинений Ал. Иван. строкам, отлитым из стали? Выше приведенный анализ сему дает пример».

Герцен отложил тетрадку. Не потому, что она пришлась ему не по вкусу. Вовсе нет! Там есть дельные соображения. А потому, что она напомнила ему об ужасающих контрастах его жизни... Он не хотел об этом думать, он бежал от этих мыслей, но он сам лез в голову — этот отвратительный излом его существования...

---

[1] — золотая середина *(фр.)*.

В самом деле, с каким постоянством повторяется этот мучительный контраст! После Пушкина и Дантеса, после Лермонтова и Мартынова — опять на одном конце великий художник, гениальная личность, а на другом — ничтожество пошлое и торжествующее.

Гервег и Натали создали целую систему тайной переписки. Опытные конспираторы могли бы позавидовать ее технике: она не имела ни одного провала. Правда, главным ее основанием была доверчивость Герцена. Переписка эта не знала перерыва. Она сопровождала все этапы переживаний Натали. Ни ее примирение с Герценом, ни ее догадка и, в конце концов постижение истинной сути Гервега не остановили ее. А это постижение началось с того письма Гервега, где, может быть, с наибольшей полнотой проявилась его грубость эгоиста. В этом письме он уговаривал, даже, можно сказать, умолял Натали, чтобы она не оправдывала себя перед Герценом в ущерб ему, Гервегу, чтобы она, напротив, взяла вину за все случившееся на себя, словом, что это она искусственно вызывала его любовь и что это, в общем, она соблазнила его. Конечно, этот цинизм больно ранил Натали, она почувствовала себя оскорбленной. Может быть, впервые у нее мелькнула мысль: хорошо ли она знала Гервега? Не подставляла ли она вместо него воображаемый образ?

К тому же она узнала, что он всюду похваляется своим у нее успехом. Глубоко уязвленная Натали пишет Гервегу:

«О, мне стыдно за тебя!»

Не правда ли, это уже другой язык, не похожий на романтические изыски прежних писем.

Сознание, что она ошиблась, что она придумала какого-то своего Георга, все больше овладевает ею. С чувством, близким к ужасу, она пишет ему:

«Где ты, мой Георг? Тебя нет более! Тебя, быть может, никогда и не было!..»

Это — начало отрезвления. Вместо прекрасного фантома встает вполне реальный пошляк. В возбудимой натуре Натали это отрезвление тоже начинает принимать характер экзальтации:

«...Ты тень некогда бывшего, сон... каждое из твоих писем все более отдаляет меня от тебя; скрывает тебя, похищает тебя у меня...»

Она мечется по дому, по саду, домашняя работа валится у нее из рук. Все чаще она задает себе вопрос, кого же она любила так страстно? Значит, существовало два Георга: один — подлинный, мелкий человечишка, другой — придуманный, искрящийся всеми видами благородства. Где выход из этой ужасающей двойственности? Прошлое мучит Натали необратимостью совершившегося, ибо забывчива плоть, но как заглушить несмолкающий голос души? Смертельная обида дышит в ее письме к Гервегу:

«...Ты вовлекаешь меня в сферу, в которую я никогда не спускалась. Я задыхаюсь... Ты ли это?»

Приходится признать, что Натали так никогда и не выбралась из своей душевной путаницы. Она не могла расстаться с Герценом, который был ей бесконечно дорог, она ощущала его, как часть самое себя. И она не могла разменять свою — уже былую — любовь к Гервегу на мелкую монету легкого флирта, сезонного романа или преходящего порыва.

Она пишет Гервегу свое, быть может, самое отчаянное, самое трагическое письмо:

«...Если б я писала тому Георгу, в которого верила, которого любила, я сказала бы ему: «Мой Георг, я люблю тебя». Но ты знаешь, как я люблю Александра, ты знаешь, что я всегда желала скорей умереть, чем причинить ему огорчение,— я была вынуждена, не знаю кем или чем, причинить ему боль... Моей слабостью, быть может...»

Впервые она называет свои отношения с Гервегом своей «слабостью». Герцен впоследствии назовет их «злосчастным увлечением».

Меж тем Гервег делает неожиданный ход. Он выдвигает идею примирения с Герценом посредством совместного сожительства их обеих семей.

«...Я ищу в тебе его, того, другого, который...—пишет она Гервегу,— словом, моего Георга и не нахожу его, я вижу всегда вас двоих, тебя и его — но если бы я его и нашла, то не смогла бы покинуть Александра... После всего этого совместная жизнь?..»

Надо, впрочем, полагать, что Гервег быстро отказался от своей теории «совместной жизни» после того, как Натали известила его, что «Александр не убил тебя только из любви ко мне...».

Все чаще к ней начинает приходить мысль о смерти как единственном выходе из этой камеры нравственных пыток.

А Гервег не унимается. Злоба и странное предположение, что, припугнув Натали, он вернет себе дружбу Герцена и вернется в его дом, подвигает его на новую подлость. Он угрожает Натали, что откроет перед всем миром их отношения.

Несчастная женщина, оскорбленная в своем самом сокровенном, отвечает на эту угрозу:

«Я ничего не в состоянии ответить тебе на эти кощунства. Следующее письмо будет тебе возвращено... Довольно слов! Они доказывают, что ты — это не ты. Я готова показать себя перед всей вселенной такой, какая я есть. Делай, что хочешь, я увижу, есть ли в тебе хоть малейшая тень чести... Я знаю только, что больше не в состоянии ни писать тебе, ни читать твои письма...»

Она хоть и утвердилась в убеждении, что любила не реального человека, а создание своего воображения, это не приносит ей желанного душевного успокоения. Гервег не

Зевс, прилетевший к Данае с заоблачного Олимпа, не лермонтовский Демон. И дело совсем не в нем одном, и даже, может быть, вообще не в нем, а в ней. Таким образом, попытка Натали ускользнуть от ответственности перед самой собой путем создания теории «двух Гервегов» не удается.

И Натали впадает в новое состояние перевозбудимости — в экзальтацию раскаяния. Конечно, она искренна и в этой новой душевной ипостаси, как когда-то — в девическом обоготворении Герцена, потом — в увлечении Гервегом, а после краха этого романа — в новой экстатической вспышке любви к Герцену. Она всегда искренна, потому что всегда заполнена одним чувством. Сейчас она истово кается. Герцен писал впоследствии, что Натали «выказала редкую силу раскаяния».

Сама же Натали в этом покаянном состоянии пишет Маше Рейхель, постоянной поверенной ее интимных тайн, о происшедшем между ней и Гервегом:

«...Страшная ошибка с моей стороны, допустившая меня увлечься в фантастический мир, блуждать в нем и чуть не погубить себя и что люблю...»

А в неотосланном письме к своей «Консуэле», Наташе Тучковой, она пишет о Герцене:

«...Я узнала его любовь ко мне, как никогда...»

## *Старый неверный друг*

...Есть добрые люди всегда и здесь, которые, из поэтического чувства вреда, тиснут какую-нибудь гадость...

*ГЕРЦЕН*

Конечно, эффектное появление поэта, облитого кровью своих заколотых им детей в доме Герценов, чтобы у них на глазах перерезать глотку себе, не состоялось.

Гервег отказался от этой мелодраматической угрозы и заявил, что, брошенный всеми, он уезжает в Египет. Это, конечно, не то же, что самоубийство плюс детоубийство. Но Гервег, очевидно, этим намекал, что только в соседстве с безмолвными мумиями фараонов он может пережить свою скорбь, огромную, как египетские пирамиды.

Герцен только усмехнулся и заметил, что смешно было бы ожидать от Гервега чего-либо идущего вразрез с его интересами.

— Человек этот,— сказал он,— не сделал ни одного поступка опасного или неосторожного. Сумасшествие его было только на словах, он выходил из себя литературно.

Забегая несколько вперед, скажем, что Гервег пережил Герцена. До самой смерти он сторонился старых знакомых, боясь попасть в ложное положение: с ним избегали здороваться. Тургенев писал Анненкову в феврале 1875 года:

«...Я тоже часто встречался с г-жой Гервег в Бадене и нарочно избегал возобновления знакомства. С ней-то бы ничего, но он уж слишком противен».

После примирения с Натали Герцен приходит в состояние относительного покоя. Рубец хоть ноет, но рана затянулась. Он испытывал бесконечную жалость к Натали. «Сердце отстает, потому что любит,— говорил он себе, по обыкновению анализируя свои переживания,— и когда ум приговаривает и казнит, оно еще прощает».

Даже сейчас, когда он сидит в вагоне поезда, уносящего его в Швейцарию, он размышляет не о предстоящих ему хлопотах по поводу вступления в швейцарское гражданство, а все о том же... Вагон качает, трудно писать, а он все пишет прыгающим по бумаге карандашом торопливо, чтобы не упустить набегающих одна на другую мыслей. О чем? Да все о том, что он назвал однажды «черным волшебством». Почти бессознательно он ищет оправдания поступкам Натали. Он делает это всячески. Порой он вообще

отрицает примат любви, отодвигает ее куда-то на задворки душевной жизни:

«Я отрицаю то царственное место, которое дают любви в жизни, я отрицаю ее самодержавную власть и...»

Он задумался. Колеса продолжали выстукивать свое: «Про-вен-ти-ли-руй свой ин-телл-ект... Про-вен-ти-ли-руй свой ин-телл-ект...»

Герцен решительно приписал:

«...И протестую против слабодушного оправдания увлечением...»

Он прикрыл глаза. Какое счастье, что в купе нет никого, кроме него, и никто не видит, как слезы бегут по его лицу и карандаш, прыгая, чертит по бумаге:

«Страсть не есть преступление».

Он вырвал из дневника лист и принялся писать письмо к Натали:

«Ну вот, мой друг, я юношей не искал ни Огарева, ни тебя, встретившись с вами, я исполнился любовью к вам. Тебя я полюбил всей способностью любви в моей душе...»

В Женеве, проходя по улице, Герцен обогнул столики, стоявшие прямо на тротуаре под полосатым тентом.

За одним из столиков — шумная компания. Герцен скользнул по ней равнодушным взглядом. Кто-то ораторствовал, размахивая руками. Синий фрак туго обтягивал его полную спину. Остальные слушали, кто лениво, кто почтительно. Один из сидевших приподнял шляпу. Да это Аяин! Герцен кивнул в ответ, не останавливаясь. У него не было настроения встречаться с людьми.

В это время синий фрак обернулся. Господи, да это же Николенька Сазонов!

Герцен рванулся к нему.

Они обнялись. Отошли от компании, сели вдвоем за отдельный столик. Сазонов, покряхтывая, тяжело опустился

на стул, снял соломенную шляпу, обмахивался ею. Обнажился его необъятный лоб, сливавшийся с лысиной. Маленькие усики, жгуче-черные (уж не подкрашивает ли он их?), не закрывали чувственного рта. Герцен с грустью смотрел на него. Поддался Николенька! Он на три года моложе Герцена, но разгульная жизнь отложила на нем следы в виде мешков под глазами, глубоких борозд на щеках, несгибающихся колен и негнущейся поясницы. А вот по тонусу своему он сейчас тот же, что и три года назад — «весел, толст и гадок до невозможности», как тогда описал его Герцен в письме к московским друзьям,— разве только брюхо его раздалось еще больше да глаза приобрели серебристую поволоку, которую Герцен замечал у сильно пьющих людей.

У Герцена была слабость к Сазонову. Он знал ему цену. Но ведь однокашники! Вместе университет кончали. В одном кружке были с Сатиным, Грановским, Огаревым, потом с Бакуниным... Какие дорогие имена! Мы знаем, как легко широкое сердце Герцена раскрывалось навстречу друзьям. И как болезненно переживал он, когда разочаровывался в иных. Сазонов был из самых давних, из коренных друзей. С ним связаны первые социалистические мечтания. И в общем он не изменил этому знамени и здесь, за рубежом, где живет уже долгие годы. Кутила? Да. Лентяй? Да. «Фразер и эффектер», по слову Аксакова? Да. Но вместе с тем активный революционный деятель (правда, все больше в мелких политических клубах), образованный (особенно в истории, хоть и поверхностно, но широко), талантливый публицист (жаль только, что мало пишет), знает четыре европейских языка (французский, немецкий, итальянский, английский в убывающей последовательности).

Герцен однажды назвал его «плодовитой бесплодностью». Не в глаза, конечно, он щадил его, а в письме к Огареву. Он же Сазонова рекомендовал Прудону в его га-

зету в качестве заведующего иностранным отделом. Через полтора месяца Сазонов ушел оттуда. Начал работать в газете Мадцини «Реформа», отсюда он ушел только через три месяца. Не больше, если не меньше, продержался он в органе Мицкевича «Трибуна народов». Восхищенный «Манифестом Коммунистической партии» Маркса и Энгельса он начал с жаром переводить его, но, не докончив, бросил.

А в милосердном сердце Герцена все же сохранился уголок Сазонова. И впоследствии Герцен опубликовал немногие его статьи, например о всемирной выставке,— очерк, довольно увесистый по объему и такой же по слогу. Вздохнув, Герцен обмолвился о Сазонове, что этот его старый товарищ при всех своих способностях и передовых убеждениях давно превратился, как он выразился, в «декорацию, прикрывающую лень и бездействие».

И все же по старой памяти Герцен не утратил к нему нежности. И сейчас, сидя с ним за столиком в кафе, расспрашивал, как он живет, а впрочем, больше предавался воспоминаниям о московских временах.

Да, не мог Герцен так просто отмахнуться от Николеньки. Он даже впоследствии писал о нем, уже после его смерти, в «Былом и думах» в главе «Русские тени». Но не был ли Сазонов тенью и при жизни? Ведь при всей своей приверженности к плотским утехам он был не только «бесплодным», но и бесплотным. В беседе — интеллектуальные утонченности, в писаниях — крайние взгляды, в быту — чревоугодник и бабник. Верностью идеалам он оправдывал свой свинский образ жизни. Но так ли он был верен идеалам? На этот счет есть разные сведения.

Сазонов относился к Герцену снисходительно, даже несколько свысока. В письме к Марксу он характеризует Герцена как человека «скорее увлечений, чем убеждения, человека воображения больше, чем знания, впрочем, очень преданного и очень способного...». Конечно, он не упомина-

ет в небрежно-покровительственной по тону характеристике, что он без конца тянет из Герцена деньги в виде долгов без отдачи.

Нетрудно распознать в этом обидно беглом отзыве и оттенок зависти. Честолюбие Сазонова было безгранично. Если следовать психологическому образу Толстого, уподобляющего человека дроби, где числитель — то, что человек есть на самом деле, а знаменатель — то, что он о себе воображает, то знаменатель у Сазонова был раздут не менее, чем его алкоголическая печень.

Сазонов ни минуты не сомневался, что в будущей свободной России он займет высокий решающий пост. Он постоянно и требовательно жаждал не просто одобрения, а поклонения себе, притом не камерного, а громкого, публичного. Поэтому он и окружал себя поклонниками, нисколько не сетуя на их ничтожество, вроде тех, кого мы сейчас видели за его столиком, почтительно внимающих его речам, бездарных поэтов, бульварных журналистов, в среду которых нетрудно было затесаться личностям, подозрительным в смысле их прикосновенности к тайной полиции.

Да и сам Сазонов... С некоторого времени к нему стали относиться настороженно. Когда он пришел к оппозиционной французской писательнице графине д'Агу, избравшей себе, как и Аврора Дюдеван, мужской псевдоним — Даниэль Стерн, чтобы заказать ей статью против Наполеона III, она отнеслась к нему с опаской, а друзьям своим отписала: «Меня посетил Сазонов, но в демократической партии против него существует много предубеждений...»

Неприятный слушок довольно настойчиво волочился за Сазоновым. Может быть, этому способствовало то, что в пятидесятых годах Сазонов корреспондирует в «Отечественные записки», которые тогда резко выступали против «Современника» Чернышевского? Не брезговал Сазонов также редактировать один из отделов парижского еженe-

дельника «La Gazette du Norde», который свободно продавался в России, что говорило о его казенном благомыслии. Более того, Сазонов стал сотрудничать в газете «Наше время», издававшейся Чичериным и Павловым на средства старого реакционера князя Вяземского и безудержно травившей и Герцена, и Чернышевского.

Наконец, это постепенное сползание с прогрессивных позиций достойно завершилось униженным прошением к царскому правительству с просьбой об отпущении ему, Сазонову, социалистических грехов и разрешении вернуться в Россию. Показательно, что это коленопреклоненное ходатайство было поддержано русским послом в Париже князем Орловым и — что еще более характерно — парижским агентом III отделения Яковом Толстым.

Таковое разрешение он получил. Смерть помешала ему воспользоваться им.

И вот этот человек сидел сейчас против Герцена, который тянулся к нему всем своим исстрадавшимся сердцем. Он готов был простить Сазонову его шатания и его лень, грязь его жизни за одно слово нежности, сердечного участия.

В это время Сазонов сказал:

— Ну, как же твои семейные дела? Мне Гервег рассказал все. Зачем ты не отпускаешь свою жену к нему и морально принуждаешь ее жить с тобой? Все равно она уедет к Гервегу, она ведь дала ему слово.

Все это, попыхивая сигарой и прихлебывая вино, Сазонов проговорил своим обычным небрежным аристократическим говорком, будто речь шла не о Герцене, а о светской сплетне про совершенно чуждых им людей.

Герцену казалось, что слова эти приходят не от человека, сидящего рядом с ним, а из какого-то бесконечного далека, и сам Сазонов словно отодвинулся от него бесконечно далеко, уменьшился, теперь это какой-то шар с короткими отростками — не то руками, не то ластами. И он

все говорил, говорил, и слова, одно ужаснее другого, доносились до Герцена как в бреду:

— ...Гервег уверял, что ты утешишься, ты ведь человек передовых взглядов... ты обогнал мещанство...

Сазонов отлично видел, что Герцен потрясен, что он подсечен под корень. Может быть, Сазонов и добивался этого, может быть, он получал какое-то странное удовольствие от унижения своего старого друга, этого счастливца Герцена.

Собрав последние остатки мужества, Герцен сказал почти твердым голосом:

— Это клевета!

И не слушая уверений Сазонова, не прощаясь, пошел из-под полосатого полога кафе. Он шел, не замечая, что почти бежит, не разбирая пути. Ноги привели его в отель. Он не заметил и того, что уже ночь. Он бросился в кровать, не раздеваясь. Сон не приходил.

Он вскочил, выбежал на улицу. Забежал в первое попавшееся ночное кафе, потребовал вина, бумаги, сургуча и написал:

«28 июня 1851 года.<br>Женева. Кафе.

Что со мною и как, суди сама.

Он все рассказал Саз. Такие подробности, что я без дыхания только слушал. Он сказал, что «ему жаль меня, но что дело сделано, что ты упросила молчать, что ты через несколько месяцев, когда я буду покойнее, оставишь меня».

Друг мой! Я не прибавлю ни слова. Саз. меня спросил, что это, будто ты больна. Я был мертвый, пока он говорил. Я требую от тебя ответа на последнее. Это все превзошло самые смелые мечты. Саз. решительно все знает...»

Герцен положил перо. В нем все теплилась надежда, что это все выдумка, грязная выдумка этого мерзавца. «Сазонов только рад покопаться в моем интимном, особенно если он может при этом ущемить меня...»

«Я требую правды... Сейчас отвечай...»

Он снова остановился. «А можно ли теперь ей верить? Ведь если это все правда, то она уже не прежняя Натали... А если прежняя, Наташа, моя Наташенька, то тогда мои слова ее оскорбят». Но умирающему не до этого. И более не колеблясь, он приписывает:

«Каждое слово я взвешу. Грудь ломится...»

Он вспомнил самое ужасное из сазоновских слов: «Гервег сказал, что между ним и Натали все договорено, что она сказала, что все развивается, как должно...»

И снова — к бумаге:

«...Еду я завтра в Фриб... Так глубоко я еще не падал. Письмо ко мне в ответ на это адресуй в Турин, до востребования...»

Он сунул письмо в конверт. Собрался запечатать, уже вынул свою печать с изображением рвущегося вверх пламени — символ его духа,— на нем отчеканенное: «Semper in motus» [1].

Вдруг на измученном лице его появилась улыбка, такая жалкая, что он перестал в эту минуту быть похожим на себя. Он вынул письмо из конверта, нетвердой рукой приписал:

«...Неужели это о тебе говорят?.. О боже, боже, как много мне страданий за мою любовь... Что же еще... Ответ, ответ в Турин!..»

Он набросал адрес... Какие кривые буквы...

Он удивился, что ему еще повинуется рука...

---

[1] Всегда в движении *(лат.)*.

## *Мощь и немощь русской интеллигенции*

Ренуар вполне серьезно объявлял, что «этот надоедливый Мишле просто скопировал папашу Дюма, сделав его скучным. Если заставляешь людей зевать, они принимают тебя всерьез».

*ЖАН РЕНУАР*

— Приходится признать,— сказал себе Герцен,— что в моей душевной организации есть существенный пробел. Я всегда гордился своим умением распознавать людей...

По этому поводу можно было бы поспорить с Александром Ивановичем, но послушаем его дальше:

— ...проникать в их сущность, конструировать их портреты почти мгновенно.

Здесь, конечно, Герцен не имел себе равных. Он запечатлевает окружающих с ван-дейковской силой. Вот только насчет «мгновенно» опять-таки можно бы усомниться. Все-таки Герцену надобен порядочный отступ во времени, чтобы отчеканить свои несравненные гравюры на стали такие как... но не будем надолго прерывать его:

— ...и вот два человека подряд обманывают меня. Сперва цюрихский мерзавец, кстати, предварительно вытянув из меня десять тысяч франков...

Пояснение: с некоторых пор даже в мыслях Герцен не называл Гервега по имени.

— ...а потом старый дружок Николенька Сазонов, тоже не обошедший вниманием моих щедрот, которые обошлись мне на этот раз в шесть тысяч франков. Недаром они сошлись. Что ж, родственные натуры, оба развратники, оба завистники, оба творчески бесплодные...

Мысли эти вертелись в голове у Герцена, когда он мчался в Турин, пребывая в странном состоянии какой-то ду-

шевной невесомости. Быть может, оно происходило от запрета, который он положил себе: не вспоминать о третьем, самом близком человеке, обманувшем его. Над именем Натали он опустил глухую завесу...

По невозмутимому виду его никто не догадался бы о буре в его душе. Иногда только гримаска пренебрежения тенью пробегала по его лицу. Он отбрасывал книгу, которую держал в руках, не читая. Ему тошно было заниматься чем бы то ни было. И что бы он ни делал, куда бы искусственно ни направлял свои мысли, как ни ровен был его тон и спокойное обращение со случайными соседями, неотвязно думал он об этом окошечке в туринском почтамте: «До востребования».

Ему не пришлось ждать долго. «Судьба стремится мне навстречу!» Письмо от Натали перехватило его в пути. Он мял его, вертел в руках, прятал в карман, снова вынимал, перечитывал, хоть всего-то в нем было несколько слов. Но каких!

У него было счастливое лицо... Твердость руки изменила Натали. Она, видимо, была в предельно смятенном состоянии, когда писала это:

«...Знаю только, друг мой, что люблю тебя всею способностью любви во мне, что одна смерть может оторвать меня от тебя...»

Возможно, когда из груди ее вырвался этот вопль любви и отчаяния, все, содеянное ею, вдруг предстало перед нею со всей ослепительно беспощадной ясностью.

Один из немногих полунамеков, полупризнаний уже выскользнул из-под полога тайны в письме Натали к Маше Рейхель: «...но при всем бывала Фома Неверный, наконец, как он же, вложила персты...»

В чьи раны вложила она персты?

В тот день она записала в свой дневник:

«Можно ли меня уподобить бедному невежественному галилейскому рыбаку, по прозвищу «Близнец»?»

Она не удержалась от дрожи, написав это слово.

«...Который однажды усомнился в Учителе своем...»

Она положила перо. Ей вспомнилось вдруг одно слово Александра, тогда больно поразившее ее. Он делал приписку к ее письму к Маше, и он написал о ней, о Натали: «Да, она была не infaillible» [1]. Ему больно было написать это слово по-русски, слишком обнаженно, грубо, беспощадно...

Она вздохнула и снова взялась за перо:

«...В чьи же раны вложила я персты свои? Я точно вижу пред собой горькую усмешку на лице Учителя, когда он говорит Фоме Неверному: «Ты потому уверовал, что увидел Меня. Блаженны не видевшие и поверившие...»»

В Турине состоялось полное перемирие. Исчезла муть, разделявшая Александра и Натали. Они были счастливы, как молодожены. «Блаженны не видевшие и поверившие».

Вот теперь бы жить и жить!

Да не пришлось.

Весь «дотуринский» период, при всей мрачности душевного состояния Герцена, в нем, как всегда, не умирает страстный политический боец. Личные переживания нисколько не затемнили его нравственной и интеллектуальной сути, ни блеска его мышления, ни острого ответа на происходящее в мире.

Тягостные дни эти отмечены начавшейся дружбой с Жюлем Мишле. Герцен очаровывает знаменитого французского историка. Первыми томами его семнадцатитомной «Истории Франции» и особенно «Историей французской революции» зачитывалась еще в тридцатых и сороковых годах московская молодежь в интеллигентских кружках.

По творческому темпераменту Герцен и Мишле были в

[1] — безгрешна *(фр.)*.

чем-то, пожалуй, родственны. Мишле был, в сущности, больше художник, чем ученый. В науке он оставался лириком. Его архивные изыскания заставляли ученых пожимать плечами. Мишле брал из архивов не то, чего требовала тема, а только то, что удовлетворяло его вкус.

Герцен относился к Мишле с большим пиететом. И тот, ученый с мировым именем, высоко ценил дружественное к себе отношение Герцена. Но все-таки я подозреваю, что Александр Иванович относился с несколько иронической опаской к пышному декламационному стилю Мишле. Его приподнятый велеречивый слог, конечно, не шел ни в какое сравнение с прицельной отточенностью и емкой полновесностью языка Герцена. Экономика, народное хозяйство, общественная жизнь — все это интересовало Мишле не как истоки, а как фон. Его история по своей сути — это история страстей. А предмет ее — человек. Поэтому она является в какой-то мере психологией народа. Давать живые картины из его жизни — вот метод Мишле. Наука ли это?

Мишле считал себя знатоком души народа. Французского, конечно, и с этим можно согласиться. Но не русского же. А ведь Мишле претендовал и на это.

И именно это глубоко возмутило Герцена и явилось поводом для создания одного из интереснейших его произведений — этюда «Русский народ и социализм».

В одной из своих статей Мишле писал, что «Россия не существует, что русские не люди, что они лишены нравственного смысла».

Все русское вознегодовало в Герцене при этих словах, все революционное в нем восстало. Ему стоило больших усилий воздержаться от резкостей.

«Я с глубоким прискорбием,— писал Герцен в этюде «Русский народ и социализм», который он опубликовал как «Письмо к Жюлю Мишле»,— прочел ваши озлобленные слова. Печальный, с тоскою в сердце, я, признаюсь, на-

прасно искал в них историка, философа и прежде всего любящего человека, которого мы все знаем и любим...»

Герцен понимал, что произведение знаменитого историка, поражающее своим невежеством, вызвано симпатиями к Польше.

«Польша и Россия,— втолковывал Герцен своему невольному оппоненту,— подавлены общим врагом».

Этот пристрастный и, по существу, малограмотный, антирусский памфлет Мишле отказывал России во всем. С какой грустной иронией замечает Герцен:

«Одно из лиц Шекспира, не зная, чем унизить презренного противника, говорит ему: «Я сомневаюсь даже в твоем существовании!» Вы пошли далее, для вас несомненно, что русская литература не существует».

Герцен объясняет Мишле его политическую ошибку, в которую он, как и большинство иностранцев, пишущих о России, впадает в своих суждениях об этой великой и несчастной стране:

«...Слишком много занимаются Россиею императорскою, Россиею официальной и слишком мало Россиею народной, Россиею безгласной».

Конечно, Мишле был потрясен и не мог не признать правоты Герцена, читая эти глубокие, полные мудрой горечи мысли, отличающиеся своей жизненной долговечностью.

Сам Герцен ставил «Русский народ и социализм» в ряд своих наиболее удачных произведений. Можно спорить с ним, но надо признать, что оно было в ту пору выражением его коренной мысли о судьбе русского народа и стало одним из тех источников, из которых выросло движение, известное под именем народничества.

В произведении этом Герцен, человек городской, урбанист, поклонник крупных центров мировой цивилизации, преображается в российского мужичка (о, Тимоша Всегдаев, где ты со своей «теорией контрастов»?), проповедника

общины, которая своим мудрым артельным началом приведет Россию (а может быть,— кто знает! — и весь мир) прямехеньким путем в рай социализма. Ибо Россия — страна крестьянская, и вечно ей быть такой. В этой крестьянской предопределенности вся суть России — таково твердое убеждение Герцена, и именно это стало колыбелью будущего народничества. Это была крестьянская утопия великого русского интеллигента. В его отношении к крестьянству было что-то родственное отношению взрослого к ребенку. Он не замечал этого.

Он унижал, топтал ногами собственную «интеллигентность». Он считал, что интеллигенты — это «не больше как средство, как закваска, как посредники между русским народом и революционной Европою».

В увлечении крестьянским социализмом Герцен как-то не сознавал, что статья его «Русский народ и социализм» (да и сам он, Александр Иванович Герцен, весь, целиком) — то явление духовной жизни человечества, которое называется: русская интеллигенция. Он упускал из виду, что, всячески принижая интеллигенцию, он сам является интеллигентом и, таким образом, примером собственной неукротимой личности опровергает свое же отрицание значения и роли интеллигенции в жизни народа.

Его обуревает жажда прямого политического действия. Не находя выхода (которым вскоре стал «Колокол»), Герцен одно время приписывает себе гамлетовские черты. Его французский друг, химик Мари Эдмонд Тесье дю Моте уверял Герцена, что у него натура Гамлета и что это очень по-славянски. На какой-то момент Герцен ухватился за эту вульгарную упрощенческую схему и находил странное удовольствие в том, чтобы утверждать, что для него характерны «колебанье, неспособность действовать... хохот иронии... чувство своего бессилья, недоделки, рассеянья...».

Разумеется, это было несерьезно. В том же письме к Рейхелям Герцен пишет: «Я сделан бойцом».

И вскоре Герцен увидит в интеллигенции тот элемент, который сольется с народом и станет его революционной силой.

Можно было бы сказать, что никто в то время из русских умов не мог предвидеть, как быстро индустриализируется царская Россия и какой могучий рабочий класс вырастет в ней из того же крестьянства. Но ведь были люди, которые это предвидели, и одним из них был Чернышевский.

И все же в этом удивительном произведении Герцена «Русский народ и социализм» есть мысли, которые нельзя назвать иначе чем пророческими. Некоторые он бросает походя, как бы между прочим, но нетрудно заметить, что все они имеют один корень — думу о России. Так, говоря об известной картине Брюллова «Последний день Помпеи», Герцен, называя ее «странным произведением», дает ему неожиданное политическое истолкование:

«На огромном полотне теснятся в беспорядке испуганные группы; они напрасно ищут спасения... Их уничтожает дикая, бессмысленная, беспощадная сила, против которой всякое сопротивление невозможно. Это вдохновения, навеянные петербургскою атмосферою».

Так сквозь стихийное бедствие античных времен Герцен прозревает современный политический мотив, водивший кистью художника. Почему же политический сюжет надо упрятывать в оболочку явления природы? Потому, поясняет Герцен, что «в России свободная речь удивляет, пугает» и «не вдруг решаешься передавать свои мысли печати, когда в конце каждой страницы мерещится жандарм, тройка, кибитка и в перспективе Тобольск или Иркутск».

Когда «Русский народ и социализм» достиг Москвы, поэт Аполлон Григорьев, который отнюдь не был безоговорочным поклонником Герцена, сказал нехотя:

«...Верю, кажется, только в отрицательную правоту Герцена...»

Мишле был смущен отповедью Герцена, взволнован и... восхищен.

«Не могу достаточно выразить, как люблю вашу новую книгу и изумляюсь ей»,— написал он Герцену, когда «Русский народ и социализм» появился в печати. Он понял, что ему изменила беспристрастность историка и что темперамент публициста увлек его в ошибочные суждения о русском народе. Он ссылается на то, что журнальная публикация его труда неточна, и обещает, что в отдельном его издании он опустит несправедливые высказывания о русском народе и его искусстве.

Герцен принял эти извинения. Добрые отношения между ними сохранились. Им полюбилось вести ночные разговоры. Иногда они засиживались в кафе до глубокой ночи. Герцен, как всегда после напряженной работы, испытывал сладостное изнеможение и с удовольствием предавался в разговоре с Мишле игре ума, которая была для него отдыхом.

Мишле, в характере которого было что-то от проповедника, пытался обратить Герцена в свою веру, то есть внушить ему свое отношение к науке, истории.

— История — это воскрешение,— неоднократно повторял он свою излюбленную заповедь.

— Но воскрешение,— возражал Герцен, вертя в руке стакан бордо и чуть пригубливая (после примирения с Натали он почти не пил, он теперь не нуждался ни в утешении, ни в забвении, он был счастлив),— но воскрешение часто превращается в уподобление прошлого настоящему. Это ненаучно. Материальные аксессуары, дорогой Мишле, не в состоянии никого обмануть. Исторические хроники Шекспира, как и «Борис Годунов» Пушкина,— это современность. Нам, русским, есть что сказать и что нам нельзя говорить дома.

Но Мишле не соглашался. Вперив в Герцена выпуклые, необычайно живые глаза, он убеждал его, что народ по-

ступает в каждом данном случае именно так, а не иначе.

— И заметьте, любезный Герцен, независимо от многообразных экономических, географических, политических и всяких прочих влияний, поступает, повторяю, так, а не иначе главным образом потому, что это французский народ. Будь на его месте в таких же условиях другой народ, он поступил бы иначе, сообразно своему национальному характеру.

Он откидывался на спинку стула, смотря на Герцена с победительным видом.

Но Герцен скептически улыбался.

— Я считаю,— сказал он задумчиво,— самую постановку вопроса искусственной, схоластической. Ведь условия существования не являются раз навсегда данным.

— Конечно! — вскричал Мишле.— Но самые условия существования тоже являются произведением духа народа!

Далеко не всегда они приходили к соглашению. Но расставались неизменно в полном уважении друг к другу.

Как ни поздно приходил Герцен домой, Натали не спала, она ждала его. Он брал ее за руки и, как встарь, погружался в синеву ее глаз. Большие, сверкающие, быть может омытые слезами, они светились счастьем. Герцен называл ее глаза: неопалимая синева.

Но это не было счастье полного покоя. Что-то, казалось, подтачивало Натали. Быть может, то, что она все же, вопреки своему похвальному намерению не писать Гервегу, писала ему... Правда, это письма, полные горьких упреков и разочарования, но все же тайная переписка длилась.

Это мучило Натали, и в ней родился страх перед неизбежным, как ей казалось, возмездием. Она боялась кары. Она не знала, откуда придет эта кара, но она ждала ее, и у нее появилась новая повадка: она вдруг испуганно оглядывалась, словно сзади появлялся кто-то с топором.

А потом она смеялась над собой и так хороша, так юна была в этом смехе, что Герцен не мог налюбоваться ею.

## *Катастрофы*

И чтоб с горем в пиру
Быть с веселым лицом.
На погибель идти —
Песни петь соловьем.

КОЛЬЦОВ

Луиза Ивановна решила вернуться в Ниццу морем. Приятная морская прогулка вдоль южной оконечности Франции. Сутки на Средиземном море в виду Лазурного берега — что может быть отраднее!

Внучек Коля прыгал от радости. Гувернер Иоганн Шпильман, серьезный молодой человек, а в сущности, двадцатипятилетний юноша, скрывший свою румяную жизнерадостность под окладистой белокурой бородой, раздобыл билеты на пироскаф «Виль де Грасс», старое почтенное паровое судно по перевозке оливкового масла и не очень прихотливых пассажиров.

До позднего вечера не уходили с палубы. В трюме тяжело перекатывались бочки с маслом. Судно потрескивало. Собственно говоря, по солидному возрасту своему оно подлежало бы списанию. Но «Ллойд» смотрел сквозь пальцы на эти тихие, спокойные каботажные увеселительно-коммерческие рейсы.

Вечером на медленно темнеющее небо выкатился месяц. Маленькие, совсем нестрашные волны успокоительно плескались о борта этой древней лохани, ласкали ее старое, видавшее виды дерево.

Однако надо идти спать.

— Завтра мы проезжаем мимо Тулона,— заметил Шпильман, никогда не пропускавший случая пополнить образование своего ученика.— Тулон — один из древнейших городов мира, основан финикиянами. Тул — семитское слово, означает горная цепь.

— А Иерские острова? — спросил Коля, хорошо изучивший карту.

К этому времени глухонемой от рождения, а вообще-то живой и наблюдательный мальчик, может быть, из всех детей Герцена наиболее напоминавший отца, уже научился довольно внятно говорить и распознавать речь других, и в этом была немалая заслуга Шпильмана, бывшего преподавателя цюрихского училища для глухонемых.

— Это будет глубокой ночью, Коля...

Сжалившись над мальчиком, он сказал:

— Хорошо, я разбужу тебя.

А про себя решил не будить, проспят они Иерские острова, велика ли потеря! Невыразительные каменные глыбы, выступающие из моря, как спины гигантских черепах.

Но они проснулись. Все. Весь пироскаф.

Страшный удар потряс старое судно. Другой пироскаф «Виль де Марсель», лавируя среди причудливой гряды Иерских островов, врезался носом в «Виль де Грасс» и распорол его надвое... Он стремительно пошел ко дну.

Они погибли все. Герцен в ту ночь лишился матери и сына. Погиб и Шпильман. Впоследствии, когда Герцен оправился от горя (это случилось нескоро, спустя годы), он называл это время «самым черным» для себя.

И все же это было несравнимо с тем душевным ударом, который испытала Натали.

Возмездие! Это слово не покидало ее. Она его не произносила. Нет, ни Александр не должен его услышать, ни Маша Рейхель его увидеть в тех исповедальных письмах, которые Натали ей слала в те дни.

В тысячный раз Натали задавала себе вопрос: что хорошо и что плохо? Быть может, преступно было для нее противиться свободному зову природы? Но с другой стороны, не гадко ли то, что это ушло в тайну, в обман, в ложь?

«Какой судья может вынести решение? Религия? Но я неверующая. А все-таки, значит, есть кто-то, кто видит все и воздает в меру наших деяний. Вот и мне воздано полной мерой. Не поскупились. Значит, и я не поскупилась в том, что я сделала. Ибо есть же какое-то соответствие между преступлением и наказанием.

Они называют то, что со мной сейчас, плеврит. Но я знаю, это не плеврит, это возмездие за мою сердечную дерзость. Я преступила. Я вошла в ложь. И вот я наказана. Кем? Значит, это — знамение судьбы?

Но она молчала все время.

И вот она взревела. По-звериному...»

Натали больше не выздоравливала. Вообще-то она при внешней хрупкости была на редкость крепкий человек — это у нее от матери, крестьянская кровь. Никогда ничто не могло пошатнуть ее здоровья. «Натали из железа»,— говорила о ней брезгливо княгиня Хованская. Ничто ее не брало — ни история с Гервегом, ни отчаяние Герцена, ни метание от одного к другому, и обратно, и опять туда, ни даже иссушающая экзальтация раскаяния.

А вот это сломило ее — возмездие.

Впервые на нежном ее лице зазмеились преждевременные морщинки постарения. Герцен смотрел на них со слезами.

— Мы, уцелевшие,— сказал он, обнимая ее,— должны прижаться друг к другу теснее.

Но, говоря так, он видел, что Натали тает, уходит, хоть временами у нее бывали вспышки обычного ее возбуждения.

«...Наташа,— писал Герцен в эти дни Маше Рейхель,— в дурном состоянии, то спит часов пять-шесть, то в какой-то неестественной экзальтации, чисто нервной...»

Опять это слово «экзальтация»...

Натали и сама писала Маше. Некоторые ее письма производят полусумасшедшее впечатление. Например:

«...С первой минуты ты была неразлучна... Ищу твои руки, зову тебя, вместе нести невыносимо тяжкий крест...»

Безумие... Кстати, с этого безумия Натали сняла аккуратную копию в тетрадь, куда она вписывала свои «легальные» письма.

Или другое:

«...И дерево умирает, если ему не засмолят такую рану... И у меня ничто ее не засмолит, до конца силы будут уходить в нее... Они и прежде бы уходили, только в цвет прекрасный, в плод, а теперь... на воздух...»

Конечно, горе... Но какие красивые, тщательно выделанные фразы, тоже с маниакальной аккуратностью перебеленные с черновика.

Герцен почти не отвечал на вопросы, да и вряд ли он понимал, о чем его спрашивают. Он не откликался, когда его звали, он просто не слышал других. Воображение его неотступно возвращалось туда, к Иерским островам, где сейчас одно лишь огромное масляное пятно колышется на воде.

Но он видел другое: вода заливает рот их, ноздри их... Он видел искаженный рот старухи матери... Господи! Нет, этого не вынести...

Герцен был, по старому русскому выражению, сам не свой. Нельзя сказать точнее. Он был неузнаваем. Друзья шептались за его спиной, что он тронувшийся, поврежденный, «не в себе». Феличе Орсини, трогательно заботившийся о нем, никого не допускал к нему в эти дни. «He is almost insensible», [1],— заявлял он сурово посетителям.

Сколько же может вынести человеческое сердце? Сколько может вынести разум, чтобы не пошатнуться?

[1] Он совершенно в бессознательном состоянии *(англ.)*.

Через много лет он описал эти дни в «Oceano nox»[1] и в «Лондонских туманах». На воспоминаниях этих следы слез. Быть может, ни одна глава из «Былого и дум» не давалась ему с таким трудом — даже «Кружение сердца»,— как эти немногие страницы...

Герцен не отходил от постели Натали. Он не выпускал ее руку из своей. Ему казалось, что из Натали, больной, может быть умирающей, в него вливается жизненная сила. Ему хотелось жить, чтобы спасти ее.

В одну из таких минут ему принесли письмо. По почерку на конверте он сразу увидел, от кого оно.

— От цюрихского мерзавца,— сказал он с отвращением.

— Сожги. Не раскрывай.

Вероятно, он так бы и сделал, если бы не надпись поперек конверта: «Дело честного вызова».

Это была до того гадкая смесь клеветы и оскорблений, что Герцен, по его словам, «вскочил, как уязвленный зверь, с каким-то стоном бешенства».

Там был комок грязи в Натали, почти площадная ругань в адрес Герцена, а ко всему — мелодраматические проклятья дурного тона, написанные, как и все письмо, по выражению Герцена, «слогом пьяного извозчика»:

«Перегрызем же друг другу глотки — подобно диким зверям,— поскольку мы уже больше не люди...»

Эта фраза, между прочим, заслуживает внимания потому, что в ней Гервег как бы приравнивает себя к Герцену, вводит его в их словно бы общее товарищество по несчастью. Тут есть расчет. А то, что Гервег, по-видимому, изрядно потрудился над этим письмом, взвешивая каждое

[1] «Ночь в океане» (*лат.*).

слово, подтверждается тем, что черновик этого письма наличествует в записной книжке Гервега. Ее цитирует английский литератор Керр в своей книге «Романтические изгнанники», куда он включил и Гервега.

Первым движением Герцена было написать Сазонову, как лицу, связанному с Гервегом, что на проклятия Гервега он плюет, а дата дуэли и выбор оружия будет им своевременно сделан.

Написал, отослал письмо и спохватился.

С кем драться? Да это только значит реабилитировать его в глазах общества.

И потом — ведь Герцен всегда был принципиальным противником этого феодального способа разрешения вопросов чести.

Здесь, на чужбине, у Герцена под руками были далеко не все его произведения. Но по чистой случайности рукопись его давней — еще 1843 года! — статьи о дуэли — вот она: «Несколько замечаний об историческом развитии чести».

Что его подвинуло девять лет назад разбираться в этом вопросе? Вероятно, нелепая смерть двух великих русских поэтов в цветущем возрасте от пуль каких-то проходимцев. Возмущение общества было велико, и оно живо и сейчас. «Что это такое творится? Россия, столь щедрая талантами, сама к ним не добра. Пушкин и Лермонтов убиты, Белинский заморен, Чаадаев объявлен сумасшедшим. Долго ли будет продолжаться это избиение талантов? Долго ли будут нам всаживать пули в лоб, травить нас, как бешеных собак, выдавать нас за сумасшедших и изгонять нас из родной страны?»

Вот и не пошла в печать эта статья о дуэли. Все хвалили ее, и все говорили, что она «непоместительная», то есть не продерется сквозь «цедилку», как впоследствии назвал цензуру Лев Толстой.

Герцен полистал страницы, несколько пожелтевшие от

времени. «Да это ж пророчество!» — изумился он, читая рукопись: «Худшая сторона дуэля в том, что он оправдывает всякого мерзавца — или его почетной смертью, или тем, что делает из него почетного убийцу...»

Нелегко было Герцену отринуть мысль о поединке с Гервегом — так неутолима была жажда уничтожить его.

Как? Физически? Но это значит, что он исчезнет из мира неразоблаченным в своей подлости.

Нет, уничтожить его прежде всего морально и политически.

Вот тут и начиналась путаница.

Все вокруг отговаривали Герцена от дуэли с Гервегом: зачем? Чтоб потешить мещанство?

Герцен понимал, что никакого убийства на дуэли не произойдет, пули там свистать не будут, а будет предпринята попытка примирения. Гервег отшвырнет пистолет, раздерет на груди рубаху и воскликнет:

— Стреляй! Умереть от руки любимого брата — нет слаще смерти!

«Или что-нибудь в этом ложношиллеровском стиле, и кинется ко мне в объятия, которые, по его расчету, умиленно я раскрою перед ним».

И Герцен приходит к тому, о чем он впоследствии сказал с горечью: «Я ошибался и дорого заплатил за ошибку»,— он приходит к идее суда чести: пусть Гервегу вынесут приговор представители международной демократии.

Конечно, это была большая ошибка большого человека, промах блестящего ума, заблуждение гения.

Идея суда чести далеко не всеми была принята благожелательно. Некоторым она показалась странной. Ведь на таком «суде» неизбежно пришлось бы предать гласности подробности семейной драмы Герценов и осветить роль в ней Гервега. Благородная в теории идея суда чести могла на практике выродиться в мелкотравчатое копание в пошлых сплетнях.

Маццини, например, при всей своей привязанности к Герцену, прямо заявил: «Лучше было бы покрыть все молчанием...»

Натали, ознакомившись с письмом Гервега, ответила ему возмущенным письмом. Она вложила в него всю свою израненную душу: «Ваши доносы, ваши клеветы против женщины вселяют Александру одно презрение к вам. Вы обесчестили себя этой низостью... Вы мне сделали отвратительным самое прошлое...»

Письмо это Гервег вернул нераспечатанным. Но по некоторым деталям вскоре выяснилось, что он его читал. Однако в первый момент это оставалось неизвестным, и Натали обратилась к нескольким друзьям с просьбой отвезти ее письмо к Гервегу в Цюрих и там его прочесть вслух лично ему в присутствии свидетелей.

В Цюрих поехали Гауг и Тесье дю Моте. Эрнст Гауг, бывший австрийский офицер, революционер, смертник, генерал, как все звали его, действительно получил чин генерала из рук самого Гарибальди. Вспыльчивый и нетерпимый, отважный до самозабвения, именно он взялся прочесть Гервегу письмо Натали. Его спутник Мари Эдмонд Тесье дю Моте, больше ученый, чем политик, все же участвовал в революции сорок восьмого года и здесь, в эмиграции, был членом комитета демократов-социалистов.

В Цюрихе к ним присоединился Август Гофштеттер, офицер швейцарского штаба, как нейтральный свидетель, не знакомый ни с Герценом, ни с Гервегом.

Они вошли к Гервегу внезапно.

Увидев вошедших, Гервег побледнел и принялся неловко пятиться в дальний угол.

Своим ровным лекторским голосом Гауг начал читать письмо Натали. Вот тут-то и выяснилось, что Гервег вопреки своей лжи письмо читал, а потом подделал его под нераспечатанное, да по неосторожности забыл в нем свою записку.

Записку эту Гауг разорвал и клочья швырнул Гервегу в лицо.

Вероятно, со времени своего знаменитого баденского драпа Гервег не впадал в такой припадок трусости. Он завопил:

— Режут! Жандармы!

Тут Гауг не выдержал и наградил баденского героя полновесной пощечиной. После чего, считая свою дипломатическую миссию законченной, три посланца удалились.

Через некоторое время один из друзей Герцена известил его, что Гервег днем «не выходит — настолько он оплеван».

Что касается «суда чести», то, как и следовало ожидать, ничего из этой затеи не вышло. Однако странное заблуждение Герцена длилось. Впервые в связи с этим у него мелькает мысль о поездке в Англию, где находились многие видные представители революционной эмиграции.

Но в эти дни он был прикован к постели смертельно больной Натали.

Герцен не отходил от нее, сам топил камин, никому не доверял давать ей лекарства, сам отмеривал их с величайшей точностью. Своими сильными руками выжимал из апельсинов сок и поил им Натали из ложечки.

Когда она забывалась в тревожном, прерывистом сне, он подходил к окну. Весна, но какие-то преждевременно пожелтевшие мокрые листья лежали на тротуаре как впечатанные. Грустно? Нет, безнадежно...

Он принял ее последний вздох... Но ведь это уже не она. Он сказал глухим, словно не своим голосом:

— Она не тут; здесь ее нет, она жива во мне...

Только через два месяца он пришел в себя. Он решил наконец осуществить свою прежнюю идею.

— Я помимо всего должен сделать это во имя памяти о ней.

Речь шла о «суде чести».

С другом, Эрнстом Гаугом, и с сыном Сашей он выезжает в Лондон.

Когда они пересекали Ла-Манш, был момент, когда корабль, подчиняясь этому странному оптическому обману, казался неподвижным, а далекий берег, напротив, приближался к кораблю.

Вот и сейчас Герцену казалось, что Англия мощно надвигается на них меловыми утесами Дувра, копотью городов, хартией вольности, кургузыми дилижансами с возницами, восседающими на высоких облучках, в просторных балахонах с восемью пелеринами, спикерами и биллями, неприкосновенностью жилищ, индусами в тюрбанах, расхаживающими по разным там Пиккадили, вонью Темзы и зелеными лугами невыразимой нежности...

— Папа, нам хватит недели осмотреть все достопримечательности? — спросил Саша.

Гауг удивился:

— Как, вы в Англию только на неделю?

— Да,— устало сказал Герцен,— несколько деловых свиданий, на это хватит и пяти дней.

Он не подозревал, что останется в Англии на двенадцать лет.

— Я думал, вы здесь поработаете,— заметил Гауг.

— Я не могу работать в иноязычной стране.

Он не предвидел, что именно здесь он создаст свою величайшую книгу «Былое и думы».

— В Англии никто друг другу не мешает работать.

— Здесь нет места ничему новому, это страна застывших традиций.

Он не знал, что именно здесь впервые в мире родится свободное русское слово и звон «Колокола» прозвучит на всю крепостную Россию.

## *My dream*[1]

> Впрочем, подождем: посмотрим, что скажет русский народ: пора ему показать себя.
>
> *ПЕЧЕРИН*

А ведь было так, что, только ступив на землю Англии, Герцен сказал:

— Теперь я уже и не жду ничего...

И потом, устроившись на квартире в квартале Чаринг-Кросс:

— И теперь я сижу в Лондоне, куда меня случайно забросило, и остаюсь здесь, потому что не знаю, что из себя делать...

Что ж, значит, Герцен обманывал себя? Ведь не случайно, не в каком-то бессознательном трансе переплыл он Ла-Манш. Никогда он не позволял себе быть игрушкой случая. В состав его натуры входили энергия и целеустремленность.

Он знал, для чего едет в Лондон: для устройства суда чести над Гервегом. И то, что эмиграция отнеслась к этому холодно — одни с вежливым равнодушием, другие с удивлением, третьи с откровенной насмешкой,— изрядно добавило горечи в его и без того смятенную душу. Возможно, что именно в одну из таких горьких минут вырвалось у него замечание: «...эмиграции разбивались на маленькие кучки, средоточием которых делались имена, не-

[1] Моя мечта *(англ.)*.

нависти, а не начала... новый цех — *цех выходцев* — складывался и костенел...»

Источником признаний Герцена в припадках душевной прострации было не что иное, как самозащита организма от осаждавших его бед. Каждый, кто был в войну на фронте, знает, что под жестоким артиллерийским обстрелом или прицельной бомбежкой иные солдаты внезапно засыпали. Самозащита организма! Бегство в сон. Будила их наступавшая тишина.

Но такая тишина — бегство в бездействие — в жизни Герцена никогда не наступала. И хотя он продолжал — в порядке внутренней самозащиты — жаловаться: дескать, «мы сами — неудача, проигранная карта»,— но, в сущности, ему некому было жаловаться. Натали? Ее уж нет. Самому себе? Разве что...

Однако в самой этой жалобе есть непрочность, мимолетность. Ибо унизительно ведь чувствовать себя проигранной картой. Это положение не для Герцена с его борцовской натурой.

Было бы неверно утверждать, что душевные раны его, нанесенные крахом общего и частного, европейской революции и домашнего крова, свободы Франции и личного счастья, затянулись. Нет, они продолжали кровоточить. Ни перемена места, ни перемена времени не вылечили его окончательно. Он находил утешение — он не искал его, оно само пришло, и даже не утешение, а скорее, сочувствие, что ли,— в том, что другой человек как бы протянул ему руку из глубины своего горя и сказал — о себе, правда,— но словно бы о них обоих: « My dream was past — it has no further change!» [1]

Эта гибель его политических упований и семейного счастья усиливала его давнее разочарование — в Западе, в Европе:

---

[1] Мой сон исчез — и новым не сменился *(англ.)*. Байрон.

«Проживши год, другой в Европе, мы с удивлением видим, что вообще западные люди не соответствуют нашему понятию о них, что они *гораздо ниже* его...»

И Герцен снова утыкался в старинного своего врага: в мещанство. Нет бога и нет личности,— нет, бог, пожалуй, есть: «товар, дело, вещь, главное — собственность!»

Значит, крах? Да! Кризис? Да! Но, как сказал о Герцене этот беспутный умница Николай Сазонов, прочтя его «С того берега», это — «кризис в могучем организме, где неизбежно должно победить здоровое начало».

Герцен раскрыл дневник, взял перо. Оно повисло над тетрадью, да так и не коснулось ее.

Он откинулся на спинку кресла. Забытое перо по-прежнему торчало в его руке. Он задумался, подперев другой рукой голову, запустив пальцы в густую шевелюру.

У него ведь был и мысленный дневник. Как поверить бумаге этот душевный разлад, эту сумятицу мыслей, бушевавшую в его голове?

Герцен чувствовал, как это с ним не раз бывало, что в сознании его как бы столкнулись два спорщика.

— Возбуждение ты принял за пробуждение...

— Но был героизм!

— Это было юношеское самообольщение.

— А поэт...

— Ламартин? Еврейская пословица гласит: «Когда понадобится вор, его вынут из петли». Когда понадобился краснобай, его вынули из поэзии.

— Не он. Другой. Байрон. Он сделал высокую поэзию из разочарования...

Неумолимо:

— ...под которым скрывается лень сердца!

С отчаянием:

— Из боли...

— ...в которой звучит пустота самолюбия!

Возмущенно:

— Нет! Это не притворство!

— Вот это — то слово!

Печально:

— Нет! Моя жизнь шла так открыто, как в хрустальном улье...

— Стало быть, революция?

— Да, революция! Самый прямой, исторически самый короткий, практически самый действенный и морально самый справедливый путь к свободе. Стало быть, единственно возможный...

— Но...

— Да, вот это проклятое «но»...

— ...но как примирить революцию с насилием?

— Вот ведь революция сорок восьмого года рухнула. Может быть, оттого, что она воздержалась от насилия? А может быть, потому, что, напротив, была слишком несдержанна в насилии? Неужели для того, чтобы достигнуть берега свободы, надо переплыть через море крови? В таком случае я...

Герцен не написал этих слов, он отчеканил их мысленно:

— В таком случае я остаюсь на этом берегу...

После всего пережитого Герцену не хотелось никого видеть. Такой общительный прежде, он жаждал теперь уединения.

«Так страшно все переломано внутри»,— сказал он о себе.

Значит, пустота? Душевный вакуум? Наоборот, столкновение самых противоположных решений, одни возникали, тут же рушились, на их место являлись другие, но оказывались несовместимыми то с честью, то с совестью.

Хорошо бы эту бурю противоречий разделить среди разных людей. Когда они сгущаются в одном человеке, какой тягостный тупик!

Констатация собственных переживаний еще не давала облегчения. Диагноз устанавливает болезнь, но он не лечит.

Да полно! Болезнь ли это? Дело не в названии. Дело в том, что Герцен жадно искал новую революционную теорию. Он не хотел строить ее на обломках старой. Крах революции сорок восьмого года, страшная июньская бойня отбросили Герцена далеко в сторону от прежних воззрений.

Он метался от веры в торжество революции к отрицанию ее необходимости. Но и обратно — тоже.

Он призывал коммунизм. Он как бы убеждал самого себя в письме к одному корреспонденту:

«Коммунизма бояться нечего, он же неотвратим, это будет истинная ликвидация старого общества и введение во владение нового».

Это так. Неотвратимо. Какие же пути для достижения этого неотвратимого и желанного? Не предстанут же в один прекрасный день капиталисты перед работником, чтобы с умильной улыбкой на отъевшихся лицах вручить ему ключи для входа в новое общество.

Значит, революция.

Но революция — это насилие.

И Герцен склонился над столом — кажется в эту минуту, что он согнулся под натиском воспоминаний об июньской бойне сорок восьмого года, когда он писал:

«Грядущая революция должна начать не только с вечного вопроса собственности и гражданского устройства, а с нравственности человека, в груди каждого она должна убить монархический и христианский период; все отношения людей между собою ложны, все текут из начала власти...»

Да, так он писал, так он в те дни, а порой и позже проповедовал, потому что опыт сорок восьмого года научил его бояться разлагающего влияния власти на ее обладателей. Отсюда порыв Герцена к внутреннему миру человека, к его чистоте, к его моральной безупречности.

Возможно, что его нынешнее состояние испытывало давление (вероятно, не до конца осознанное) трагических событий его личной жизни, ибо несомненно, две драмы, терзавшие его, самая их одновременность, сопереживаемость бросали мрачный отблеск на всю его духовную жизнь, вгоняли его в безнадежность, в колебания, даже шатания. И когда он говорил, что «массы, как женщины, учатся не школой, а несчастиями», то мысли его были не только о народе, но и о Натали. Обе его драмы сплелись здесь.

В этой душевной настроенности были свои спады и подъемы. И в светлые минуты, похожие на когдатошние докризисные умонастроения, он восклицал:

— Демократия — это воинствующая армия будущего!

Он сам стремился к возврату к вере в лучшее, радужное будущее. Он возлагал надежды на время. Оно оборачивалось в его воображении образом солнечных часов в Ницце с их лукавой и беспощадной надписью,— Герцен назвал эти слова насмешливыми и горькими. Их как бы говорит само солнце, совершая свой круг по циферблату: «Я иду и возвращаюсь каждое утро, а ты уйдешь однажды и больше не вернешься».

И все же время — целитель. Герцен даже придавал национальный характер этому целительному свойству времени. Он так выражал это на образном языке своем: «...русская настойчивость, пассивная, выжидательная, беспредельна».

Но разочарование было стойким. Это было больше, чем dream английского поэта. Это была драма. И след ее долго не проходил в сознании Герцена. Может быть, так ни-

когда и не прошел, а преобразовался в «русский социализм». На дне своих рухнувших надежд Герцен создает новую социальную утопию — «общинную теорию».

Сколько сил и таланта потратил он на то, чтобы уверить себя в прочности этой эфемеры!

И, уверовав, писал друзьям:

«Европа, умирая, завещевает миру грядущему, как плод своих усилий, как вершину развития, социализм».

Во-первых, откуда он взял, что Европа умирает? Но не будем прерывать его. Ему и без того тяжко, не до конца выношенная мысль легко соскальзывает в неточность.

«Славяне,— продолжает он упорно (вспомните его теорию: русская настойчивость беспредельна),— an sich (то есть в себе) имеют во всей дикости социальные элементы...»

Возможно, что он договорил бы эту мысль до конца и расшифровал бы, что под стыдливым псевдонимом «социальные элементы» он разумеет общину.

Но в этот момент в дверь постучали.

Он поморщился. Отмолчался.

Дверь скрипнула. Он буркнул раздраженно:

— Entrez!

И по-английски:

— Come in!

На всякий случай и по-русски:

— Войдите!

Вошел Всегдаев. Ну, это бы еще ничего. Во-первых, он славный и какой-то не пошлый. И еще: в нем есть какой-то эффект отсутствия. Вот он здесь, но благодаря его деликатной ненавязчивости его словно бы и нет.

Но, позвольте, там еще кто-то, бочком за Всегдаевым, как бы тенью его. А ведь знаком! Из тех людей, которых знаешь, но всегда фатально забываешь, кто же он. Верт-

кий, щекастый, что-то связанное с Белинским... Герцен ловил за хвост воспоминание, а оно не давалось.

— Собираясь покинуть места сии,— молвил полузнакомый, скромно потупив глаза,— счел непременным долгом, Александр Иванович, засвидетельствовать вам свое почтение.

Профессиональное изящество, с каким он выговорил это, сразу прояснило память Герцена.

— Господин Разнорядов? — сказал Герцен с любопытством, но с некоторой брезгливостью вглядываясь в пухлое лицо его.— Стоило ли, право, беспокоиться...

Вежливость довольно двусмысленная. Да чего другого заслуживает этот господин, который, не надеясь, что его примут, проскользнул сюда, ухватившись, так сказать, за полу этого добряка Всегдаева.

— Помилуйте! — воскликнул Разнорядов с жаром.— Вы наш оракул!

Герцен поморщился: грубая работа.

Вмешался Всегдаев. Он, по-видимому, считал нужным поддержать Разнорядова: все-таки старый университетский товарищ.

— Молодежь много думает о будущности России,— сказал он, впрочем, довольно неуверенно.

Герцен с сожалением посмотрел на Всегдаева. «Вот уж поистине связался черт с младенцем... Ведь у Тимоши эта странная дружба от простодушия. И сейчас он придерживается разбойничьей морали: товарища не выдают».

— Тимоша, дорогой,— сказал он мягко,— а ведь будущее не существует. Оно делается людьми, и, если мы будем продолжать гнить в нашем захолустье, может из России в самом деле выйти недоносок.

Эта формулировка показалась Разнорядову туманной. Из нее товара не сделаешь.

Он сказал, смягчая свое нетерпение умильной улыбкой:

— Вот я возвращаюсь на родные стогна, так сказать, одушевленный вашими, Александр Иванович, идеями. Осмелюсь спросить, что нам теперь делать?

— Кому это «нам»?

Разнорядов развел руками, как бы удивляясь и вместе с тем извиняя Герцену его наивность:

— Нам, то есть молодым силам оппозиционной России.

И он повторил:

— Ведь вы наш оракул.

Это слово Разнорядов произносил особенно смачно. Очевидно, он считал, что против него Герцену не устоять.

Герцен все еще сдерживался. Он хотел побольше вытянуть из Разнорядова сведений о методах его работы.

— А подробнее? — спросил он коротко.

— Ну, стало быть, в смысле пропаганды против самодержавия и опять же по части крепостничества. Помогите, Александр Иванович! Хочется приехать к своим не с пустыми руками.

«Уж очень примитивная разновидность,— подумал Герцен.— Начинающий, что ли?»

— Ваши письма, Александр Иванович, циркулируют по Москве,— продолжал Разнорядов.— Позвольте полюбопытствовать...

— А не угодно ли вам,— сказал Герцен устало,— перестать любопытствовать.

Он встал.

Разнорядов даже попятился.

— Дверь позади вас,— сказал Герцен.

Разнорядов исчез с непостижимой быстротой.

У Всегдаева было на лице выражение отчаяния.

Герцен хотел было сказать ему: «К вам это не относится, останьтесь». Но подумал, что может подвести этим

Всегдаева в глазах агента. И, выпуская его за дверь, ограничился молчаливым кивком головы.

К тому же, глянув на часы, он вспомнил, что у него сегодня свидание с Карлейлем.

## *Раскрепощенное слово*

> Не пора ли развязать себе руки и слово для действия, для примера, не пора ли разбудить дремлющее сознание народа?
>
> *ГЕРЦЕН*

Суд чести над Гервегом! Эта мысль владела Герценом с силой одержимости. Для того и пересек он Ла-Манш, можно сказать, с зажмуренными глазами,— так отвратительно ему самое зрелище моря после катастрофы с матерью и сыном. Но здесь, в Англии, сосредоточены все виднейшие представители демократической эмиграции, в которых Герцен видел будущих членов «суда чести».

Здесь прославленный итальянский революционер Мадзини, который писал Герцену: «...останьтесь в Европе с нами, старыми борцами». Здесь Луи Блан — левофланговый французского революционного движения. Здесь Александр Ледрю-Роллен, кумир французских крестьян. Здесь венгр Людвиг Кошут, о котором Маркс сказал, что, «кроме ораторского таланта, Кошут обладает великим талантом молчать». Здесь Станислав Ворцель, польский социалист-утопист. Здесь Готфрид Кинкель, бежавший из немецкой каторжной тюрьмы. Здесь Арнольд Руге, «невежда и всеобъемлющий философ», по слову того же беспощадного Маркса. Здесь Виктор Гюго, отсюда, из Англии, бомбардирующий Наполеона III язвительными памфлетами. Здесь, наконец, и сам Карл Маркс, который написал

из Лондона Энгельсу в Манчестер: «...Герцен здесь и рассылает повсюду мемуары, направленные против Гервега...»

Никто из этих людей не был равнодушен к Герцену. Ему сочувствовали, его ободряли. Он внушал людям симпатию, некоторым — любовь и восхищение. Но под тем или иным предлогом все уклонялись от участия в «суде чести». То, что для Герцена было делом кровным, составляло сейчас его главный жизненный интерес, казалось им чисто личным эпизодом из интимных переживаний Герцена, а с общественной точки зрения — чем-то неважным, мелким, ненужным, наконец, просто неудобным для публичного обсуждения.

Не менее двух месяцев понадобилось, чтобы это дошло до Герцена. С горестным изумлением наконец убедился он в провале своего замысла. Это был жестокий удар по самолюбию. Он признавался в этом: «...я стал мало-помалу разглядывать, что здание, которое я выводил, не имеет грунта, что оно непременно рухнет. Я был унижен, мое самолюбие было оскорблено, я сердился на самого себя».

А время, великий утешитель, делало свое дело. Оно подружило Герцена с Англией. Он жил близ Примроз Гиля.

«Квартиру нашел превосходную, даль страшная отовсюду,— писал он Маше Рейхель.—...остатки от всех потерь и кораблекрушения прибило к совершенно чужому берегу...»

В этот момент он жаждал одиночества. Он нашел его в Англии:

«...Мне решительно некуда ехать и незачем. Такого отшельничества я нигде не мог найти, как в Лондоне».

Он медленно приходил в себя. Он поставил на письменном столе дорогие его сердцу портреты: Натали, Огарев, Луиза Ивановна, Коля, Белинский.

Постепенно как-то сам собой утверждался повседневный порядок: работа до середины дня (ибо потихоньку,

как бы таясь от самого себя, он каждодневно склонялся над листом бумаги), он избывал свое горе в работе, это был первый приступ к труду над «Былым и думами». Затем — прогулка с сыном, свидания, прием посетителей. Иногда и вечерами он садился за письменный стол. К нему врывался Гауг, звал на прогулку.

Герцен мотал головой и отвечал:

— Мне остается еще, как маленькое вознаграждение, моя любовь к труду. Только в нем я юн, только в нем я вновь обретаю себя.

И столько невысказанной боли было в его глазах, что Гауг умолкал и уходил один.

Герцен привыкал к английскому быту, который порой очень резко отличался от континентальных обычаев даже в мелочах. Герцен иронизировал над собой, что втягивается в английский образ жизни, вот, например, перенял местное обыкновение пить чай со сливками. Английский язык, который поначалу казался таким несуразным, все более становился ему привычен. Словом, он входил во вкус английского быта и полушутливо называл Англию «алмаз, оправленный в серебро моря», заимствовав этот образ из «Ричарда II» Шекспира.

Притом он далек был от идеализирования современного ему английского общества. С насмешливым презрением он относился к модному тогда увлечению лондонского мещанства спиритическим столоверчением, когда одни по глупости, другие из шарлатанских соображений вели по ночам запанибратские беседы с загробными духами, начиная от призрака Юлия Цезаря и кончая эманацией покойной тетки.

««Тейбл Мувинг»[1] все растет,— писал Герцен Маше Рейхель,— целые вечера во всех домах вертят столы... Это тоже признак разложения ума и дегенерации воли — заниматься таким вздором».

[1] Столоверчение *(англ.)*.

Жизнь возвращалась к Герцену по каплям. Возродилась былая тоска по России. И даже свою рукопись «Крещеная собственность», сочинение в общем чисто теоретическое, трактат на социальную тему, он начинает описанием русского сельского пейзажа, полным поэзии и нежности:

«С детских лет я бесконечно любил наши села и деревни, я готов был целые часы, лежа где-нибудь под березой или липой, смотреть на почернелый ряд скромных, бревенчатых изб, тесно прислоненных друг к другу, лучше готовых вместе сгореть, чем распасться, слушать заунывные песни, раздающиеся во всякое время дня, вблизи, вдали... В нашей бедной, северной, долинной природе есть трогательная прелесть, особенно близкая нашему сердцу...»

Теперь, что бы Герцен ни делал, даже в минуты, казалось бы, бездумные, даже в часы работы его не покидало ощущение гнетущей российской действительности. Он как бы чувствовал свою ответственность за все, происходящее там. Он не мог оставаться в позе бездеятельного наблюдателя, брюзги, ворчливо огрызающегося в своей безопасной конуре. Он должен действовать. Он писал Огареву:

«...Люблю свой гнев столько же, сколько ты свой покой».

Тут Герцен в порыве дружеской откровенности немного перехватывал: Николаю Платоновичу Огареву при всей разности и даже противоположности натур его и Герцена нельзя отказать в пылкости нрава и в силе борца. Больше лирик и меньше полемист, Огарев не испытывал постоянного стремления к действию в отличие от своего великого друга, сказавшего как-то о себе:

— Мне нужно... Anregung [1] со стороны среды.

[1] — возбуждение *(нем.)*.

Сейчас это «Anregung» все более овладевало Герценом. Русский народ представлялся ему великаном, не сознающим своей силы. Постепенно зарождалась в Герцене вера в свою миссию — разбудораживать великана, заразить его порывом к свободе. Так выкристаллизовывалась мысль о создании очага свободного русского слова. Все настойчивее он возвращался к этой мысли. Она овеществлялась в его живом воображении типографским станком, каналами связи с Россией, исцелением родины от вековечной немоты.

— Типография будет! — сказал он с былой энергией, вновь возродившейся в нем.— Типография будет, и если я ничего не сделаю больше, то эта инициатива русской гласности когда-нибудь будет оценена.

Этот пасмурный денек Герцен всю жизнь считал историческим: впервые появилась афиша о предстоящем открытии Вольной русской типографии в Лондоне. Хлопот, разумеется, не оберешься. Но, как это иногда бывает, сильное желание притянуло удачу.

Энергия всегда входила в состав душевного строя Герцена. И он знал это. Еще два десятилетия назад, юношей, в сущности, он писал в дневнике: «Мышление без действования — мечта!»

Очень повезло со шрифтами. Вот уж поистине — на ловца и зверь бежит. Некогда петербургская академическая типография заказала для себя шрифты парижской словолитне Дидо, а потом отказалась от них. Вот их-то и приобрел Герцен. Он был в восторге от этого редкого выигрыша судьбы и делился своей радостью со всеми.

— Пусть же будет всему миру известно,— восклицал он,— что в половине XIX столетия безумец, веривший и любивший Россию, завел типографию для русских, предложил им печатать даже даром... Страх — страшно коп-

сервативный принцип: ждать, довольствоваться возможным, не желать большего, скупиться — да на этом основано все здание реакции...

И вот в среду, 22 июня 1853 года, открылась первая в мире типография вольного русского слова. Первыми изданиями ее были листовка «Юрьев день!» и брошюра «Крещеная собственность».

Это был язык, которого дотоле не знала русская письменность. Герцен как бы распахнул для русских дверь в страну свободного слова. Не его вина, что иные из тех, кого он считал друзьями и единомышленниками, в страхе попятились от резкого дуновения свежего ветра Вольной русской типографии.

Горечью своей Герцен поделился с Марией Каспаровной Рейхель:

«...Я в объявлении сказал: «Вот вам дверь, хотите ли вы воспользоваться — это ваше дело». Типография — запрос...»

Новая деятельность эта — разговор с Россией посредством свободной печати — захватила Герцена. Он занимался — особенно на первых порах — всеми издательскими делами вплоть до всевозможных организационных и финансовых деталей. Он хотел изданиями Вольной русской типографии встряхнуть Россию, пресечь ее спячку. Он писал с возмущением Рейхель:

«Неужели вы верите, что москвичи что-нибудь делают? Что делает Кетчер и все, кроме Грановского — пребывают в благородном негодовании...»

Издания Вольной русской типографии можно было приобрести в небольшой книжной лавке в районе Сохо. Там же желающим давали на прочет вполне респектабельные французские романы.

В глубине лавки стоял ее хозяин польский эмигрант Станислав Тхоржевский, плотный невысокий мужчина в длиннополом сюртуке. Со своими маленькими голубыми

приветливыми глазками и большой русой бородой он походил на сказочного доброго «краснолюдка», как в Польше называют гномов. Остатки седоватых кудрей он старательно зачесывал назад в надежде выдать свою плешь за высокий лоб, из чего видно, что Тхоржевский был не лишен некоторого кокетства. Впрочем, это был человек прямодушный и решительный. Герцена он обожал и всегда был озабочен мыслью доказать ему свою преданность. С течением времени он врос в семью Герценов и сделался как бы ее членом. По воскресеньям он непременно обедал у Герцена, как, впрочем, и многие другие эмигранты.

Посещение типографии, особенно на первых порах, доставляло особенную радость Герцену. Ни с чем не сравнимо было волнующее сознание, что между ним и читателем нет никаких преград. По контрасту, к которому всегда привержено воображение Герцена, он вспоминал отечественные комитеты, где сидели цензоры, эти заплесневелые чинуши с насупленными богомерзкими харями. С напускной важностью они рыскали в рукописях в поисках крамолы. Сколько раз там, в России, восклицал мысленно Герцен, глядя на них:

— Когда же, черт побери, пойдет на вас мор?!

И сам себе отвечал, не пропуская случая заклеймить еще раз страшную язву России — чиновничество:

— Только когда переменятся устои, на коих зиждется наше государство, ибо они — эта чиновная тля — неотъемлемая часть его, черти-охранители, а попросту говоря, жандармы по идейной части. Ведь инквизиционно-канцелярское управление в России,— прибавлял Герцен,— сегодня такое же, как при батюшке Иване Грозном.

Впоследствии к изданию и распространению герценовских произведений примкнет Николай Трюбнер, коммерсант, пожалуй, широкого масштаба. Среди эмигрантов и приезжих русских очень популярен был его книжный ма-

газин на Патерностер-роу близ собора святого Павла. Это был человек совсем иного склада, нежели Тхоржевский. Он очень нравился самому себе. Конечно, он умело и деловито вел свое книжное хозяйство, много содействовал распространению русских книг из типографии Герцена. Деловые успехи несколько вскружили ему голову. Он стал воображать себя видным коммерческим деятелем и даже вполне серьезно отнесся к шутке одного эмигранта, уверившего его, что русский народ когда-нибудь поставит ему памятник.

Пока же забота о первенцах Вольной русской типографии лежала на Тхоржевском. Оба произведения вышли из-под пера Герцена. Они были разные даже по жанру. Если «Юрьев день!» просто листовка, короткая прокламация, пачками по нелегальным каналам переправлявшаяся в Россию, то «Крещеная собственность» — подробный красноречивый анализ крепостного права. Как и прочие сочинения Герцена на эту тему, «Крещеная собственность» не свободна от народнических иллюзий. «Народ русский все вынес, но удержал общину, община спасет народ русский...» В то же время там даны характеристики царского режима, краткие и меткие, как выстрелы:

«Меня поражает удивлением безнадежная неспособность нашего правительства во всех внутренних вопросах...»; «У нас везде во всем неопределенность и противуречие — обычаи, не взошедшие в закон, но исполняемые; законы, взошедшие в свод, но оставляемые без действия...»

«Юрьев день!» и прочие издания Герцена, да и самый факт рождения вольного русского книгопечатания вызвал в среде московских друзей Герцена совсем не ту реакцию, на которую он рассчитывал. Они испугались. В их недовольстве был и оттенок раздражения, вызванный такими пассажами из «Юрьева дня!»:

«Куда делось меньшинство, которое шумело в петер-

бургских и московских гостиных об освобождении крестьян?..»

Или:

«Наше сонное бездействие, вялая невыдержка, страдательная уступчивость наводят грусть и отчаяние... если б не юношеская, полная отваги и безрассудства история Петрашевского и его друзей, можно бы было подумать, что вы поладили с Николаем Павловичем и живете с ним душа в душу».

Устрашенная либеральная общественность России ответила Герцену поездкой Михаила Семеновича Щепкина в Лондон.

Радостно было Герцену увидеть патриархальное, как он выразился, лицо старого друга. По внешности он нисколько не переменился — та же серая шляпа и толстая трость в руке и по-прежнему в пятнах жилет и лацканы на пальто. И то же обаяние ума, доброты и какого-то особого душевного уюта. Все так же в разговоре рука энергично сжимается в кулак, как бы подчеркивая отдельные слова. Он, как и прежде, говорил Герцену «ты»: все-таки он старше на четверть столетия.

Как водится, разговор начался с воспоминаний.

— Ты помнишь, Александр, когда мы познакомились?

— Бог мой, да мы знакомы целый век. Ну конечно, у Кетчера. Там были Огарев и Сатин. Я хохотал, Михаил Семенович, как безумный, слушая ваши рассказы.

Щепкин окинул взглядом портреты на столе у Герцена. Взгляд его задержался на фотографии Натали. Видимо, он хотел сказать что-то, но Герцен предупредил его:

— Этого не касайтесь. Рана еще свежа.— Он добавил упавшим голосом: — И вряд ли когда-нибудь затянется...

Щепкин вздохнул. Чтобы отвлечь Герцена от горестных мыслей, резко переменил тему, снова вернул беседу к воспоминаниям о славных беззаботных московских временах:

— А помнишь ли ты мои чтения у Новосильцевых в их доме на Мясницкой?

— Ну как же! Кружок «любителей чтения»! До сих пор в ушах у меня Гоголя «Тяжба» и «Заколдованное место».

Некоторое время разговор держался в рамках этих идиллических лет. Оба собеседника словно опасались свернуть на современность. В этом было что-то искусственное. Да и в самом Щепкине проглядывала какая-то напряженность, словно то главное, что он хотел сказать, он еще таил в себе, не решался выпустить, что ли.

Ему помог стоявший на столе у Герцена портрет Белинского.

Щепкин повертел его в руках.

— Н-да, это был человек,— протянул он.

И потом сразу, точно решившись шагнуть в холодную воду:

— Знаешь ли ты, Александр, что после твоих здешних писаний о Белинском даже имя его у нас упоминать нельзя.

Герцен возразил пока еще мягко, но уже несколько устало, обычной своей присказкой, она у него всегда была наготове для отражения таких вот несостоятельных обвинений:

— Да вся силенка-то моя основана на том, что я говорю правду.

С этого и пошло.

Постепенно выяснялась истинная цель миссии Щепкина в Лондоне.

— Известно ли тебе, Александр, какое тяжелое чувство в нашей среде от твоей эмиграции и от твоего сочинения «О развитии...» — как там? — не то революционных, не то социалистических идей в России?

Герцен с грустью смотрел на старика. Он все-таки надеялся, что в Щепкине возобладает та «своеобразная

струя демократии и иронии», которая отличала его прежде.

Но видно, время здорово подмяло под себя московских друзей. Вот чем объясняются эти страшные слова в письме Грановского:

«...Если бы ты мог видеть, что мы стали...»

А Щепкин неумолимо продолжал:

— Твое «свободное слово» сконфузило и обдало ужасом всех нас. Кавелина уж вызывали к властям для разноса.

Оказалось, что Щепкин привез в Лондон целую программу, выработанную московскими друзьями. Согласно этой программе Герцен должен прекратить свои революционные писания, уехать в Америку, дать забыть о себе, а года через два-три попроситься обратно в Россию...

Программа эта ужаснула Герцена.

«Я на вашем месте,— писал он с горечью московским друзьям,— радовался бы, что хоть кому-нибудь удалось вырваться с языком».

Московские друзья... Не было ли теперь в самом образе этом чего-то устарелого, отжившего? «Наши состарившиеся друзья,— теперь называет их Герцен,— московские доктринеры». Не так-то легко отринуть старые дружеские привязанности. Здесь возникает сложное чувство. Герцен и возмущен москвичами, и негодует на них, но и жалеет их, скорбит о них, говорит, что они «представляют несчастное, застрадавшееся, затомившееся, благородное поколение — но не свежую силу, не надежду...».

Грустно было прощание Герцена и Щепкина.

Герцену казалось, что в его лице он прощается с Россией. Да, Щепкин — это Россия настоящая, коренная, и от земли, и от интеллигенции. Это не какой-нибудь Сазонов, ставший полуиностранцем, не Энгельсон, не Кельсиев, из которых сильно повыдохлось их русское. Нет, Ми-

хаил Семенович — Россия с ее широтой и с ее приниженностью, с ее талантливостью и с ее робостью, с ее высокой духовностью и с ее рабской приземленностью...

Через некоторое время московская поэтесса Ростопчина, ревнуя к низкопробной славе Языкова, сочинила пасквиль «Дом сумасшедших», где есть строки и о Щепкине как о стороннике Герцена:

Подражая демократам,
На властей, на бар гремит...
Став Терситом, став Сократом,
Бедный старец нас смешит.

Значит, все же лондонская встреча прошла не без некоторого революционизирующего влияния на Щепкина. Кое-что от герценовского свободомыслия все же запало в его, по слову Герцена, «надломленную рабством натуру».

В московских и питерских салонах, хоть и шепотком, хоть и иносказательно, а все-таки еще позволяли себе в порядке салонной болтовни погромыхать сдержанным вольнодумством.

Но в отечественной печати — бог мой! — какая казенная серятина!

Когда до Герцена дошли последние номера «Москвитянина» и «Современника», он воскликнул:

— Какая страшная пустота, и что за литератёры! С какой важностью разбираются романы, стихотворения — точно все это пишется учениками гимназии...

И он еще увереннее утверждался в великой пользе существования своего детища, Вольной русской типографии, ибо именно она, а не трусливая скороговорка московских и питерских журналов была подлинным голосом России. Все дело было в том, чтобы раскрепощенное слово достигало России и широко там расходилось.

Этого удалось достигнуть.

## *Если предположить, что...*

Глендуар: Я духов вызывать из тьмы умею.
Готспер: И я, как, впрочем, каждый человек. Все дело в том лишь, явятся ли духи...

*ШЕКСПИР*

Герцену сообщили, что знаменитый английский историк Томас Карлейль — его поклонник. «С того берега» вызывает его восхищение. Он высоко ценит полные ума и блеска «миниатюры» Герцена. Добавляли при этом, что Карлейль ищет случая познакомиться с ним.

То, что Карлейль называл «миниатюрами», были живые отклики Герцена на политические злобы дня. В листке — одном из первых изданий Вольной русской типографии — «Поляки прощают нас!» Карлейля поразила своей новизной и меткостью мысль Герцена:

«Александр, после 1812 года, победил всю Европу, а взял только Польшу. Его войска, вступая в Париж, завоевали, собственно, одну Варшаву».

Сам приверженный к картинной образности, Карлейль не мог не восхититься такой характеристикой польской эмиграции:

«Перейдя границу, они взяли с собой свою родину и, не склоняя головы, гордо и угрюмо пронесли ее по свету».

А прочтя речь Герцена в годовщину польского восстания, Карлейль отметил ее высокое остроумие, вкладывая в это понятие не внешнюю игру словами, а глубокую внутреннюю значительность. И как пример приводил объяснение Герцена, почему он вопреки своему обыкновению не произносит свою речь изустно, а читает ее:

«Вы знаете, что я провел мою жизнь в стране, где превосходно учатся красноречиво молчать — и где, конечно, нельзя было научиться свободно говорить».

Кстати, по поводу другой речи Герцена, произнесенной на митинге в Сент-Мартинс-холле в Лондоне, Карлейль сказал, что это «речь о революционных началах и элементах в России; много в ней мощного духа и сильного таланта...»

Знакомство произошло незадолго до Нового года. Разговор их напоминал иногда встречу двух родственных душ, которые наконец нашли друг друга. А иногда — состязание двух действующих вулканов: кто кого превзойдет в огнедышащей силе?

Герцен считал, что талантливость Карлейля граничит с гениальностью. Его не пугала парадоксальность английского историка, она даже нравилась ему. Он находил в Карлейле, по собственному выражению, «крупицу безумия». Иногда они и спорили, и Герцен прибегнул однажды для опровержения Карлейля к авторитету... Карлейля:

— Читали ли вы когда-нибудь «Историю революции» Карлейля? Вот писатель, который гораздо лучше и глубже понимает, нежели вы.

Это вызвало взрыв хохота.

Однако был один момент в их общении, который породил действительно серьезные разногласия. Карлейль приписывал русскому народу особое свойство: талант повиновения. Это вызвало резкий отпор Герцена. Он противопоставил этому странному парадоксу Карлейля другой талант, присущий русскому народу: талант борьбы. Он приводил исторические примеры заговоров, бунтов, мятежей, народных движений против деспотизма.

— Но погодите,— говорил он,— Россия еще не сказала деспотизму своего последнего гневного слова.

Герцен находил, что Карлейль, как и Мишле, впал в распространенную ошибку западных историков, пишущих о России: подменял русский народ русской властью. Историки ставили между ними знак равенства.

Герцен развивал эту мысль в разговоре с Энгельсоном,

с которым тогда еще сохранял добрые отношения. В ту пору Герцен надеялся, что Энгельсон будет помогать ему в делах Вольной русской типографии и как организатор, и как автор. Герцен считал, что Энгельсон — прирожденный памфлетист, обладающий даром, как он выражался, «языкомерзия».

— При всем глубоком уважении к Карлейлю,— рассказывал ему Герцен, в некотором возбуждении шагая по комнате,— я резко возражал против его утверждения, что русскому народу «свойствен талант подчинения». Это Россия оболганная, стало быть, не Россия. Я заявил, что сходную мысль высказывает немецкий экономист Гакстгаузен, который пишет даже о «величии повиновения». Покровительственно похлопывая по плечу русский народ, он считает это придуманное им свойство отличительной добродетелью русских. Я сказал Карлейлю, что не поздравляю его с таким совпадением во мнениях с этим монархическим демагогом. Я доказывал, что, напротив, русский народ обладает талантом борьбы. Но послушайте, Энгельсон, ведь самое горькое в том, что — положа руку на сердце — доля правды в утверждении Карлейля есть.

— Вы противоречите себе! — даже возмутился Энгельсон.

— Возможно. Но это потому, что противоречие есть в самом народе. Ведь если бы не было в России борцов за свободу, то не было бы в ней и такого развития всякой полицейщины. Россия порядком отстала от Европы по части технической цивилизации, но чрезвычайно успела в развитии полиции, особенно тайной.

— Это уже другая тема,— возразил Энгельсон.

— Нет, все та же! — вскричал Герцен.— Мы, русские, очень талантливы в музыке, балете, в литературе, в математике, наконец, черт возьми!

Он замолчал. Потом — упавшим голосом:

— И в политическом сыске тоже.

— Вы называете это талантом? — сказал Энгельсон удивленно и с оттенком презрения.

Герцен пожал плечами:

— Вы правы, жаль слова. Ну, не талантливы, а усердны, деятельны.

Еще одну черту сходства находил Герцен между столь разными учеными, как Карлейль и Мишле. У обоих «картины хороши, а рассуждения по образцу Жан Поль Рихтера вздорны».

Между прочим, и здесь одно из совпадений, не столь уж редких, Герцена с Марксом, который писал о Карлейле: «Он вновь разыскал устарелые обороты и слова и сочинил новые выражения по немецкому образцу, в частности по образцу Жан Поля».

Какое согласие, если не во взглядах, то во вкусах!

В другой раз Герцен ставит рядом имена обоих историков в своей работе ««Ренессанс» Ж. Мишле»:

«Разумеется, из книги Мишле нельзя научиться истории XVI столетия, так, как из книги Карлейля нельзя научиться истории революции...»

Но если у историка Карлейля нельзя научиться истории, то можно получить чисто эстетическое наслаждение, пишет Герцен, от «нескольких картин поразительной художественности» в его работах.

Герцен стал частым и желанным гостем в доме Карлейля.

Стояла ночь, когда Герцен возвращался от Карлейля. Домой не хотелось. Он полюбил эти ночные прогулки по городу.

«...Я люблю Лондон ночью,— признавался Герцен воспитательнице его детей Мальвиде Мейзенбуг,— совсем один я иду все дальше и дальше. На днях я был на Ватерлооском мосту, там никого не было, кроме меня, я долго просидел там...»

Не совсем так, если быть точным. Потому что следующая за этими словами фраза: «Я долго просидел там» — вызвана именно тем обстоятельством, что некоторое время Герцен на мосту Ватерлоо был, ну, скажем, мягко выражаясь, не совсем один.

Да и трудно придумать более подходящее место для уединенной встречи. Для этого, собственно, надо сделать лишь одно небольшое допущение: если предположить, что Ватерлооский мост пересекает не только пространство, но и время, то во всем дальнейшем нет ничего сверхъестественного. В частности, в том, что, взойдя на мост Ватерлоо и присев на скамью, подпертую двумя изваяниями железных верблюдов, сняв шляпу, чтоб отереть взмокший лоб, и одолевая легкую одышку, Герцен внимательно вгляделся в меня, сидевшего рядом и почтительно ему поклонившегося. Что-то знакомое, видно, почудилось Герцену во мне при тусклом свете чугунного фонаря, со скрипом качавшегося над нашими головами под легким ветром с реки. Логичнее всего предположить, что он признал во мне одного из приезжих из России, обильно, особенно по воскресеньям, то ли из политического сочувствия, а то и просто из любопытства посещающих дом Герцена.

Во всяком случае, он снисходительно кивнул мне в ответ. А я заметил его еще издали, когда энергичным шагом, сильно маша руками, он миновал Соммерсет-хауз, набитый бог весть какими канцеляриями лондонского графства.

Отдышавшись, он сказал:

— Что-то пазуха у меня стала уж очень обширная.

— Вы хотите сказать: талия? — осторожно спросил я.

— Ну, это ж несовпадающие понятия. Язык — вещь хитрая и сложная. Не подумайте, что я чураюсь иных слов. Когда нужно, я их вставляю в натуральном виде. Ханжество в языке так же отвратительно, как и во всем другом. Какое счастье опустить руку в эту бездонную мешанину

слов, коей является язык, и извлечь нужное, точное, единственное прицельное слово!

Эту маленькую тираду он выпалил единым духом. Я заметил, что он проглатывает концы слов,— признак усталости. Я сказал ему об этом.

Он распростер руки в слишком длинных, как мне показалось, рукавах вдоль спинки скамьи, откинулся на нее поудобнее, проговорил небрежно, глядя в мутно-рыжеватую ночную даль:

— Всякий механизм требует отдыха. А человек, в сущности, небольшая передвижная тепловая и электрическая машина.

Как обычно, пошутив, он остался серьезным, он только взглянул на меня, слегка щуря глаза. Потом он неспешно огладил свою темно-русую лопатообразную бороду, покосился на нее. Там уже было изрядно серебряных нитей. Он вздохнул и сказал:

— А в общем, я хотел бы знать, кто я: величественная руина прошлого или все еще горячая кровь, текущая в ваших жилах и толкающая вас на действия?

Был ли этот вопрос действительно обращен ко мне или из числа риторических, то есть безответных, я так и не понял. Возможно, что ему просто не терпелось выговориться. Случайный прохожий самая для этого подходящая аудитория. На всякий случай я сказал:

— Простите, но меньше всего вы похожи на сентиментального мечтателя.

Он сказал задумчиво:

— Вы полагаете? А я считаю, что иные воспоминания о событиях драгоценнее самих событий. Я, например, никогда не чувствовал всей полноты наслаждения в самую минуту наслаждения. Само собой разумеется, что речь идет не о чувственном наслаждении: котлеты в воспоминании, право, меньше привлекательны, нежели во рту.

Снова лукаво блеснул глазами.

Я решился сказать:

— Я давно знаю, что вы так думаете.

Он повернулся ко мне и, кажется, впервые посмотрел на меня внимательно:

— Откуда?

— Из ваших «Записок одного молодого человека».

— Так... Значит вы знаете меня.

Он проговорил это несколько разочарованно. Было похоже, что он утратил всякий интерес ко мне. Одно дело — случайный прохожий, некто из тьмы, род привидения, и совсем другое дело — очередной безвестный почитатель — боже, как они ему приелись!

Он пробормотал рассеянно и почему-то по-итальянски, словно забыв обо мне:

— Coricare e non dormire, servire e non gradire — piu tosto morire [1].

Я даже привстал — так меня это взволновало — и не удержался от восклицания:

— Это поразительно!

Он поднял брови:

— Что?

— А то, что на другом конце мира и на другом конце времени, еще в средние века, другой гений, великий армянский поэт Нарекаци, писал:

Не дай испытать мне муки родов и не родить,
Скорбеть и не плакать,
Покрыться тучами и не пролиться дождем,
Идти и не дойти.

Он явно заинтересовался:

— В средние века, говорите? Право, человечество мало меняется. Есть образы, которые, как земная ось, пронизывают время. У нас мало шансов сказать что-нибудь но-

[1] Ложиться спать и не засыпать, служить и не угодить — лучше уж умереть *(ит.)*.

вое. Если предположить, что лет этак через полтораста найдется чудак, который вздумает писать обо мне, то неизбежно он коснется своим пером и моих современников разной масти, скажем Кетчера и Щепкина, Грановского и Вигеля. Но все они в то же время — и Кетчер, и Грановский, и Щепкин, и Вигель — будут каким-то образом и его современники, точно так же, как в мой образ невольно залетят осколки из собственной личности автора.

— О, это невозможно! То есть, конечно, о вас, Александр Иванович, непременно будут писать. Однако вы писатель до того вне всяких форм и норм, что писать о вас в тривиальном жанре рука не подымется.

Но он, казалось, не слушал меня. Нагнулся над оградой моста. Лицо его, освещенное фонарем, возникало из окружающего мрака, как если бы его писал Рембрандт с его пристрастием к световым эффектам. Фонарь качался под ветром, и свет гулял по его лицу, но оно оставалось неизменным в своей печали, энергии и отваге. Я знал его портрет, рисованный когда-то Витбергом еще в Вятке. Там Герцен божественно красив. Ныне античная правильность его черт упрятана за этой темно-русой полуседой бородатостью.

— Вы слышите Темзу? — спросил он, все еще нависая над рекой.

Я прислушался. Мне вдруг почудилось дыхание моря. Я так и сказал.

Он посмотрел на меня с сожалением.

— То есть, я хочу сказать,— спохватился я,— что море, конечно, отсюда далеко, но сознание, что река в конце концов...

Он не слушал меня.

— Морские волны шумят, как гекзаметры. А здесь,— он презрительно махнул рукой в чернильную пустоту, где невнятно журчала река,— бессвязное лопотанье подвыпившего боцмана.

Я никак не мог подвести разговор к тому, что меня интересовало больше всего и ради чего, собственно, я и оказался на мосту Ватерлоо. Так и не найдя нужной трассы к этой цели, я с отчаяния, которое, говорят, иногда придает смелости, рванул в открытую, напрямую:

— А как ваша работа над этим большим сочинением? Ходят слухи, что уж есть и название. Судя по нему, это, что же, нечто исповедальное?

И тут же поправил себя, опасаясь, что он не примет последнего моего слова, как слишком современного:

— ...я имел в виду — автобиографическое?

Он ответил не сразу:

— Нет, погодите... Исповедальное?.. В этом что-то есть. Мне это слово нравится. Но вы знаете, и «Исповедь» Руссо, и «Поэзия и правда» Гёте, и «Исповедь» Огарева, и все прочие публичные самооголения в истоке своем, я уверен, имеют потребность избавиться от каких-то душевных избытков, может быть даже от душевных отбросов, и таким образом очиститься...

Я подумал:

— «Опавшие листья» Розанова...

А вслух сказал:

— Если это верно, то только для некоторых книг, довольно нечистых, иногда просто нечистоплотных.

Какое там! Он не слушал меня, говорил возбужденно, увлеченный развитием мысли, даже вскочил и короткими быстрыми шажками ходил, едва не бегал вдоль скамьи взад-вперед.

— А так как,— почти кричал он, и голос его гулко разносился над ночной Темзой,— некоторые движения души ведут свое происхождение от физических потребностей животного, каким когда-то был — а отчасти и остался — современный человек, то можно допустить в виде разумной гипотезы, что все эти исповеди — и литературные, и религиозные — происходят от чисто физиологической функции

организма периодически избавляться от всяких ненужных скоплений внутри себя. Разумеется, такое происхождение исповеди не лишает ее в известных случаях высокого нравственного значения. Я указываю только на материальное происхождение этого нравственного побуждения.

— Мне кажется,— робко возразил я,— что ваши рассуждения — это, так сказать, излишки материализма.

Он отмахнулся от меня досадливым движением руки:

— Не будем уточнять. Нет, нет, не будем! Уточнять — это значит вгонять в точку. А правда жизни волнообразна, прихотлива, порой противоречива. И если вы уж заговорили о том произведении, над которым я тружусь, то не ищите полку, на которую можно его положить. Такой полки нет. Одно скажу вам: это будет по замыслу моему нечто универсальное, то есть всеохватывающее: и мое, и общественное, и личное, и историческое,— все это будет связано...

Немного подумав (я и дышать боялся, чтобы не прервать ток его мыслей), он добавил:

— ...как и в жизни, где нет ничего отдельно существующего, изолированного. В природе ведь нет вакуума.

Он опустился на скамью и сказал уже спокойнее:

— Исповедальная проза — это не такая, где автор пишет о себе хорошее. А такая, где он пишет о себе плохое. Ибо исповедь — это покаяние, в данном случае публичное. Единственная опасность, которая грозит автору на этом пути,— это самовозвеличение, втаскивание себя на пьедестал. Это так же противно, как кокетливая игра в скромность. Думаю, что принятый мною объемный метод описания предохранит меня от этого. Величие Рембрандта нисколько не умаляется от того, что он был скупой. Так же, как жестокость и кровожадность Тиберия нисколько не оправдана тем, что он был глубокомысленным и проницательным монархом. Я могу сделать вам признание...

Я радостно насторожился.

— Я не знаю, каковы ваши пристрастия в литературе,— продолжал он,— мне, например, некоторые прославленные сочинения с твердой репутацией классических совсем не по вкусу. «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо скучен. «Новую Элоизу» Руссо я не мог дочитать до конца. «Герман и Доротея» Гёте — произведение мастерское, но утомляющее до противности.

Он говорил это, не глядя на меня, мое мнение, по-видимому, его и не интересовало, хотя я мог бы значительно расширить список хилых и несуразных литературных изделий, но не хотел смешивать эпохи.

— А может быть,— пробормотал он устало,— сказываются годы и я просто становлюсь старым ворчуном.

Мне было больно слышать это от него, и я возразил горячо:

— В вас, Александр Иванович, хватает этого жизненного порыва на добрый десяток людей!

Он ничего не ответил, но не мог скрыть удовлетворенной улыбки. При всем своем гении он любил похвалы и даже иногда был податлив на лесть.

О чем он задумался? Глаза его неподвижно устремлены во что-то былое. Казалось, он забыл о моем присутствии. И все же я решился прервать его. Когда еще мне представится случай узнать о великом произведении из первоисточника? Самые богатые архивы, самые тщательные разыскания, самые счастливые гипотезы не могут сравниться с прямым общением с автором.

Тем более, что я не был уверен, захочет ли этот оборотень, которого зовут Время, предоставить мне еще раз возможность встречи с Герценом.

Срывающимся от волнения голосом я спросил:

— Давно ли и почему вдруг вам захотелось писать это?

Он живо повернулся ко мне:

— Вы о «Былом и думах»?

Я уже и говорить не мог, только кивнул головой.

— Как вам сказать... И давно, и недавно. Еще в вятской ссылке, то есть два десятилетия назад,— боже, каким юным я был тогда! — я затеял описать примечательные встречи в моей жизни. Да не только встречи, вообще выдающиеся моменты моего существования, все яркое, цветистое — и пожар Москвы, в год моего рождения, когда я сосал молоко под выстрелами, и встречу с Огаревым, и учебные годы, и годы странствований, и эпоху любви, эпоху моей Наташи... Конечно, это работа не преходящая, может быть, на всю жизнь... Ну, а второй приступ этого влечения к мемуарам...

Тут оживление покинуло его. Он стал говорить затрудненно. Оказывается, и ему иногда надобно время, чтобы отыскать слово, равноценное мысли.

— ...к большому волюму — под влиянием страшных событий, несчастий, ошибок тех лет, что погубили ее...

Я не осмеливался переспрашивать. Я, конечно, понимал: «ее» — это Натали.

Голос его упал, но говорить он продолжал, губы его шевелились, но я только расслышал:

— ...надо было преодолеть застенчивость сердца...

Он мотнул головой, словно отгоняя от себя то скорбное, что на него вдруг накатилось. Он сказал просто и серьезно:

— Я посвящу эту книгу Нику.

Он улыбнулся, по-видимому вспомнив что-то забавное. Заметив мой загоревшийся от любопытства и робко вопрошающий взгляд, он сказал:

— Одна ревнивая женщина замышляла отравить меня, чтобы Огарев остался только для нее. Ибо я для него — весь его мир. Как и он для меня.

Я молчал. Наверное, он истолковал мое молчание как возражение, потому что он сказал настойчиво и даже с некоторым вызовом:

— Я привык с Огаревым к безграничному откровению.

И он стиснул мне руку, прощаясь.

— Ох...— простонал я невольно.

Я и забыл, что он славится своими крепкими рукопожатиями, некоторые даже вскрикивают от боли.

Он вглядеелся в меня.

— Это похоже на сон...— пробормотал он.— Признайтесь, вы вызвали меня посредством спиритического сеанса? Лондон сходит с ума по спиритам.

— Нет, я не прибегал к спиритизму. К тому же я считаю его шарлатанством. А в некоторых случаях — легкой формой психического заболевания.

— В таком случае как называется та сила, которую вы применили, чтобы привести меня сюда?

— Воображение.

Он исчез мгновенно, словно растворился в ночи.

Был ли он здесь?

Я вспомнил сказанное им однажды:

— Что такое чистая мысль, в самом деле? Это — привидение, это духи бесплотные, которые видел Данте и которые, хотя и не имели плоти, но громко рассказывали ему флорентийские анекдоты.

Так он сказал однажды Нику Огареву, человеку, которого он и вправду любил больше всех на свете. Тот отвечал ему тем же.

## *Огарев*

> Мне надоело все носить внутри. Мне нужен поступок.
>
> *ОГАРЕВ*

Только что прибыли Огаревы.

Освободившись из объятий Герцена, Николай Платонович запел слегка дребезжащим, но верным голосом:

— «Cari luoghi, io vi ritrovas» [1].

— Помилуй бог,— сказал Герцен, смеясь,— когда ж ты их видел!

— Ты — здесь. А мое место всегда рядом с тобой.

— Консуэла...— шептал Герцен, обнимая худенькую остроносую жену Огарева.

Она смотрела на него с робостью и обожанием. Да, так называла ее Натали, когда Наташа Тучкова была еще совсем девчонкой,— «Consuelo di sua alma...» [2]. Сколько вставало при этом воспоминаний...

Разговор, поначалу беспорядочный, то радостный от ощущения своей близости, то грустный от накатившегося прошлого, такого, в сущности, недавнего, а кажется, прошла пропасть времени, именно пропасть, на другом краю которой они — молодые, беспечные... Сейчас впервые за много лет на Герцена повеяло чем-то бесконечно дружеским — до самоотвержения, чем-то глубоко своим. «Я опять мог,— занес он перед сном в свой дневник,— с полной теплотой и без утайки рассказывать то, о чем молчал годы...»

— Вы не поверите...— начала, волнуясь, Наташа.

Герцен тотчас перебил ее:

— Ты не поверишь, ты, ты!.. У нас в семье все говорят друг другу «ты», даже дети взрослым. Вы оба — наши.

Наталья покраснела, и это было так несвойственно ей, отличавшейся скорее мужскими ухватками, что муж посмотрел на нее с искренним удивлением.

Но нет, она все-таки не решилась сказать «ты» этому богу своей юности. Она обошлась без обращения:

— Когда сгорела наша Тальская бумажная фабрика...

Герцен кивнул головой, чуть улыбнувшись. Ему ли не знать, когда он отвалил Нику сорок пять тысяч на эту затею в период его индустриальных увлечений. Разумеется, этот долг он никогда не востребует, разве он и Ник не

[1] Дорогие места, я опять вас увидел *(ит.)*.

[2] Утешение моей души *(ит.)*.

одно? И разве его самого не увлекла идея приохотить крестьян к вольнонаемному, то есть свободному, труду и таким путем превратить крепостных мужиков в промышленных пролетариев? Ради такого эксперимента не жаль... Э, да что говорить...

Он прислушался к словам Наташи:

— ...конечно, несчастье, горе, разорение. А мы с Ником посмотрели друг на друга и — грешным делом — рассмеялись, потому что мысль у нас одна: разорены, но свободны! Теперь можем ехать к Герцену.

Огарев молвил в своей задумчивой манере:

— Конечно, жалко фабрики. Но... Чувствовал ли ты когда-нибудь, Александр, всю тяжесть нашего достояния? Друг! Уйдем в пролетарии. Иначе задохнешься...

В нежности, с какой Герцен сейчас смотрел на Огарева, был оттенок покровительства, что-то отцовское. Он знал, с какой легкостью Огарев расстается с собственностью. Но знают ли об этом другие? Знают ли они, что он отпустил на волю свыше четырех тысяч крепостных крестьян села Белоомут, доставшегося ему по наследству, что он передал освобожденным крестьянам богатейшие земли за ничтожную, в сущности, плату, да и ее-то взял нехотя, не в силах противиться исступленным требованиям своей первой жены Марии Львовны Рославлевой.

Да и вообще, знает ли кто-нибудь, насколько Николай Огарев — человек не для себя, а для других? Хотя — мысль Герцена всегда двигалась в противоположениях — очевидно, что именно эта самоотдача Огарева является его душевной потребностью, и, стало быть, в этом он тоже человек для себя.

Конечно, Николай Платонович — фигура недовыраженная, почти весь в тени своего великого друга. Гигант Герцен прочно заслонил крупную личность Огарева. Однако в Огареве это не рождало никакого чувства ущербности. И не только потому, что он преклонялся перед

мощью Герцена, но и потому, что от природы ему были чужды зависть, обидчивость, тщеславие, жажда власти, весь этот строй низменных мещанских страстей, иногда, впрочем, одолевающих даже и незаурядные натуры.

При этом можно думать, что Огарев при всей своей стихийной самобытности испытывал потребность, как мы сейчас понимаем, почти непреодолимую,— прилепиться душевно к чьей-то сильной воле.

Какое-то время безоговорочным властителем его дум был Станкевич. При распахнутости своего характера он открыто признавался в этом во всеуслышание хотя бы, к примеру, Грановскому: «Я читаю не книгу, а нечто лучше книги: душу чистого человека, то есть переписку покойного Станкевича...»

Не отсюда ли, не от этой ли тяги к чужому костру, в пламени которого отогревалась его зябкая душа, два первых брака Николая Платоновича, ибо и Рославлева, и Тучкова были волевые натуры. Когда же впоследствии в Лондоне он сошелся с Мери Сетерленд, то и в этой на первый взгляд тихой и безропотной женщине зоркий взгляд Герцена быстро разгадал властный характер.

Отсюда же последнее жизненное увлечение Огарева заговорщицкими затеями Бакунина и Нечаева, вызывавшее столь мучительное негодование Герцена.

Огареву же переходы эти доставались легко. У него была память счастливая на невзгоды: он легко забывал. Но можно ли считать, что это свойство только памяти? Правда, Огарев жаловался на нее Герцену:

— Память меня пуще всего оскорбляет, Герцен. Я бы даже готов употребить медицинские или диетические средства для исправления ее.

Но после признания в стихах:

Люблю ли я людей, которых больше нет,
Чья жизнь истлела здесь в тиши досужной?

Но в памяти моей давно истлел их след,
Как след любви случайной и ненужной,—

следует сказать, что тут беда не столько в памяти, сколько в особых свойствах натуры, особенно поразительных на фоне всегда страстного и пылкого ответа Герцена на жизненные впечатления.

— Да что мы стоим! — спохватился Герцен.

И все же они продолжали стоять, точно в этом положении они могли лучше вглядеться друг в друга. Огарев чуть повыше Герцена, а фигурой схож, оба широкоплечие, коренастые. И бороды, и густые шапки волос как-то уподобляли их друг другу. У Огарева, правда, побольше седины в темно-русых волосах, хоть он и помоложе.

— Не спрашиваю тебя о здоровье,— сказал Герцен.— На всякий случай — ты уж примирись — ничего крепкого за завтраком... Только легкое бордо. А еще лучше pal al [1], я к нему здесь пристрастился.

Он знал, что падучая, которой был подвержен Огарев, несовместима с крепкими напитками.

— Я борюсь с обмороками сном,— сказал Огарев задумчиво, и большие серые навыкате глаза его погрустнели,— поздно встаю, ты уж не обессудь.

— Это, положим, всегда за тобой водилось,— засмеялся Герцен.

За завтраком — легкая перепалка. Покуда — разведка боем. Плацдарм — философия. Поле сражения — Гегель.

— Охота тебе,— говорил Огарев в своей будто апатичной, однако неотвязно-настойчивой манере,— охота тебе, Герцен, так восхищаться органикой. Я имею в виду натур-

[1] — светлое пиво *(англ.)*.

философию Гегеля. Перечти и ты увидишь, что весьма немногое удовлетворительно и что половина состоит из натянутых абстракций, неопределенных слов и играния мыслью...

Герцен полуприкрыл глаза. Им овладела сладкая печаль. Здесь, в глубине Англии, на пятом десятке лет на него вдруг повеяло их молодыми московскими спорами в накуренной комнате Ника у Никитских ворот. Так и казалось, что сейчас ворвется размеренный басок парадоксального юноши Сазонова и пылкое громыхание задиры Кетчера.

Глубокое и давнее — с отроческих лет — душевное сродство Герцена и Огарева, по-видимому, не выдохлось от долгой разлуки. Огарев тотчас почувствовал, что он показался Герцену наивным, отсталым, провинциальным. Он отхлебнул бордо — что за кисленький квасок, однако! — и сказал, отирая усы:

— Помнишь ли ты, Герцен, что я еще там, в Москве, в нашей идейной оранжерее...

Герцен с удовольствием шевельнул губами, ему понравился этот образ.

...— отставил в угол идеалистические игрушки Шеллинга и Гегеля. Так же, как и агностицизм Канта...

— Ты даже замахивался и при этом страшно таращил глаза на самого Фейербаха, уличая его в узости и приземленности.

— А! Ты помнишь!

Теперь они посмеивались оба.

Наталья Алексеевна скучающе улыбалась.

— Последний номер «Полярной звезды» отменно хорош,— сказал Огарев, став серьезным.— Однако у меня есть проектец...

Он замолчал.

И вдруг прибавил:

— Если нельзя пробить стену, так расшибем головы.

Это сногсшибательное (может быть, правильнее сказать: стеносшибательное) заявление было проговорено таким же ординарным тоном, каким за столом бросают: «Передайте мне, пожалуйста, соль». Таков Огарев, буян и бунтарь в оболочке флегмы.

— Проектец, чую, славный,— сказал Герцен.— А нельзя ли подробнее? О чьих головах, собственно, идет речь?

Наталья рассмеялась. Огарев посмотрел на нее. Она не сводила с Герцена обожающих глаз.

— Мне надо еще обдумать кое-что,— уклончиво ответил Огарев.

После завтрака пошли гулять. На улице пути их разошлись. Герцен и Наталья ринулись в многолюдные места. Сквозь толпы гуляющих они пробрались на перрон железнодорожной станции Тинклер-Гаус. Втиснулись в вагон, переполненный по случаю воскресного дня. Они стояли, держась за руки, им было весело. Вышли на Ватерлоо-стейшн.

В Лондоне они ездили в набитых людьми омнибусах. Проталкивались к стойкам в маленьких кафе.

Огарев, напротив, вышел на окраину Ричмонда, места болотистые, пустоши, поросшие вереском. Дошел до городского сада, там забрался в отдаленную аллею и здесь ухитрялся отыскивать совершенно безлюдные места. Он избегал столпления. Многолюдье могло вызвать у него припадок падучей. Он шел один, опираясь на трость, и размышлял о разговоре, который у него будет с Герценом по поводу его «проектеца».

«Удастся ли склонить Герцена? Не сочтет ли он «проектец» новой эфемерой мечтателя Огарева? Да какой, к черту, я мечтатель! Я могу признать, что я слаб характером, но не духом. За бесхарактерность принимают другое — то, что и сам я, пожалуй, соглашусь признать за

основу моей натуры — беспечность. Ленив? Ну, это слишком. Леноват иногда».

Огарев улыбнулся, вспомнив свою пародию на стихи Баратынского, широко известные по романсу Глинки:

Не обвиняй меня без нужды
В разврате лености моей.
Еще далеко мне не чужды
Корреспонденции друзей.

Однако этот лентяй, живя в деревне, «вдался», по собственному выражению, «в науки и индустрию». Обложив себя книгами, изучал медицину, фармакологию, физику, химию. Приступил практически задолго до вольнолюбивых мечтаний Петрашевского к созданию в деревне коммунистической колонии. Смело? Но смелости ему было не занимать. Когда их обоих, Герцена и его, арестовали, двадцатидвухлетний Герцен по порывистости и прямоте своей натуры выражался на допросах, может быть, с излишней распространенностью — он, Огарев, все отрицал, во всем замыкался и получил от следственной комиссии характеристику: «Упорный и скрытный фанатик». А был ему тогда двадцать один год. О самой ссылке он отозвался: «...ссылка для меня сносная по положению и равнодушная по решимости терпеть».

Да и позже, в Соколове, где среди членов кружка Герцена шли горячие идейные споры, Огарев выделялся крайностью своих взглядов, которые он облекал в предельно острую форму.

Он ведь мечтал о полном преобразовании деревни. Он хотел создать социалистический оазис в крепостной России. Он подходил к этому не с маниловской умиленной мечтательностью, а практически, как ученый, как социолог, как педагог. Помимо всего, им руководил и чистый интерес к науке. Он любил самый процесс познания. Он никогда

не мог противостоять своим увлечениям. Вся его жизнь — длинная цепь непреодоленных соблазнов.

К увлечению химией, Марией Рославлевой, Наташей Тучковой, сенсимонизмом, ботаникой, графиней Салиас де Турнемир, а заодно и ее сестрой Евдокией Сухово-Кобылиной, русской общиной, Фейербахом, фабрикой сукон, Мери Сетерленд прибавилось к закату жизни увлечение анархизмом Бакунина.

В пензенской глуши он затевал создание политехнической школы для крепостных с шестилетним курсом обучения и составил для нее подробный план с учетом последних слов педагогической науки. План был до того совершенен, что, ознакомившись с ним, Натали Герцен за рубежом восхитилась, сказала, что привезет в эту школу своих детей, и советовала привлечь для преподавания виднейших ученых, в том числе Грановского, который, конечно, не откажется по старинной дружбе. Натали не подозревала, что в это время «старинный друг» целомудренно негодовал против Огарева и упрекал его за «искание мелких дешевых наслаждений», «припадки раскаяния» и «успокоение себя в сознании собственного бессилия...».

А другой старинный друг — Герцен,— шутя (но в этой шутке была и доля серьезного), обвинял Огарева в том, что в немалых уже летах еще не достиг совершеннолетия.

— Я, наверно, и не достигну его...— отвечал, вздыхая, Огарев с видом меланхолического молчальника.

Таким и считали многие этого человека, по внешности такого грустного и неразговорчивого. Он и сам иногда выставлял себя таким просто из любви к иронической игре. Это делало Огарева в глазах некоторых современников, наименее проницательных, фигурой загадочной. К примеру, Анненков оказался не в состоянии дать образ Огарева, такой простой по внешности и такой сложный по душевной сути. «Романтический, тихий, мечтательный» — как это далеко от подлинного Огарева! Не будучи в состоянии по-

стичь его, досадуя, что его невозможно свести к элементарной формуле, Петушиная Голова пишет с некоторым раздражением, что характер Огарева заключается «в какой-то апатической, ленивой нервозности». А отсутствие внешних жизненных успехов приводит Тетку Полину (второе прозвище Анненкова) к выводу, что Огарев вообще был неудачником. Как это показательно для Анненкова, падкого на громкие имена и шумных знаменитостей! «Он оказывался,— пишет Анненков об Огареве сожалительно, но и с несвойственной ему категоричностью,— полным неудачником во всем, что ни предпринимал».

Утверждение это достойно рассмотрения.

Начнем с вопроса: не был ли сам Анненков неудачником? Трудно быть неудачником, если не совершаешь поступков. Анненков не действовал. Он только наблюдал и остался летописцем литературных нравов своего времени, не всегда объективным и нередко нуждающимся в поправках.

Что касается Огарева, то если можно с известной натяжкой согласиться с утверждением Анненкова, то следует признать, что Николай Платонович был, так сказать, счастливый неудачник.

Он в общем достигал всего, чего хотел. Влюбившись в Марию Львовну Рославлеву, он тотчас женился на ней. Она показалась ему талантливой, образованной, любознательной, большой поклонницей модных тогда романов Жорж Занд. Это все, конечно, очень приятное прибавление к ее красоте. Ах, как ему нужен был Герцен для совета! Много лет спустя Огарев говорил ему: «Ты бы мне сразу сказал, что все ее добродетели только приманка...»

Конечно, бессознательная, для мужчин. Как только мужчина оказывался в ее обворожительных объятиях, выступали другие черты ее характера: раздражительность, нетерпимость, легкомыслие, ужасающее и всестороннее.

Но в те решающие дни Герцен был далеко... К кому же

пойти за советом? Разве к Тучкову, соседу по усадьбе, инсарскому предводителю дворянства?

— Не стану советовать,— замахал руками Тучков.— Уж вы меня, Николай Платонович, от этого увольте. Какой я судья в таком деликатном деле? Судья должен быть беспристрастным. А мне Рославлевы не любы...

Эти две провинциальные аристократические фамилии, род Рославлевых и род Тучковых, оба из столбового русского дворянства, находились в идейном смысле на противоположных концах русского общества. Алексей Алексеевич Тучков — бывший декабрист, счастливо избегнувший наказания, но сохранивший на всю жизнь свои передовые взгляды. Тех же взглядов были обе дочери его — Натали (впоследствии жена Огарева) и Елена (впоследствии жена Николая Сатина, давнего друга Герцена еще со времен университетских).

Мария Рославлева унаследовала от своего отца Льва Рославлева, сутяги, доносчика и кутилы, профинтившего в оргиях свое немалое состояние, кой-какие его черты. Дядя Марии со стороны матери, Александр Алексеевич Панчулидзев, пензенский губернатор, был известен далеко за пределами своей губернии как самодур и ярый реакционер. Поладить с ним можно было, только всучив ему крупную взятку,— этакий Ноздрев на посту крупного административного сатрапа. Взяточничеством грешил и его отец, стало быть дед Марии Львовны, саратовский губернатор. Стойкая наследственность!

Вот из этой живописной семейки и взял себе жену нежный, мечтательный юноша, идеалист и поэт Огарев. Можно себе представить, что получилось из этого брака!

Со временем оказалось, что Мария Львовна унаследовала от своего отца еще и пристрастие к водке. Герцен называл ее «вспыльчивой, самолюбивой и необузданной», а Тургенев — «плешивой вакханкой».

Когда через несколько лет довольно сложной супруже-

ской жизни, совсем не похожей на семейную пастораль в духе пастушеской идиллии, о которой грезил Огарев, Мария Львовна Рославлева упорхнула в Италию с художником Сократом Воробьевым, это развязало руки Огареву, и вскоре он женился (покуда гражданским браком) на юной Наталье Алексеевне Тучковой, в которую был влюблен.

Немалым признаком счастливого существования Огарева надо считать то, что его все любили. Неотразимо было его обаяние, которое Герцен называет «магнитным притяжением». Людей поистине влекло к Огареву. Что? Почему он был, как его называли, «directeur de conscience»[1], то есть фактическим совестным судьей в семьях Герценов и Тучковых?

Вероятно, потому, что речь этого великого молчальника пусть и не отличалась плавностью, скорее наоборот, за что его и упрекает приверженный к сладкогласию Анненков: «Он говорил мало, неловко, спутанно»,— однако тут же, чтобы объяснить, почему же все-таки эта «неловкая, спутанная» речь имела такое влияние на современников, вынужден тут же прибавить: «...но за словом его светилась всегда или великодушная идея, или меткая догадка, или неожиданная правда».

Герцен весьма считался с художественным вкусом Огарева. И действительно, его оценки, когда они были обращены не на себя, выказывали вкус безупречный. И притом строгий. О, в нужных случаях он умел быть резким, этот «тихий, романтический» Огарев! Не постеснялся же он высказать Тургеневу в решительных выражениях свое низкое мнение о его неудачном произведении «Фауст».

Такой несдержанный еще смолоду в своих увлечениях, здесь, в области искусства, Огарев отличался трезвым вкусом. Он предостерегал Герцена от увлечения жанром аллегорий, к чему тот склонялся в молодости. «Я напи-

---

[1] — директор совести *(фр.)*.

сал,— не без некоторого самодовольства Герцен извещал Огарева,— небольшую статейку, вроде Жан Поля, аллегорию. Многим она нравится, и даже мне».

«Ты написал аллегорию вроде Жан Поля,— писал Огарев в своем четком и суровом ответе.— Не пиши аллегорий — это фальшивый аккорд в поэзии; что хочешь сказать, говори прямо и смело, а не обиняками».

К выспренней поэзии немецкого литератора Жана Поля Рихтера впоследствии и Герцен относился крайне отрицательно. Но Огарев увидел его пустоту гораздо раньше.

Между прочим, в своем решительном осуждении жанра аллегорий Огарев совпадал с Белинским. «Поэзии и художественности нужно не больше, как настолько,— писал Белинский,— чтобы повесть была истинна, то есть не впадала бы в аллегорию...»

Возможно, что слова Огарева, с мнением которого Герцен всегда считался, и удержали в дальнейшем его мощный реалистический талант от удаления в мир призраков, за исключением, конечно, тех случаев, когда он прибегал к аллегориям, чтобы прозрачным иносказанием окрутить вокруг пальца царскую цензуру.

Вечером сошлись в большом двухцветном зале на первом этаже. Почти все свои, из посторонних только Тимофей Всегдаев, на днях приехавший в Англию, да Станислав Тхоржевский. Ну, этот давно как бы стал членом семьи Герценов. Александр Иванович доверял ему всецело и в делах Вольной русской типографии, и даже в политических. Этот маленький бородатый поляк с лицом сказочного гнома предался Герцену душой и телом.

Наташа сидела в углу и вязала, она была в одном из своих — довольно редких — «домоседских» настроений.

Огарев поначалу бренчал на фортепьяно что-то не совсем внятное, импровизировал, что ли. Герцен, который любил определенность во всем, морщился и, не выдержав наконец, попросил его:

— Почитал бы ты нам лучше, Ник.

Огарев опустил на клавиши крышку. Кажется, не без досады. Повернулся на вертящемся табурете.

— Право, не знаю,— сказал он вяло,— нового у меня ничего нет.

Наташа тихо вздохнула. Она знала, что это неправда. Огарев писал каждый день. И помногу. Стих струился из-под его пера легко, иногда безудержно, в привычных берегах. Он почти не марал написанного. И почти всегда писал о прошлом. Он поэт воспоминаний. Память преподносила их растроганно, но, считала Наташа, от времени несколько усохшими и потому отвлеченными.

— Прочти из старого,— предложил Герцен.— Знаешь что? Мое любимое «Ноктурно». Я готов слушать его без конца.

Не вставая с табурета, скрестив руки на груди и глядя куда-то поверх голов, Огарев принялся читать:

Я ждал — знакомых мертвецов
   Не встанут ли вдруг кости,
С портретных рам, из тьмы углов
   Не явятся ли в гости?
И страшен был пустой мне дом,
   Где шаг мой раздавался,
И робко я внимал кругом,
   И робко озирался.
Тоска и страх сжимали грудь
Среди бессонной ночи,
И вовсе я не мог сомкнуть
   Встревоженные очи.

Герцен подошел к Огареву и обнял его. Тхоржевский тотчас зааплодировал. Всегдаев несмело присоединился к нему.

Наташа подумала:

«Это действительно может пленить мелодичностью, которой так часто не хватает его поэзии».

Она поддела спицей очередную петлю и прибавила мысленно:

«И музыке».

Нет, она положительно не была поклонницей его талантов.

Фортепианные миниатюры, которые вслед за тем стал играть Огарев, тоже не нравились ей, вальсы не танцевальны, мазурки вялы. Романсы — он положил на музыку и свои стихи, и чужие и сам подпевал себе — походили, по мнению Наташи, на рифмованную прозу.

И вдруг она вздрогнула. Полно! Огарев ли это? Даже дребезжащий голос его наполнился каким-то неземным звучанием. И не одной ей так показалось. Герцен, казалось, готов был сорваться со стула, Тхоржевский смотрел на Огарева зачарованными глазами. Даже смирный Всегдаев был явно возбужден.

Удивительная музыка! Она как-то возвышалась сама над собой. Она переходила в откровение. Она выхватывала в звуках своих самое драгоценное из смутного дрожания жизни.

Закинув голову, бегая пальцами по клавишам и не глядя на них, Огарев продолжал петь:

Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово...

Здесь все было совершенно — и самая плоть звука, и гармоничность целого, неожиданная, но и неизбежная, и трагизм души, стремящейся вырваться из своей немоты.

«Как ему это удалось?» — подумала Наташа, когда Огарев кончил и изнеможенно поник над фортепьяно.

— Поразительно! — воскликнул Герцен.— Тебе удалось, Ник, не только создать музыку, равноценную гениальным стихам Лермонтова, но и слить все в одно неразделимое целое. Это шедевр!

Хотя Ога́рев говорил о себе, что он больше человек сердца, чем ума, его «Кавказские воды» были, конечно, произведением изощренного интеллекта. И вообще, он был человек непредвиденных взлетов. После ряда ординарных стихотворений он вдруг разражался блестящим «Ноктюрно». То же — и в музыке.

«Кавказские воды», как, впрочем, и вся «Исповедь»,— отличная проза. Следы влияния «Былого и дум» несомненны. Вот, например, пассаж совершенно в герценовском стиле:

«Лахтин не был арестован; только раз был призван к допросу для объяснения этого письма, которое следственной комиссии показалось загадочным, вероятно, потому, что презус-покойный князь Сергей Михайлович Голицын по врожденному слабоумию ничего в нем не понимал; а главный член, поныне благоденствующий князь Александр Федорович Голицын, по честолюбию лакея и шпиона понимал не то, что было в письме, а то, чего ему хотелось, чтоб получить высочайшее потрепание по плечу».

И таких следов влияния немало. Да и сам Огарев писал Герцену:

«Пусть же моя исповедь будет для твоего «Былого и дум» дополнением до двух прямых».

Конечно, несколько затрудненный, порой шероховатый слог Огарева далеко не достигает герценовской ослепительной ясности. А некоторая умиленность, разлитая в «Кавказских водах», особенно в описании природы и чувства дружбы, разительно отличается от мужественного и страстного пера Герцена.

Поначалу несколько неожиданными кажутся рассуждения Огарева о любви к страданию. Однако так ли они уж неожиданны? Не изливал ли он в этом известное удовлетворение от ощущения иных собственных житейских невзгод? Говоря о ссыльном декабристе Одоевском, он замечает:

«Может быть, он даже любил свое страдание; это совершенно в христианском духе... да не только в христианском духе, это в духе всякой преданности общему делу, делу убеждения, в духе всякого страдания, которое не вертится около своей личности, около неудач какого-нибудь мелкого самолюбия...»

Вот эта черта — самоупоение страданием — чужда, даже противоположна открытой, деятельной, борцовской, пушкинской натуре Герцена.

Что касается портретной живописи в «Кавказских водах», то как тут не вспомнить замечания Герцена: «Всегда глубокий в деле мысли и искусства, Огарев никогда не умел судить о людях».

Характеристики Одоевского, доктора Майера (выведенного Лермонтовым в «Герое нашего времени» под фамилией Вернер) — поверхностны, плакатно однотонны. Разве можно сравнить их с... но не будем больше мерить Огарева герценовским аршином.

— Ник! — сказал Герцен.

Он иначе не обращался к Огареву — так у них повелось с отроческих лет. Впрочем, Огарев по некоторой торжественности своей натуры называл его не иначе, как полным именем: Александр.

— Ник! Ну что же твой проектец насчет расшибания голов о стену?

Огарев не подхватил ернического тона Герцена.

— Мне нужно еще додумать,— сказал он сдержанно.

— Уж не от сотворения ли мира ты начинаешь? До матушки Екатерины II и Земского собора дошел? Или все еще ныряешь в реформы Петра I?

Почуяв в этих словах замаскированный укол, Огарев ответил с некоторой резкостью:

— Мои мысли, Александр, привязаны к современности.

Я не увлекаюсь, как ты, критикой политических промахов истории.

Герцен рассмеялся:

— Дорогой мой, называть продукты истории, хотя бы они и устарели, политическими промахами — то же, что считать лягушку зоологическим промахом.

Их споры никогда не доходили до ссоры. Они могли пикироваться, обмениваться фехтовальными выпадами. Но они слишком любили друг друга, чтоб разойтись даже по принципиальным вопросам.

Дружба эта была поистине неразрывна. «Мы,— свидетельствовал Герцен,— сблизились по какому-то тайному влечению, так, как в растворе сближаются два атома однородного вещества непонятным для них сродством».

В конце концов Герцен всегда уступал Огареву, даже когда видел, что он заблуждается. Он щадил его. И пуще всего не хотел становиться в позицию покровителя или хозяина. Когда ему казалось, что Огарева ущемляют, он обижался за него более, чем за себя. В этом было что-то отцовское, что-то от отношения взрослого к ребенку.

«Этот человек,— заявил Герцен об Огареве,— мне нужен, необходим; я без него — один том недоконченной поэмы, отрывок...»

Другое дело, что иногда, подчиняясь иронической струе своего характера, Герцен подтрунивал над Огаревым. Но, разумеется, добродушно. Так, впоследствии, уже в Женеве, Огарев сообщил Герцену, что перебирается в новую квартиру на улице Малых Философов. Герцен не пропустил случая заметить, что для этой улицы Малых Философов, конечно, лестно заполучить великого философа, а со стороны самого Огарева это акт большой скромности.

Сила этой дружбы иногда удивляла окружающих. Анненков с его порой лобовым подходом к сложным отношениям между людьми облекает дружбу Герцена и Огарева каким-то мистическим ореолом. Он пишет в терминах мод-

ного тогда спиритизма о пребывании Герцена в объятиях некоего «блаженного сна, в котором он находился частью и под магнетическим влиянием своего обычного медиума Огарева».

Это не значит, что Герцен не видел недостатков Огарева. Он предпочитал мягко называть их «странности». Он как-то записал в дневнике об Огареве: «Несмотря на все странности, на все слабые стороны его характера, я решительно не знаю человека, который бы так поэтически, так глубоко и верно отзывался на все человеческое».

Эта страстная дружба Герцена и Огарева была, быть может, самым драгоценным их достоянием.

«Ты мне один остался неизменный,
Я жду тебя. Мы в жизнь вошли вдвоем»,—

писал Огарев Герцену.

Ощущение своей душевной близости к Герцену было так велико у Огарева, что он сокрушался, что они не могут, как он выразился, «слиться в одну личность».

Мало сказать, что они были неразлучны — Герцен, Огарев и Наташа,— они были нераздельны.

Особенно на первых порах.

Некоторые друзья Герцена, его московские друзья были обеспокоены внедрением Огаревых в его жизнь. Они ревновали Герцена друг к другу. Крайне, к примеру, негодовала добрейшая Мария Федоровна Корш.

Прослышав о намерении Герцена поручить воспитание своих детей Наташе Тучковой-Огаревой, она с возмущением пишет одному из своих знакомых:

«С горем услышала от Евгения, что А. И. (то есть Герцен.— *Л. С.*) думает выписать сумасшедшую мышь для воспитания Таты и Оли. Неужели он думает, что она справится с этой задачей лучше, чем Мария Каспаровна Рей-

хель? Ведь она и умней и благородней, и, наконец, опытней в этом деле; а та понятия не имеет, как вести ребенка, и потом ни нежности, ни женственности нет в ней ни на волос. Странное заблуждение, которое со временем дорого ему будет стоить...»

Преувеличено? Пожалуй. Однако нельзя отрицать, что в словах Марии Федоровны есть и нечто пророческое.

И Герцен, и Наташа — оба боятся возникающего между ними влечения. Она записывает в дневнике летом 1857 года, когда Герцен и Огаревы жили в Путнее под Лондоном, что она вначале хотела стать для них обоих — и для Огарева, к которому она охладела, и для Герцена, в которого она влюбилась,— да, для них обоих «любящей, преданной сестрой» и «заботливой, любящей нянькой» для детей Герцена. Но любовь, взаимная любовь, опрокинула эти благоразумные планы...

В конце 1856 года, то есть примерно около года после приезда Огаревых в Лондон, Наташа писала своей сестре в Россию:

«Я полюбила его всеми силами измученной души — он видел и молчал,— наконец все было высказано».

Эти дни можно считать окончательным сближением Наташи и Герцена. Ей было в ту пору двадцать семь лет, ему — сорок четыре. В тот момент обе Натальи — та, что умерла несколько лет назад, и эта, живая, рядом, любимица той, первой, слились для Герцена в один образ...

Уже через два месяца после приезда Огаревых Герцен пишет Наташе по случаю дня ее рождения 12 июня 1856 года:

«Друг мой и сестра... дай же мне право поблагодарить тебя за все теплое, родное, что ты внесла в мою разбитую жизнь... Ты разом представляешь мне и Огарева и Наташу — и, сверх того, ты мне сама близка с тех пор, как я тебя короче узнал...»

Образ той Натали как бы сиял над ними обоими. Не

только в память Герцена он был врублен навечно, но и другая Натали — Тучкова-Огарева — относилась к нему с каким-то религиозным благоговением. Она пишет Герцену: «В дни, когда я много думаю о Натали или перечитываю ее письма, я становлюсь добрее, кротче, я лучше понимаю, чего она хотела от меня, дай же руку и надейся, как я теперь, что с этого дня я, хоть изломаю себя, но переменю то, что и тебе, и мне, и Огареву, и ей антипатично, не улыбайся, мне так нужно было тебе сказать, не только сказать, написать это».

Почти безумная мечта Герцена обрести, воскресить, увидеть в этой Натали ту Натали не осуществилась...

Оскорбленное самолюбие, пожалуй, даже ярость прорывается в дневнике Тучковой-Огаревой (конец июля 1857 года):

«Счастья настоящего, прочного нет... мы обоюдно отравляем жизнь друг другу совершенно бессознательно...»

После некоторого колебания она приписала:

«В особенности он».

Она знала минуты отрезвления, даже раскаяния. Ей становилось жаль и себя, и Герцена. Она давала некий обет смирения:

«Больше никаких требований, никаких оскорблений, буду тебя любить, как умею... Воротись же с спокойной и ясной душой...»

Огарев, который давно уже относился к Тучковой-Огаревой как к другу, советует Герцену:

«Попробуй не употреблять иронии ниже в шутку, будь осторожен до учтивости...»

Это, в сущности, совет Герцену перестать быть Герценом. Для чего же?

«Может, это,— продолжает Огарев (он-то хорошо знал свою жену,— пожалуй, уже время сказать бывшую жену),— давши n дней покоя,— наведет на настоящую дорогу,— и из внешнего мира вырастет внутренний союз».

Немного пройдет времени, и в апреле 1858 года Огарев откроет в письме к Герцену, что он полюбил одну англичанку и она отвечает ему взаимностью. Это — Мери Сетерленд. Несмотря на то, что их брак был гражданским, он был крепким и продолжался до конца жизни Огарева.

## *„Колокол“ — рождение*

> Наши враги должны знать, что есть независимые люди, которые ни за что не поступятся свободной речью, пока топор не прошел между их головой и туловищем, пока веревка им не стянула шею.
>
> *ГЕРЦЕН*

> Рабье молчание было нарушено.
>
> *ЛЕНИН*

Даже немножко смешно было впоследствии вспоминать, что словечко «проектец», которым Огарев обмолвился в разговоре с Герценом, превратилось со временем в знаменитый орган свободного русского слова — силы невиданной дотоле.

Да, это так: идея создания «Колокола» была выношена и подсказана Огаревым.

Услышав этот «проектец», Герцен поначалу удивился:

— Вместо «Полярной звезды»?

— Не вместо, а наряду. «Полярная звезда» хороша и полезна в своем роде. Но это сборник, альманах.

— А знаешь ли ты,— вскричал Герцен уже в некоторой запальчивости,— что тираж «Полярной звезды» приближается к полутора тысячам! Успех ее несомненен: первые книги мы выпустили повторным изданием.

— Я не отрицаю значения «Полярной звезды»,— ска-

зал Огарев мягко.– Она всем хороша, начиная с обложки, где изображены пять наших мучеников-декабристов, и кончая эпиграфом из Пушкина: «Да здравствует разум!» И действительно, «Полярная звезда», может быть, более плод аналитического разума, чем эстетического чувства. И все же есть на ней некий налет академизма. Литературный материал ее нередко далек от современного состояния русской литературы.

— Не преуменьшаешь ли ты политическое значение «Полярной звезды»?

— Нет, но...

Но Герцен не дал ему договорить. Он продолжал, горячась. Он, видно, был всерьез задет замечанием Огарева.

— Неужели, Ник, от тебя ускользнуло кровное единство нашей «Полярной звезды» с той, которую издавали Рылеев и Бестужев, чьи черты ныне оттиснуты на обложке нашего альманаха?

— Ты плохо понял меня, Герцен...

— В конце концов,— уже кричал Герцен,— изящная словесность занимает не такое уж большое место в «Полярной звезде». Да и произведения-то эти каковы: потаенные стихи Пушкина, Одоевского, Кюхельбекера...

— Лермонтова,— вставил Огарев и, перехватив нить разговора, продолжал: — За одно только публикование в «Полярной звезде» огненного письма Белинского к Гоголю низкий тебе поклон, Герцен. Но я о другом...

— Ты, вероятно, относишь,— не слушая его, говорил Герцен,— и мою статью «Еще раз Базаров» к жанру литературной критики. Но ведь это статья политическая не менее, чем «Философическое письмо» Чаадаева и статья Лунина «Взгляд на тайное общество в России», напечатанные мною в «Полярной звезде». А что касается изящной словесности, то мало ли там художественного материала, в том числе и твоих, Ник, стихов? Да, я льщу себя мыслью,

что и в «Былом и думах» есть весомый додаток художественного.

— Ты знаешь, Александр, как я высоко ценю твои записки. Но где голоса внутрироссийских литераторов?

— Ты, Ник, говоришь так,— сказал Герцен, досадливо махнув рукой,— словно редакция «Полярной звезды» находится в Питере на Невском проспекте. Конечно, нам из нашей чужи нелегко следить за русской литературной современностью. Мало ли, какие фиоритуры выпевает шутник по имени жизнь! Но положа руку на сердце, можешь ли ты сказать, Ник, что сейчас в современной русской литературе есть таланты, равные трем ее вершинам — Пушкину, Лермонтову, Гоголю? Не думаю, что мы проморгали появление хоть сколько-нибудь крупного дарования. Где оно? И не потому его еще нет, что Россия оскудела талантами, а потому, что в сегодняшней России литература поет с замком на губах.

— И все же я думаю, Александр,— сказал Огарев с характерным для него упрямым поматыванием головой, так хорошо, еще с детства, знакомым Герцену,— что, обладая орудием такого мощного действия, как типография, можно было бы...

Он замолчал, словно прислушиваясь к собственным мыслям,— тоже старинная повадка его, сызмала известная Герцену.

Потом, после паузы, сказал:

— Пойми, Александр, «Полярная звезда» остановилась на перекрестке между искусством и политикой!

— Но ведь это...

— Связано, связано! Знаю! «Полярная звезда» нужна, полезна. У меня только одна претензия к ней: она пребывает в почтительном отдалении от трепещущей злобы дня.

— Помилуй бог, для этого нужна газета.

— Вот о ней-то я и говорю.

— Да мы не осилим ежедневно...

— Зачем ежедневно? Для начала пусть еженедельно. Или даже дважды в месяц. Какое широкое поле для высказывания наших взглядов! Наших мыслей о России, назови их пожеланиями или требованиями. Газета или журнал, который будет сплачивать все революционное, что есть сейчас в России!

— Но такая газета имеет резон, только если она проникает в Россию!

— Она и будет проникать, иначе ей грош цена! Признаюсь, это самая большая загвоздка, и я ее еще не обдумал.

— О, я думаю, это можно будет наладить! — сказал Герцен, по-видимому, уже увлеченный «проектецем».

И чем дальше шел их разговор, тем больше Герцен воспламенялся. В конце концов он сам принялся развивать «проектец», точно это была его мысль. Огарев с удовлетворением слушал.

— Но здесь понадобилось бы...— говорил Герцен, то присаживаясь на ручку кресла, где сидел Огарев, то вскакивая и принимаясь расхаживать по комнате,— здесь была бы совершенно необходима прямая и обратная связь с Россией. А где ее взять — не здесь, а там,— эту сеть добровольных, притом тайных, сотрудников?

— Я уверен, Александр...

Огарев говорил с непривычной для него живостью. Герцен то и дело перебивал его. Но это не спор, мысли их текут согласно.

— ...я уверен, что сеть тайных корреспондентов образуется сама собой, стихийно после первых же номеров нашей газеты с изобличением местных и всероссийских злоупотреблений.

— О, мы высечем, публично высечем эту проклятую свору, которая правит Россией.

— Но не это будет нашей главной целью. А часть политическая.

— Ник, наш орган — кстати, как его назвать? — будет поверх партий.

— Какие в России партии...

— Партий нет, но есть различные течения революционной мысли. Ты прав, Ник. Нам надо действовать на сознание народа. Это будет, как я понимаю, орган социального развития России. Он внедрит в наш народ то, чего ему недоставало в течение столетий и недостает теперь: политическую и социальную мысль.

Они не слышали, как отворилась дверь и в комнату вошли жена и сын Герцена.

— Можно? — спросил Саша.

Увлеченные разговором, Герцен и Огарев не отвечали.

Саша с нерешительным видом остановился в дверях.

Наталья Алексеевна прошла в угол и уселась в кресле. Тонкогубая, остроносая, с ненормально расширенными глазами и все же красивая... Волосы коротко подрезаны помальчишески, но — увы! — с заметной проседью. А ведь ей нет тридцати...

Она вслушивалась в их разговор внимательно. И в углах ее рта начинала играть улыбка, скептическая, ставшая для нее в последнее время обычной. Былая ее девичья восторженность преобразовалась в горькую недоверчивость. Давно ли? Да, очевидно, еще там, в пензенской глуши, посреди социальных, химических, фармакологических, индустриальных и педагогических опытов Огарева, зажигательно смелых и провально неудачных.

Огарев и Герцен покосились на Наталью с опаской. Потом переглянулись. Они хорошо знали ее взрывоопасный характер.

Герцен сказал:

— Натали, будь любезна, распорядись, чтобы нам принесли чего-нибудь прохладительного.

Саша, семнадцатилетний юноша, — в продолговатом

«яковлевском» лице его было что-то и от матери, серьезное и нежное,— сказал негромко Наталье Алексеевне:

— Папа и папа-Ага уже выпили сегодня бутылку своей любимой марсалы.

«Папа-Ага» — ласковое домашнее прозвище Огарева, которое дали ему дети, молодые Герцены, очень любившие его.

Герцен пробурчал с полушутливым недовольством:

— И, как всегда, никаких следов в моем могучем организме.

— А что касается меня,— сказал Огарев,— то по свойству своей натуры я даже болеть ленюсь.

Все рассмеялись. Наталья Алексеевна и виду не подала, что догадалась об их желании поговорить наедине. Она вышла якобы похлопотать по хозяйству.

Герцен и Огарев вернулись к прерванному разговору. Теперь они говорили о внешнем виде будущего органа. Бумага должна быть тонкая, легкая, размер узкий, чтобы уместились две колонки убористого текста, и обязательно короткий — для удобства нелегального провоза в Россию.

Саша смотрел с восхищением на этих двух пожилых бородатых энтузиастов. Черт возьми, они все те же юнцы из 1826 года, когда они дали свою клятву на Воробьевых горах. Романтики? Нет, посерьезнее. Тут пахнет делом. Что такое вот эта, затеваемая ими газета, как не старая их клятва, осуществляемая в действии?..

Но не надо думать, что это большое историческое событие во всех его подробностях решилось в одном разговоре. Немало дней ушло у Герцена и Огарева на обсуждение всех сложностей этого предприятия — газеты «Колокол», как они в конце концов окрестили свое будущее детище. Дней, но и ночей. Иногда и ночью врывался Герцен в комнату Огарева, расталкивал его:

— А знаешь, меня осенила недурная мысль: заведем в «Колоколе» отдел «Смесь» и наполним его лаконичными,

острыми заметками о грязных проделках бюрократов, взятках, самодурстве, произволе, невежестве, беззакониях и просто преступной глупости властей, как губернских, так и самой верхушки! И еще: сельские дела, земля, крестьянство — это твоя часть...

Потом пошли заботы типографские. Чернецкому, заведующему Вольной русской типографией, прибавилось хлопот. Но он был рад им. Этот польский эмигрант был из числа тех людей, которые, узнав Герцена, прилеплялись к нему душой. В зеленых глазах высокого черноволосого Людвига Чернецкого стояло обожание, когда он смотрел на Герцена. Александр Иванович знал, что может всецело на него положиться. Чернецкий никогда не обманывал его доверия. Что из того, что он не блистал умом, не читал Гегеля (вряд ли он и имя его слышал) и был обидчив (польский гонор!), так что Герцену приходилось сдерживать при нем напор своего блистательного остроумия. Но он высоко ценил преданность Чернецкого, честность и практическую сметку. Чернецкий хранил как драгоценность обращенные к нему слова Герцена: «Дайте вашу руку... Помощь, которую вы мне сделали упорной, неусыпной, всегдашней работой, страшно мне облегчила весь труд. Братская вам благодарность за это...»

Вскоре появилось объявление о предстоящем выходе «Колокола». Оно было приложено в последней книжке «Полярной звезды». Это было нечто вроде программы будущей газеты. В ней издатели обещали «всегда быть со стороны воли — против насилия, со стороны разума — против предрассудков, со стороны науки — против изуверства, со стороны развивающихся народов — против отстающих правительств...».

Еще не видя подписи, нетрудно в этих замечательных противоположениях узнать твердую руку Герцена.

Там же крупным шрифтом выделено то, что «Колокол» считает «первым, необходимым, неотлагаемым шагом:

Освобождение слова от цензуры!

Освобождение крестьян от помещиков!

Освобождение податного состояния от побоев!»

Огарев в это время трудился над стихотворением, долженствовавшим открыть первый номер. Немало он, вопреки своему обыкновению писать без помарок сразу набело, позачеркивал слов, даже целых строф. Шутка ли, стоять во главе первого номера «Колокола»! Стихотворение так и называлось: «Предисловие». Оно предшествовало редакционной программе и, в сущности, было программой в стихах:

...В годину мрака и печали  
Как люди русские молчали,  
Глас вопиющего в пустыне  
Один раздался на чужбине...  
...здесь язык  
К свободомыслию привык  
И не касалася окова  
До человеческого слова...  
И он гудеть не перестанет,  
Пока — спугнув ночные сны —  
Из колыбельной тишины  
Россия бодро не воспрянет...

В первом номере был обширный обзор, подписанный «Р. Ч.» — псевдоним, которым первые годы пользовался Огарев. Его же — обзор министерства внутренних дел. Затем — отделы «Смесь» и «Правда ли?», где язвительное перо Герцена прошлось по различным случаям безобразного произвола в России.

Вообще же первые номера — или, как их называли издатели, листы «Колокола» — были составлены усилиями двух человек: Герцена и Огарева. Впоследствии редакция

значительно расширила список сотрудников — и не только за счет корреспондентов из России, так сказать самотека. Герцен в этом отношении всегда проявлял широту. Его личные более чем холодные отношения с Сазоновым и Энгельсоном не помешали ему привлечь их к сотрудничеству. Двери его дома были для них закрыты, но широко открыты ворота в Вольную русскую типографию.

Как была решена вторая часть «проектеца», наиболее трудная: распространение «Колокола» в России?

Один из первых перевалочных пунктов был организован в Кенигсберге, относительно недалеко от русской границы. Заботу об этом взял на себя немецкий революционер Иоганн Якоби, с которым Герцен сблизился в Женеве. Это был верный человек с хорошо налаженными подпольными связями. Его услугами издавна пользовался Герцен для отправки в Россию своих произведений «С того берега», «Писем из Франции и Италии» и других. За несколько лет до появления «Колокола» Герцен писал Якоби: «Пропаганда — единственное дело, которое мне остается; помогите мне в этом... это большое утешение, когда встретишь человека в пустыне...»

В дальнейшем каналы проникновения «Колокола» в Россию умножились. К германской границе прибавилась на юге турецкая, на севере — финская. Небольшой по размеру и тонкий «Колокол» свободно умещался в чемоданах с потайным отделением. Иногда ему придавали видимость тюков с упаковочной бумагой, и тогда «Колокол» проникал в Россию целыми кипами. Пользуясь нерадивостью или скрытым сочувствием почтовых чиновников, отправляли «Колокол» просто в почтовых пакетах. Ненависть к царскому режиму была так разлита в различных слоях населения, что русским людям доставляло удовлетворение одурачивание его. Доходило до того, что в портовых городах за границей использовали прибывавшие туда военные суда: «Колоколом» начиняли стволы боевых орудий.

«Колокол» и сам был дальнобойным орудием. Его бившие без промаха снаряды ложились в самых потаенных углах царской империи.

Конечно, «Колокол» не выжил бы, если бы не связал себя единой кровеносной сетью с Россией. Он питал ее своей правдой и гневом, а она его — своими бедами и горестями. «Колокол» не был изделием эмигрантов для утешения их узкого круга. Сила его в том, что он стал народным органом.

И произошло это с поразительной быстротой. Издатель Трюбнер был завален заказами на «Колокол», исчислявшимися тысячами. Понадобились повторные издания.

Книжный магазин Трюбнера находился на Патерностер-роу у собора святого Павла. Эта улица вроде Литейного проспекта в Ленинграде — центр книжной торговли.

Николай Трюбнер, энглизированный немец, «в сущности,— как отозвался о нем Кельсиев в своей «Исповеди»,— добрый малый, ловкий издатель — человек практически неглупый и очень оборотливый. На лондонских изданиях он нажил большие деньги...». Это обстоятельство преисполнило его таким преклонением перед Герценом, что он выставил у себя в магазине бюст Александра Ивановича, изваянный по его же, Трюбнера, заказу.

Герцена это несколько конфузило, и, бывая в магазине Трюбнера, он старался держаться спиной к этому прижизненному памятнику, чтобы не подумали, что он любуется собственным изображением. Все же нет-нет да искоса поглядывал на него.

Однажды он не выдержал и сказал:

— Послушайте, Трюбнер, если вы не уберете мой бюст, то я закажу ваш бюст и поставлю его на Трафальгарской площади.

Трюбнер засмеялся. А Герцен шепнул рядом стоявшему Огареву:

— Кажется, он ничего не имеет против...

Впрочем, вскоре Герцен примирился с этой монументальной формой уважения к себе (вполне, кстати, искреннего) и даже заказал скульптору две миниатюрных бронзовых копии своего бюста, одну из которых он обещал подарить семейству Рейхель.

## *„Колокол“ — расцвет*

> 20 мая. Впервые читал у исправника заграничную русскую газету «Колокол» господина Искандера. Речь бойкая и весьма штилистическая, но по непривычке к смелости — дико.
>
> *ЛЕСКОВ*

Первоначальное опасение Герцена не оправдалось. Как и предсказывал Огарев, в «Колокол» стали во множестве всякими путями приходить письма из России. В большинстве своем они сообщали о всевозможных злоупотреблениях царской власти и ее чиновников. Видно, здорово накипело на сердце у России, невмоготу ей стало больше молчать, и когда приотворился клапан, хоть и не у себя дома, хоть на чужбине, хлынул туда поток жалоб и обид народных.

Были письма и другого направления, не то чтобы враждебные, а, скорее, продиктованные наивным желанием, что ли, перевоспитать способного, но излишне резвого шалуна и ввести его в рамки благопристойности и хорошего тона. Жена посредственного поэта Федора Глинки, и сама грешившая стихами в религиозно-мистическом духе, сильно отдававшем ханжеством, прислала Герцену письмо, где между комплиментами втиснула такое замечание:

«Вообще я вам скажу, что ваш язык в иных местах опускается очень низко, до неприличия в хорошем обществе».

Были в этом потоке писем и такие слезницы, которые Герцен называл «балласт писем», беспредметные, несущественные или возникшие из своеобразного оппозиционного фанфаронства. Сам Герцен расшифровывал это понятие «балласт писем» так:

«Всякий писал что попало, чтобы сорвать сердце, другой, чтобы себя уверить, что он опасный человек...»

Популярнейшими отделами «Колокола» стали, как того и ожидал Герцен, «Смесь» и «Правда ли?». Те, до кого достигал «Колокол», принимались читать, разумеется таясь от излишне любознательных свидетелей, прежде всего «Смесь» и «Правда ли?». Вот типичная заметка из этих отделов:

«Правда ли, что академик Бассин бьет учеников Академии художеств? И правда ли (если это правда), что ученики его еще не поколотили?»

О популярности в России в эти годы «Колокола» говорит хотя бы сатирический рисунок в журнале «Искра», как-то прозеванный цензурой: полицейский чин обращается к обывателю в кафтане (отнюдь не интеллигенту):

— Говори правду, есть у тебя колокол?

— Есть, батюшка, только один край выбит...

— А-а-а, борода, так ты колокол держишь в доме, а не хочешь ли в часть?!

Евгений Иванович Рагозин, экономист и сотрудник петербургской «Недели», был совсем молодым человеком, когда к нему в руки попал «Колокол».

Впоследствии, будучи в Женеве, он попытался встретиться с Герценом. Но того «охота к перемене мест», особенно обуявшая его в последние годы жизни, занесла в Брюссель. А Огарев лежал в очередном припадке эпилепсии.

Однако через некоторое время Рагозину посчастливилось и он застиг Герцена в Париже. Рагозин пришел вме-

сте с писателем Боборыкиным, новым знакомым Герцена. Вскоре тот стал называть его с ласковой фамильярностью «Боби» и сказал, что ему нравятся его живость и ум — аттестация в устах Герцена немалая.

Рагозин в присутствии Герцена так робел, что почти весь вечер молчал и только восхищенно смотрел на него.

Тут дело не только в личном обаянии Герцена.

Исток этого восхищения — «Колокол».

По застенчивости своей Рагозин не сказал этого самому Герцену. Но сыну его, Саше, признавался, что принадлежит «к тому поколению, которое обязано своим развитием Герцену».

— Я кончал курс,— говорил он,— когда раздался первый звон «Колокола» из Лондона и когда я впервые услышал свободную речь независимого человека. Вам незнакомо царство рабства, вы не знаете, до какой степени невозможность свободно выражать свои мысли развращает язык народа и приучает его к формам рабской речи, которые, в свою очередь, производят новое давление на мысль, а потому вам, может быть, покажется странным, что я был поражен языком Герцена, я заучивал целые фразы из «Колокола» и прислушивался к этой новой для меня мелодии звуков...

У «Колокола» была еще одна сторона деятельности. Иные номера его, как и многие другие издания Вольной русской типографии, выпускались параллельно и на французском языке, ибо у литературной деятельности Герцена были две ипостаси: одна, обращенная к России, главным образом обличительная, отчасти и теоретическая, и другая, обращенная к Европе, образовательная, то есть знакомящая Европу с этой огромной таинственной деспотией, раскинувшейся на просторах двух материков.

«Зачем он мешает спокойно жить!..» — так можно сформулировать смятение, которое возникало в сановной верхушке России при появлении очередного номера «Ко-

локола». Раскрывали его и, конечно, таясь от окружающих, читали с опасливым ожиданием. «Перед обличениями Герцена,— писал Чичерин в своем «Путешествии за границу»,— трепетали самые высокопоставленные лица».

Немало ударов пришлось по Ивану Петровичу Липранди, числившемуся по министерству внутренних дел в звании чиновника по особым поручениям. В свое время он рыскал среди декабристов, притворяясь одним из них, и после расправы с ними получил чин полковника. Провокации и доносы были методом его сыскной работы. Он выследил петрашевцев, в связи с чем «Колокол» добавочно наградил его прозвищем «трюфельной ищейки».

Поистине ни с чем не сравнима была способность Ивана Петровича находить крамолу даже в робкой подцензурной русской печати. Эта страсть приняла у него характер мании. Даже Библию и Евангелие он предложил выпускать с солидными купюрами. Поэт сыска, энтузиаст провокаций, он сочинил проект некой «академии шпионажа». Она начиналась еще в школе, где педагоги должны были поощрять мальчиков, замеченных в склонности к доносительству на товарищей, в дальнейшем облегчать им поступление в университет, где они могли бы следить за революционно настроенными студентами и образовать из этих доносчиков особый тайный полицейский корпус.

А «Колокол» продолжал будоражить своим звоном всю грамотную Россию, и встревоженная власть бросилась затыкать возможные каналы его проникновения.

Из Петербурга в разные концы Европы полетели дипломатические ноты. Герцен не оставил это без ответа по свойственному его натуре борца рефлексу: на удар отвечать ударом.

«В Берлине, на почте и во всех магазинах, официально наложен арест на «Колокол»,— писал он приятельнице

своей Мальвиде Мейзенбуг,— полиция также отдала приказ, чтобы мои книги не выставлялись на окнах... я пишу маленький ответ прусскому королю».

И вскоре ответ — «Лакеи и немцы не допускают» — появился в «Колоколе» в самом язвительном его отделе «Смесь». Он был действительно небольшой, но каждое слово его было насыщено горечью, сарказмом и особенным герценовским благородным негодованием:

«Указом 29 января запрещены в Саксонии «Колокол», «Полярная звезда» и «Голоса из России». В Пруссии давно уже учрежден цензурный кордон против нас... Все это делается внешними и внутренними немцами, сговорившимися с дворовыми генералами, крепостными министрами и вообще с людьми, на которых шапка горит... С рукою на сердце присягаем мы перед лицом России — продолжать работу нашу до последнего биения пульса... Нас остановить можно только уничтожением цензуры в России, а вовсе не введением русской цензуры в немецких краях».

Запрещали, изымали, конфисковали «Колокол» в Неаполе, в Париже, во Франкфурте, в Риме. Волна преследований докатилась и до Ватикана. «Святой отец,— писал «Колокол» в заметке «Бешенство цензуры»,— благословил запрещение всех русских книг, печатаемых в Лондоне, и, разумеется, «Колокола»».

Стало быть, католики теперь читали «Колокол», таясь не только от доносчиков, но и от самого господа бога. Но ведь он — всеведущий. Да, для всех, только не для русской полиции. Уж на что Ветхий и Новый заветы — боговдохновенные книги,— и на них положил свою жандармскую лапу Липранди.

«Прошу не забывать, что я только типограф...» Не правда ли, фраза, странная для Герцена. Но именно она присутствует в том новом типе сборников, которые Воль-

ная русская типография стала выпускать с некоторого времени, а чтобы быть более точным — с июля пятьдесят шестого года. Это «Голоса из России».

Однако эта фраза на слове «типограф» не обрывается. И Герцен не был бы Герценом, если бы не продолжал: «...типограф, готовый печатать все полезное нашей общей цели».

Но так ли уж была полезна для пропаганды взглядов Герцена статья «Письмо к издателю», появившаяся в «Голосах из России»? И хотя Герцен в кратком своем предисловии отзывается, соблюдая вежливость хозяина, о «Письме», что оно «умное и дельное», но тут же добавляет: «Хотя я и не согласен с ним» — и далее уличает его в грубостях и несообразностях, снисходительно объясняемых, по выражению Герцена, непривычкой «говорить без цензорского надзора». А впоследствии иронически отозвался о патриотически-елейном тоне этой и некоторых других статей, что они написаны «молоком и медом».

Поначалу считалось, что «Письмо к издателю» принадлежит перу молодого московского либерала профессора Бориса Николаевича Чичерина. Однако сам Чичерин признавался, что другой московский либерал, Константин Дмитриевич Кавелин, когдатошний друг Герцена, к этой статье «приделал начало, так что письмо вышло писанное двумя руками».

Чичерин, который моложе Кавелина на десяток лет, сокрушался в одном из писем к нему:

«...У нас выражения умеренности всегда принимают за подлость».

По поводу этой философии умеренности Герцен выразился в связи со сборниками «Голоса из России»:

«Статьи русских печатаю, а плохи (т. е. часть их очень подло написана)».

Это, пожалуй, именно о той «умеренности», которую, как плакался Чичерин в жилетку Кавелина, принимают за подлость.

Что касается Константина Дмитриевича Кавелина, то это типичный перепуганный либерал. Таким он и выведен в романе Чернышевского «Пролог пролога» под именем Рязанцева — игрушкой в руках реакционеров. Что из того, что Кавелин искренен и бескорыстен? Его прямодушие прямым путем ведет его в стан черной реакции. Он пришиблен страхом перед возможной даже не революцией, а конституцией. Об этом, в сущности, брошюра Кавелина: «Дворянство и освобождение крестьянства». Он признавался Герцену:

«Игра в конституцию меня пугает так, что я ни об чем другом и думать не могу. Разбесят дворяне мужиков... Дурачье не понимает, что ходит на угольях, которых не нужно расшевеливать, чтоб не вспыхнули и не произвели взрыва».

Вот здесь-то отчетливо и пролег водораздел между старыми друзьями.

Ярость и горечь мешались в сознании Герцена, когда до него дошло это признание взбесившегося от страха человека:

«Прочитав твою брошюру,— отвечал он Кавелину,— у меня опустились руки. Грановский в гробу, Кетчер, Корш в Чичерине, а Чичерин в твоей брошюре. И это писал Кавелин, которого мы так любили...»

Нелегко дались Герцену эти строки. Он с трудом разрывал с друзьями. Нелегко ему было кинуть в глаза Кавелину, что его брошюра — «тощий, стертый и бледный памфлет...». Он требовал, чтобы Кавелин отрекся от него. Сознавал ли он, что это тому не под силу? Вероятно, да. Но ему хотелось верить в чудо, почти евангельское — очищение грешника.

Чуда не случилось. Кавелин стал добиваться свидания с Герценом. По-видимому, он рассчитывал, что сила и обаяние старой дружбы превозмогут противоречия между ними.

Он писал ему из Остенде (из Москвы, конечно, не посмел бы):

«Двенадцать лет мы с тобой не виделись, Герцен, а ты с Белинским и Грановским играли самую большую роль в моей жизни... Теперь ты один у меня остался, и всю любовь, к какой я только способен, я сосредоточил на тебе... Что к этой любви примешивается и благоговение,— в этом нет сомнения. Я не могу любить тебя, как совершенно равного, потому, что преклоняюсь пред тобой и вижу в тебе великого человека».

Но ни это слишком красноречивое признание в любви, ни довольно приторная лесть не действовали на Герцена.

А Кавелин продолжал засыпать его мольбами о личном свидании:

«...Каждый раз, когда об тебе вспоминаю, чувствую, что люблю тебя... Я связан с тобою тою связью, которая не прерывается, даже когда мнения расходятся...»

Герцен наотрез отказался видеть его, а о черносотенной брошюре его отозвался кратко, вспомнив Великую французскую революцию:

«...В 93 году тебе за это отрубили бы голову... я не нашел бы это несправедливым...»

Страшные слова. Беспощадные. Но они были сказаны. Более того, начертаны в письме. То есть врублены в историю. Непохоже на Герцена? Как сказать... Ведь один эпизод из Великой французской революции никогда не покидал его памяти: он не раз вспоминал, и притом во всеуслышание, что Робеспьер послал на эшафот Камилла Демулена, своего личного друга, но политического врага. Герцен с содроганием восхищался твердостью Робеспьера.

В дальнейшем Герцен всегда выступал против «экс-профессора, когда-то простодушного, а потом озлобленного, видя, что здоровая молодежь не может сочувствовать его золотушной мысли».

В чем же возможная польза от этого «Письма к издателю» двух идеологов дворянского умеренного либерализма, не только решительно не совпадающих, но прямо противоположных его революционно-демократическим убеждениям?

В свободе печатания, полагал Герцен! В бесцензурности!

Редкий литератор в России не писал тогда впрок, для будущих времен, и не хоронил написанное в склепе своего письменного стола. Среди этих пишущих молчальников были люди различных взглядов, даже консерваторы, даже ретрограды, даже сановники из брюзжащих. Но были, разумеется, и «леваки», отбегавшие далеко от Герцена в своих экстремистских взглядах.

Для всех Герцен распахнул страницы этого нового издания — «Голоса из России». Он хотел показать, что Россия не молчит. Только выньте из ее рта цензурный кляп, и она заголосит, затрубит, как орган, во все множество своих голосов.

И если в «Колоколе», в «Полярной звезде» публиковались материалы, только созвучные взглядам их издателей, то «Голоса из России» должны были стать, по намерениям Герцена, широким парламентом мнений.

## *Умеренность или подлость?*

> Ужасно много можно было бы сделать, если б не апатия наша, да не привычка к крепостному состоянию.
>
> *ГЕРЦЕН*

Борису Николаевичу Чичерину было тридцать лет, когда он впервые выехал за границу.

Цель? Образовательное ли путешествие? Жажда ли но-

вых впечатлений? Научный ли интерес? Может быть, скуки ради развлекательный вояж, что ли?

Маршрут знатный: Англия, Франция, Италия. Какие достопримечательности! Собор Парижской богоматери! Гробница Наполеона! Лувр! Миланский собор!

А в Лондоне — собор святого Павла, разумеется? Да нет. Трафальгарская площадь? Тоже нет. Смена гвардейского караула у королевского дворца? Да нет же!

Так что же в Лондоне влекло к себе молодого московского профессора?

А главная его достопримечательность — Герцен.

Когда Чичерин появился на пороге дома в Путнее и представился Герцену, Александр Иванович, насмешливо сощурившись, спросил:

— Не побоялись к государственному преступнику?

Проворный ум Чичерина тотчас нашелся:

— К вам теперь так много ездит русских, что, право, надобно иметь больше храбрости не быть у вас, чем быть...

Находчивый ответ понравился Герцену, и он на некоторое время расположился к Чичерину. Тут действовали и старые московские воспоминания. Взгляд Герцена с некоторой ласковостью остановился на Чичерине.

— Я вашего батюшку знал, Борис Николаевич. Он был одним из наших.

Чичерин выглядел старше своих лет. Он обзавелся солидной профессорской наружностью — респектабельная бородка, золотые очки, брюшко. Но под академической основательностью ютился весьма юркий темперамент, поднаторелость в практицизме, незаурядная способность приспособления. Постепенно сквозь свободное благообразие манер стал прощупываться стойкий сухой доктринер. Стала просвечивать и истинная цель его посещения: перетянуть Герцена в стан умеренных либералов, вот именно умерить, уредить его революционно-демократический накал.

Сразу ли понял это Герцен? Он так часто ошибался в

людях. Не тотчас ведь разгадал он, что Гервег — лицемер, Энгельсон — истерик, Сазонов — завистник, Аяин — себялюбец. Но когда дело шло не о душевных качествах, а о политических взглядах, проницательность Герцена действовала мгновенно и безошибочно.

Отойдя к столу в дальнем углу комнаты, чтобы разлить вино по бокалам, Герцен шепнул Наталье Алексеевне:

— Нет, мы в нем ошиблись, его ум вредный.

А вскоре внес в рукопись «Былого и дум»:

«С первых слов я почуял, что он не противник, а враг».

Наскучив рассуждениями Чичерина о правовом государстве, Герцен сказал:

— Слушайте, Борис Николаевич, вам с вашими принципиально умеренными взглядами надо идти на государственную службу. Вы неумеренно умеренны.

— Простите, но это острота, а материя у нас серьезная,— сказал Чичерин, кажется, обидевшись.

— Конечно, острота. Но не только. Остра оболочка. А сердцевина серьезна.

Чичерин счел уместным улыбнуться: дескать, не такие уж мы стоеросовые и нам не чужда игра ума. И тут же пояснил:

— Говоря об умеренности, я имел в виду, Александр Иванович, ваше свойство безмерно увлекаться.

— Ах, я увлекаюсь? — вскричал Герцен.— Допустим. Но чем? Истиной, справедливостью. И хорошо, что увлекаюсь,— этим я увлекаю других. Не увлекаются сухари и догматики,— так они же не увлекают и других. Разве силой, когда она у них есть.

«Я говорил ему,— жаловался впоследствии Чичерин,— о значении и цели государства, а он отвечал мне, что Людовик-Наполеон ссылает людей на каторгу».

В эти же дни, когда Чичерин, приходя в Путней к Гер-

цепу, старался путем душеспасительных бесед, по собственному выражению, «направить его в смысле, полезном для России», вышел очередной номер «Колокола», лист 25-й от 1 октября.

Прочтя его, Чичерин пришел в неистовство — в той мере, конечно, в какой этот жесткий и холодный, «не юный», по слову Герцена, человек вообще способен был на сильные изъявления чувств. Причина — помещенная там передовая статья под ничего не говорящим названием: «Письмо к редактору». Да, название ничего не говорит, но содержание вопиет!

Статья эта впоследствии стала известной под названием: «Письмо к редактору от Анонима».

Очередная почта — изрядная, как всегда, кипа писем — лежала на столе перед Герценом в гостиной на первом этаже путнеевского дома: он ее обычно использовал как рабочий кабинет.

Осенний день теплый, из сада благоухания поздних цветов, но главным образом сильно пахнущих душистых листьев вечнозеленых лавров, которым обширный сад, да и весь объятый им дом был обязан своим именем: «Laurel-house» [1].

Письма со штемпелем русской почты Герцен откладывал, чтобы прочесть их в последнюю очередь: они прошли через руки цензоров и, значит, вполне благонравны по содержанию.

Другое дело конверты с заграничными штемпелями. К ним разрезной нож Герцена устремлялся в первую голову. Это были тоже письма из России, но пересекшие границу тайком, в карманах пассажиров, у наиболее осторожных — прямо на теле.

---

[1] Лавровый дом *(англ.)*.

Были и письма вовсе без штемпелей, доставленные из России лично. Не каждый из этих добровольных письмоносцев решался встретиться с «государственным преступником». Они на пороге вручали письма кому-нибудь из домашних и поспешно удалялись.

Внезапно весь дом огласился мощным взволнованным зовом Герцена:

— Огарев! Где ты? Скорее сюда!

Огарев застал Герцена расхаживающим по комнате с объемистым письмом в руке.

— Вот! — сказал Герцен, потрясая письмом.— Необыкновенно! Драгоценнейшие сведения! И какая трезвость и смелость мысли!

Даже не присев, стоя бок о бок, они принялись читать рукопись. Некоторые фразы, видимо, особенно его взволновавшие, Герцен произносил... нет, выкрикивал:

«...Или чует правительство, что крестьянин никак не может удовлетвориться той мнимою свободой, которую оно так великодушно жалует ему?..»

— А? Каково?

Огарев не отвечал. Он жадно вчитывался:

«...Крестьяне г-жи Энгельгард, С.-Петербургской губернии, Лужского уезда, взбунтовались так, что предводитель дворянства Пантелеев перепорол всех их от мала до велика... Дело в том, что г-жа Энгельгард хочет переселить их... на болото, а они — бунтовщики эдакие! — не хотят».

— Подобный материал у нас, кажется, проходил,— сказал, подняв голову, Огарев.

— Ник! Опомнись! Какое тут возможно подобие? Ведь пороли-то других людей!

— Ты прав.

Рукопись оставалась у Герцена, но Огарев приблизил к ней свои близорукие глаза и пробормотал:

— А! Вот это важно. Автор широко берет. Он приводит интересную цитату из циркуляра министра.

Теперь читал Огарев. Приподнятым тоном он подчеркивал значительность отдельных слов:

— «...С некоторого времени начали появляться в наших периодических изданиях суждения слишком смелые... сии последние нередко облекаются в благовидные наружные формы, а потому гг. цензоры обязаны с неослабною прозорливостью вникать в дух сочинений...»

Не отводя глаз от рукописи, они вскрикивали, перебивая друг друга:

— «...Александр II... смерть боится, что крестьянам откроют глаза и взволнуют их...»

— «...От неограниченного самодержавия легко одуреть, это груз самый убийственный для способностей человека...»

Плечо к плечу, щека к щеке они продолжали читать. И вдруг оба подняли головы, посмотрели друг на друга.

— Ты колеблешься, Александр? Ты, вероятно, думаешь, что эти строки не согласуются с чем-нибудь таким, что ты писал раньше?

— Я больше озабочен тем, чтобы не совпасть в суждениях с либеральствующими профессорами.

— Значит, печатаем и эти строки?

— Конечно! Никаких компромиссов с господами либералами!

— Я рад, что ты так говоришь.

И Огарев прочел тихо, но с силой подчеркивая каждое взрывчатое слово:

— «...На кого же надеяться теперь! На помещиков? Никак — они заодно с царем, и царь явно держит их сторону. На себя только надейтесь, на крепость рук своих: заострите топоры, да за дело — отменяйте крепостное право... снизу!..»

— К сему приложены,— сказал Огарев, отложив письмо,— копии подлинных и весьма красноречивых документов из самых недр министерских канцелярий.

— А мы их вместе с письмом и опубликуем.
— Шуму будет во дворце!
— Тем лучше. Тихий колокол — нонсенс.
Они засмеялись.

Огарев как в воду глядел. Питерский летописец нравов цензор Александр Васильевич Никитенко отметил в своем дневнике, что в высших сферах заметались, ища среди чиновников лицо, виновное в передаче Герцену копий секретных документов. «Теперь,— писал Никитенко в дневнике по этому поводу,— идет розыск о том, как они ему достались».

Конечно, летописцу полагается обладать спокойным нравом и как бы парить над страстями. Но профессор Никитенко преступил это обыкновение по меньшей мере два раза, и оба раза в отношении двух самых драгоценных людей России: он отказался цензуровать пушкинский «Современник», сказав: «С Пушкиным слишком тяжело иметь дело»,— и выразился о Герцене, что он «фанатик, одержимый бесом известного учения».

Недели полторы проболтался Чичерин в Лондоне. Почти всякий день — в Путнее. И неустанно — длительные разговоры. Он все не терял надежды сколько-нибудь передвинуть Герцена для начала хоть на несколько шагов вправо, к московской профессорской умеренности, ну и, конечно, соответственно этому смягчить позицию «Колокола». И хотя в спорах со своим блестящим противником сам постепенно линял и раз от разу терял оперение, он все еще уповал если не на убедительность, то на целесообразность своей соглашательской политики, на ее житейскую соблазнительность.

Сохраняя внешнюю учтивость, Герцен после прощального визита проводил Чичерина до железнодорожной станции, благо она под боком у Путнея.

— Неужели ты провожал этого субъекта? — удивился Огарев.

— Конечно. И даже собственноручно усадил его в вагон. И подождал, пока поезд тронулся.

И взяв Огарева под руку, лукаво глянул на него:

— Видишь ли, я хотел убедиться, что его действительно унесло от нас.

## *Собратья*

> Ведь это детей утешают в болезнях конфектами — нам нужны операции, горькие лекарства,— не отдадимте нашего негодования, наших стремлений, выстраданных под лапой Николая, за барскую ласку.
>
> *ГЕРЦЕН*

Уличные фонари казались тусклыми в зареве иллюминации на доме Герцена. Сверканье его в этот весенний вечер было далеко видно в пролете улиц. Даже церковь напротив, освещенная в часы службы, меркла в белом трепещущем пламени газовых рожков, охватывавших с трех сторон двухэтажный герценовский дом. Сад позади дома, обычно темный, сейчас был залит этим дрожащим призрачным светом. Извилистые тени деревьев шатались, словно живые.

Поперек дома — транспарант:

«3 марта 1861 года».

И знамя с надписью по-английски, чтобы втемяшить этим флегматичным британцам:

«Emancipation in Russia» [1].

---

[1] Освобождение в России *(англ.)*.

Разослали приглашения на торжественный обед для всех работников Вольной русской типографии, начиная от наборщиков и печатников, по большей части поляков, и кончая мистером, а вернее, паном Станиславом Тхоржевским, книгопродавцом. Вечером — большой прием. Заказан оркестр, предписана программа: «Марсельеза», «Вниз по матушке, по Волге», «Еще Польска не сгинела». Ожидается тост самого Герцена. Содержание его набросано на бумажке, которую он то и дело нервически сжимает в кармане. Потом разглаживает и читает про себя, чтобы затвердить и во время обеда произнести наизусть:

«Друзья и товарищи!.. Сегодня мы оставили наш станок вольного русского слова — для того, чтоб братски отпраздновать начало освобождения крестьян в России... Начало его возвещено — робко, с усечениями,— но возвещено!.. Скажу лично о себе — ...я верил в Россию — тогда, когда все сомневались в ней!.. Спрашиваю вас, что бы вы подумали о человеке, который в 1853 году сказал бы, что мы через восемь лет соберемся на дружеский пир и что героем этого пира будет русский царь! Вы подумали бы, что он сумасшедший или хуже... Наш труд теперь только порядком начинается. А потому, друзья, к нашим станкам, на нашу службу русскому народу и человеческой вольности! Но прежде осушим этот бокал за здоровье наших освобожденных братий и в честь Александра Николаевича, их освободителя...»

В тот же день вышел «Колокол», и на последней странице его заманчивых несколько строк, озаглавленных:

«ПРИГЛАШЕНИЕ

Вольная русская типография в Лондоне и издатели «Колокола» празднуют вечером 10-го апреля начало освобождения крестьян в Orsett-house, Westbourn-terrace[1].

[1] Орсетт-хауз, Вестбурн-террас *(англ.)*.

*Каждый русский,* какой бы партии он ни был, сочувствующий великому делу, будет принят братски».

Сомнения исчезли. Еще за несколько дней до сегодняшнего праздника Герцен колебался и выспрашивал Огарева — ну, тот был с ним согласен — и политических эмигрантов, конечно, самых уважаемых изгнанников из разных стран, французов — Луи Блана, Таландье, итальянцев — Маццини, Саффи, русских — Кельсиева, Голицына, Мартьянова, поляков — Браницкого, Хоецкого — и даже в письме к сыну домогался: «А стоит ли Александр II, чтобы я предложил в честь его тост?»

Но вот в руках у Герцена только что присланные из России «Московские ведомости» с текстом царского «Манифеста».

— Ты морщишься? — спросил Огарев, заметив гримасу, пробежавшую по лицу Герцена.

— Да нет, манифест недурен. Но слог ужасен, словно его писали не пером, а паникадилами. Бьюсь об заклад, что писал церковник, не иначе как сам Филарет. Попа и в рогоже узнаешь.

Однако все церковнославянские высокопарности, действительно вышедшие из-под пера московского митрополита Филарета, равно далекие как от языка литературного, так и от живой народной речи, Герцен прощал «Манифесту» ради его основного смысла — воли для крестьян.

И немедленно тиснул в «Колокол» заметку: «Манифест». Но даже эта заметка, полная радостных надежд и одобрительных слов в адрес царя, не свободна от опасливой мысли: как бы не сорвалось! как бы не обманули народ! Именно в таком разительном контрасте с оптимистическими упованиями стоят грозные предостережения царю: «Но горе, если он остановится, если усталая рука его опустится. Зверь не убит, он только ошеломлен...»

Надо сказать, что Герцен был вовсе не единственным революционером, которому образ Александра II особенно на мрачном фоне его покойного батюшки Николая I показался поначалу привлекательным. Что уж говорить о Герцене в его чужи, если такой яростный революционер в самой России, как Серно-Соловьевич, представил на одобрение царю свою записку об освобождении крестьян и собирался ему же послать свой проект конституции. Этого романтического увлечения фигурой царя-освободителя не избежал и старый заговорщик Бакунин, писавший: «Редко царскому дому выпадала на долю такая величавая, такая благородная роль...»

Правда, Чернышевский в своих письмах к Герцену пытался разрушить его иллюзии о добрых намерениях царя: «Не убаюкивайтесь надеждами и не вводите в заблуждение других, помните, что сотни лет губит Русь вера в добрые намерения царя».

Так-то оно так. Но ведь и сам Чернышевский на какой-то миг поддался этим иллюзиям, когда в своих «Письмах без адреса» обращался к Александру II по поводу предполагаемой конституции.

Конечно, письма Герцена к царю и сейчас вызывают чувство протеста и воспринимаются как заблуждение, пусть временное, его мощного духа, как измена, пусть невольная, его благородным убеждениям, и о них писал Ленин, что их «нельзя теперь читать без отвращения». Впоследствии, разочаровавшись в личности царя, поняв, что, освобождая крестьян, он действовал по принципу «отдай палец, чтобы не отхватили руку», Герцен утверждал, что, обращаясь к царю, он, в сущности, обращался не к нему. Он приводил в доказательство письмо итальянского революционера Маццини к папе римскому Пию IX. Действительно, Маццини, неизменный объект восхищения Герцена, официально-то обращался к папе, но, в сущности, ко всей прогрессивной и революционной Италии. Папа не от-

ветил, но по истинному адресу письмо дошло, и демократическая Италия ответила Маццини делом, то есть взрывом революционного движения за объединение страны. Аналогия эта, бесспорно натянутая, не пригодилась Герцену, ибо в России обращение к царю со стороны левой общественности производило эффект, равный ударам в подушку.

Веселье было в разгаре, и Герцен уже тянул руку к бокалу с вином, чтобы произнести свою речь, как в зал торопливо вошел запыхавшийся и, видимо, очень спешивший Станислав Тхоржевский.

— Наконец-то! — крикнул ему Герцен.— Только вас и ждем, чтобы провозгласить тост.

Тхоржевский почти бегом приблизился к нему:

— Александр Иванович! Несчастье! Царь расстрелял поляков!..

Он протянул Герцену фотоснимки, изображавшие ужасающие сцены расстрела участников мирной демонстрации в Варшаве. Стреляли даже по коленопреклоненным в молитве, по женщинам, детям...

Герцен стал медленно опускаться. Он упал бы, если бы кто-то не подставил под него стул. Обычно красноватое лицо его сделалось сейчас белым, как скатерть на столе. Все смотрели на него с беспокойством, некоторые со страхом.

— Господа...— наконец проговорил он с трудом и замолчал.

Он снова заговорил, но так тихо, что все придвинулись к нему, окружили почти вплотную.

— Господа... Кровь пролилась в Варшаве, славянская кровь, и льют ее братья-славяне... Праздник наш омрачен. Все убито варшавской кровью...

Он повел глазами вокруг себя, на гостей, на стол, щедро уставленный едой, и пробормотал:

— Это похоже на поминки..,

Он внезапно поднял бокал и привстал. Многие вздрогнули.

Он сказал окрепшим голосом:

— За полную безусловную независимость Польши, за ее освобождение от России и от Германии и за братское соединение русских с поляками!..

Если март этого года был месяцем счастливых упований, то апрель стал месяцем рушащихся надежд. Злобой дня во всем цивилизованном мире была совершающаяся в России реформа. Естественно, глаза политических деятелей в Европе были устремлены на Герцена — признанный центр русской политической мысли в изгнании: что он думает об этих переменах в России? Действительно ли это бескровная революция сверху или обманный ход со стороны царской власти?

Вскоре истинное мнение Герцена стало известно. Прудон писал ему из Парижа в Лондон:

«Вы так же мало доверяете либерализму вашего царя, как я — либерализму моего императора».

Другой корреспондент Герцена, знаменитый Гарибальди, получил от него такую характеристику царя:

«...В нем слишком много прусского, австрийского и, сверх того, монгольского. Холодно рассчитанный капкан, расставленный Польше с бездушным восточным лукавством, в котором характер кошки берет верх над тигром, ставят его вне вопроса...»

Скорбь и негодование Герцена по поводу расстрела поляков излились на страницах «Колокола» в статье «Mater dolorosa» [1]. Сколько трагической и беспощадной иронии в его обращении к царю: «Таких ужасов вы не найдете в балладах Жуковского»,— язвительное напоминание о том,

[1] «Скорбящая мать» (*лат.*).

что воспитателем царя в юности был поэт Жуковский, пестовавший его в слащаво-сентиментальном духе.

— Снимите вашу корону,— восклицает разгневанный Герцен,— и ступайте в монастырь на покаяние... Вам достаточно было сорока дней, чтоб из освободителя крестьян сделаться простым убийцей, убийцей из-за угла!

Может ли народ доверять свободе, полученной из рук, обагренных кровью? Другими словами, является ли царская реформа подлинным раскрепощением русского крестьянства?

Вот вопрос, который мучительно задавал себе Герцен и на который жадно искал ответа в сведениях, приходивших из России. И к нему другой: а каково должно быть это освобождение от рабства?

Вопрос глубокий. И еще больше углубился он после свидания Герцена с Чернышевским еще накануне реформы.

Конечно, Чернышевский был особенный посетитель. А рядовых, случайных, любопытствующих было столько, что Герцен вынужден был как-то отгородиться от этого половодья герценолюбов,— когда же работать? Он назначил приемные дни дважды в неделю — по средам и воскресеньям с трех часов дня.

Кто были эти посетители? Редкий из русских студентов, командированных на учебу в Германию, отказывал себе в удовольствии украдкой смотаться на парочку дней в Лондон для лицезрения Герцена и поклонения ему. Но не всегда только для этого. Это был иногда и способ передачи Герцену рукописей из России. Тем же способом пользовался и путешествующий по Европе русский люд. Так обеспечивался приток материалов в «Колокол» и в сборники «Голоса из России».

Иные студенты на пороге герценовского дома сталки-

вались со своими профессорами, некоторые пугливо отводили глаза, в страхе оглядывались,— так сильна была вера во всемогущество и всеведение русской тайной полиции. Профессор Павлов Платон Васильевич, например, в которого его наука, история, не вселила бесстрашия, до того трепетал в доме Герцена, что производил впечатление страдающего манией преследования. Иное дело профессор Пыпин или профессор Каченовский, все имена в тогдашней науке далеко не безвестные,— они были свободны от этой трусоватости российского обывателя.

Из старомосковских знакомцев приезжал Иван Аксаков. Посещение это согрело душу Герцена воспоминаниями о молодой московской вольнице. Но было ознаменовано бурными спорами: Иван Аксаков проделал путь слева направо, типичный для некоторых русских либералов. Он унаследовал славянофильский престол после смерти своего брата Константина, после Хомякова и Киреевских. Поначалу Герцен публиковал в «Полярной звезде», разумеется без имени автора, сатирические сценки Аксакова. Но позже резко разошелся с ним и наносил ему чувствительные удары в своей публицистике.

С большим, можно сказать, с обостренным интересом вглядывался Герцен в Чернышевского, когда тот вступил на порог его дома. Так вот он, этот властитель дум передовой молодежи, соперник Герцена по популярности, но только там, в России. Однако это «там» и есть самое главное. Наружность? «Нечто среднее,— быстро подумалось Герцену, в то время как он пожимал гостю руку,— между Дон-Кихотом и рассеянным профессором». Крупный нос, оседланный очками, сильно выдается из зарослей усов и бороды. Пиджак осыпан табачным пеплом. Каким-то дивным образом мешаются в его худом лице учительская строгость и мечтательность поэта. Откуда это ощущение? Может быть, от бровей, взлетевших над неожиданно голубыми глазами?

Чернышевский вынул из кармана брошюру. Посмотрел на нее с огорчением:

— Измялась...

И тут же — в странном смешении робости и приподнятости:

— Вот... примите, пожалуйста...

Это был типографский оттиск диссертации Чернышевского.

На первой странице — нежная дарственная надпись Герцену.

Герцен поблагодарил с суховатой вежливостью. Он держался настороженно, как солдат в ожидании атаки. Если бы он знал, что Чернышевский однажды сказал Добролюбову: «По блеску таланта в Европе нет публициста, равного Герцену!»

Но разве только однажды? Увидев «Кто виноват?» в Москве у Лавровых, Чернышевский на вопрос, знаком ли он с автором этой повести, воскликнул:

— Я его так уважаю, как не уважаю никого из русских, и нет вещи, которую я не был бы готов сделать для него.

Однако восхищение его не ограничивалось репликами в разговоре с друзьями. Он увековечил его и на бумаге, и притом в одном из важнейших своих сочинений — в «Очерках критики гоголевского периода». Коснувшись того идейного движения, которое шло в кругу Герцена, Чернышевский обмолвился о нем, Белинском и Бакунине: «Тут в первый раз умственная жизнь нашего отечества произвела людей, которые шли наряду с мыслителями Европы, а не в свите их учеников».

Рождение «Колокола» повлекло некоторые изменения этой позиции Чернышевского. Но их можно назвать скорее тактическими, нежели стратегическими. Ведь если говорить начистоту, нынешний визит Чернышевского в Орсетт-хауз, в сущности, не что иное, как командировка от

журнала «Современник», средоточия передовой мысли в России, с целью убедить Герцена переключить «Колокол» с его обличительного жанра на подлинно революционные удары по прогнившему стволу российской государственности.

Тем не менее дарственная надпись на диссертации была похожа на объяснение в любви.

И все же Герцен изготовился к отражению атаки. Все его борцовское существо напряглось в нетерпении нанести ответный удар.

Парадоксальная особенность положения состояла в том, что ведь и Герцен относился к Чернышевскому с симпатией, хоть и не всегда явной. Однажды он сказал Пятковскому... Но прежде, кто такой Александр Петрович Пятковский? Литератор. Вояжировал за границей. Ну, как не совершить паломничества к «святым местам»! Тем более что у Пятковского и деловое предложение к Герцену: сотрудничать в петербургском журнале «Неделя». Конечно, под псевдонимом.

На первых порах Пятковский понравился Герцену своим шустрым и легким характером. Даже выпросил у Герцена фото с надписью. Однако вскоре он изрядно надоел. «Пятковский скучен — и фланер без серьезного интереса»,— посетовал Герцен жене. Предложение его, впрочем, принял: уж очень заманчива перспектива появиться на страницах легальной русской печати. Помимо всего это дает возможность определить «границы их свободы тиснения», как объяснил Герцен Огареву, то есть прощупать, насколько бдительна российская политическая цензура.

Герцен напечатал в «Неделе» ряд очерков под общим названием «Скуки ради». Некоторые из них были довольно радикальны, по признанию самого Герцена, «с кайенским перчиком». Псевдоним для себя он придумал легко: Нионский — по названию швейцарского городка Нион, где он встретился с Пятковским и попивал с ним на балконе

отеля пенистый рейнвейн пополам с зельтерской водой. Но подслеповатая цензура скоро прозрела, и Герцен вынужден был прекратить свои публикации в «Неделе»: льва узнали по когтям.

Как-то придя к Герцену, Пятковский снял шляпу, под ней оказалась ермолка, снял и ее, обнажив лысую голову. Герцен, внимательно наблюдавший эту процедуру, молвил:

— А сейчас вы снимите черепную крышку, и обнаружится мозг Добролюбова и Чернышевского.

Оба засмеялись шутке. Но шутка-то со значением. Она свидетельствовала о том, что Герцен хорошо осведомлен о широте влияния Чернышевского на русское общество. Он так отозвался о некоторых своих посетителях: «...русские молодые люди, приезжавшие после 1862 года, почти все были из «Что делать?» с прибавлением некоторых базаровских черт...»

Герцен не мог не видеть, что Чернышевский один из тех людей, которых выдвинуло новое поколение в России. Герцен называл их великими разночинцами — Чернышевского, Михайлова, Серно-Соловьевича. Он ставил им в заслугу социальный гнев, самоотвержение, кровное единство с народными массами.

«Нашими русскими собратьями» называет Герцен Чернышевского и Добролюбова в № 49 «Колокола», разумеется не упоминая их имен из соображений конспиративных.

К роману Чернышевского «Что делать?» Герцен не испытывал однозначного отношения. Сам гениальный мастер, повелитель волшебного русского слова, он не был удовлетворен словесной тканью этого романа, но признавал за ним его идейное и проблемное значение как своего рода руководства к действию. Он рекомендовал его своему Саше: «...я перечитываю роман Чернышевского «Что делать?» — пришлю его тебе — форма скверная, язык отвратительный — а поучиться тебе есть чему в манере ставить житейские вопросы».

Но признавая значительность Чернышевского, его личности и его произведений, Герцен все же сетовал на него, а заодно и на Добролюбова: «Да, конечно, явление отрадное... А все же далеко им до Белинского, нет того блеска, того вулканизма... А ведь Виссарион тоже был разночинец...»

Герцен — сияющая вершина великого русского искусства — никогда не приносил идейность в жертву совершенству формы. Степень накала демократических убеждений — вот что было мерой его оценки. И он снова высоко подымает Чернышевского в статье «Порядок торжествует!»:

«Пропаганда Чернышевского была ответом на настоящие страдания, слово утешения и надежды гибнувшим в суровых тисках жизни. Она им указывала выход».

## *Архимедова точка*

> В политической экономии, в своей работе «Труд и капитал» и в своих примечаниях к переводу «Политической экономии» Милля, которые гораздо значительнее самого текста, Чернышевский так близко подошел к Марксу, как никто из социалистов домарксова периода, заслужив от Маркса имя «великого русского ученого и критика».
>
> *ПОКРОВСКИЙ*

Разговор повелся издалека. Вспомнили Белинского.

Герцен сидел на диване в домашней вольготной позе, сунув за спину мягкие подушки и подвернув одну ногу под другую.

Чернышевский, напротив, сдвинулся на край стула, держался напряженно, поигрывал непроизвольно пальцами по столу.

Когда Герцен разговаривал, при своей подвижности он долго не мог усидеть на месте.

— Я перипатетик,— говорил он о себе полушутливо и объяснял тем, кто этого не знал, что словом этим (по-немецки «Spaziergänger», то есть «прогуливающийся») называли античную философскую школу. Ее руководитель, знаменитый Аристотель, имел обыкновение развивать перед последователями свои философские идеи, прохаживаясь меж колонн храма.

— Я вижу,— сказал Герцен, шагая из угла в угол размеренной поступью,— вы завидуете мне, что я знал Белинского.

— Признаюсь, завидую,— отвечал Чернышевский. Он прибавил тихо, не скрывая удивления: — Как вы догадались?

Он тоже вскочил и зашагал по комнате. Оказывается, и он «перипатетик».

Герцен с явным удовольствием рассмеялся.

— По искоркам в глазах,— сказал он.— Белинский рассказывал мне, что такие же искорки были у него самого в глазах, когда Чаадаев рассказывал ему о своей дружбе с Пушкиным.

Чернышевский усмехнулся. Он понемногу избавлялся от своей робости. Оттаивал.

— Да откуда же,— сказал он, не сгоняя с лица улыбки,— Белинский мог знать, что у него в глазах искорки?

— А ему Чаадаев сказал, как я только что вам. Да вы не смущайтесь, это благородная зависть.

Чернышевский смеялся. Смех его был неожиданно громкий, раскатистый, смех здоровяка. «Непонятно,— удивился про себя Герцен,— как из такого тщедушного тела этот смех Фальстафа».

Сейчас Чернышевским владело стремление почти яростное избавиться наконец от чувства преклонения перед Герценом. Живой Герцен оказался столь же пленитель-

ным, как и его писания. Ему надо преодолеть силу этого обаяния. Во что бы то ни стало! Ведь он приехал для разговора о том, чтобы направить гениальный пыл Герцена и огонь всех батарей Вольной русской типографии на иную цель, тут не обойтись без крупного разговора, возможно даже размолвки...

А Герцен смотрел с таким пристальным вниманием и проницательностью, словно он читал его мысли. И в самом деле, он сказал:

— Вы как будто изготовились, Николай Гаврилович, для прыжка на меня.

Чернышевский снял очки, принялся протирать их. Полуослепшие глаза его при этом казались беспомощными и растерянными. Он сказал, стараясь сдержать свою запальчивость:

— Когда ворчат старики, это кончается маразмом. Когда ворчат молодые, это кончается революцией.

Герцен глянул на Чернышевского с живейшим интересом, пока тот седлал очками свой донкихотский нос. Черт возьми, недурно сказано! Мгновенно родилась ответная реплика: «Но дело в том, что мы считаем именно себя молодыми!» Он не успел ее сказать. Чернышевский не дожидался ответа. Теперь он стоял твердо на дорожке, которую мысленно укатал для себя заранее.

— Мы хотели бы, Александр Иванович, чтобы вы нас правильно поняли. Хватать за руку взяточника, накрывать дурацким колпаком высокопоставленного оболтуса, пригвождать к позорному столбу сиятельного держиморду — это, конечно, полезно. Но это маленькая польза. Это дает удовлетворение минутному раздражению. Но это ни на йоту не расширяет освободительное движение в стране. Наоборот, тормозит его, направляет народное негодование не по тому руслу. Удары должно направлять против государственного строя. Бить нужно по самому режиму.

В комнату тихо, чтобы не мешать разговору, вошел

Огарев. Мягко ступая в домашних ковровых туфлях, он прошел в угол и тихонько уселся в кресло. Поймав взгляд Чернышевского, он дружески кивнул ему. Огарев питал слабость к Чернышевскому после того, как тот в «Современнике» отозвался о его стихах: «...г. Огарев имеет право занимать одну из самых блестящих и чистых страниц в истории нашей литературы... с любовью будет произноситься имя г. Огарева, и позабыто оно будет разве тогда, когда забудется наш язык».

Герцен заговорил неожиданно мягко. Это насторожило Огарева. Он знал эту манеру своего друга: внешней сдержанностью тона прикрывать накипающий гнев, с тем чтобы потом нанести громовый удар,— затишье перед бурей:

— Круг тем «Колокола» не мелочен. За ними — слезы крестьянина и стенания бедняка.

Чернышевский молчал. Ему не хотелось отвечать Герцену резкостями. Он вспоминал горькие слова Добролюбова: Герцен потерял чутье к революции, променял его на мирный прогресс под покровом законности. «Я должен найти в себе решимость,— подумал Чернышевский,— сказать ему это...»

Он сказал, стараясь самим тоном притушить остроту слов:

— Вы не знаете, Александр Иванович, новой силы, появившейся в России. Вы все еще рассуждаете о «лишних людях», этих обреченных дворянах, страдающих хандрой. А между тем у нас на Руси народилась новая общественная сила — это разночинная молодежь.

Чернышевский боялся поднять глаза на Герцена. Вдруг из угла — неожиданная поддержка — заговорил Огарев:

— Это так. Умственною силой в России становятся разночинцы.

Чернышевский подхватил:

— Революционные разночинцы,— сказал он, несколько запинаясь,— отмежевались от вас. Вы учинили нам, то

есть «Современнику», головомойку. Это вредно для наших общих целей. Простите меня, Александр Иванович, но «Колокол» иногда сбивается на сплетни. Нельзя бороться с деспотическим строем подмигиваньем за его спиной. Скажу вам больше: если бы наше правительство было чуточку поумнее, оно благодарило бы вас за ваши обличения; они дают ему возможность держать своих клиентов в уезде в несколько приличном виде, оставляя в то же время государственный строй неприкосновенным, а суть-то дела именно в строе, а не в агентах.

— Видите ли, друг мой...— начал Герцен.

Он не смотрел на Чернышевского, он смотрел в потолок, как бы собираясь с мыслями, как бы размышляя вслух.

— Видите ли,— повторил он.— Вы и ваши друзья вознесли себя на пьедестал из благородных негодований и сделали чуть ли не ремесло из мрачных сочувствий страждущим. Мы хотим быть протестом России, ее криком освобождения и боли. Мы хотим быть обличителями злодеев. Мы их делаем смешными. Мы хотим быть не только местью русского общества, но и его иронией. Смех — одно из самых мощных орудий разрушения. От смеха падают идолы. Это сила революционная.

Пока Герцен рассуждал о разящей силе обличительного смеха, Огарев с грустью думал о нем:

«Проницательность изменяет Александру, когда он начинает судить о действиях нового поколения русских революционеров...»

А вслух сказал:

— Быть может, наконец впервые русский народ разобьет инертность своего политического мышления.

— Дай бог! — сказал Герцен, вздохнув.— Но что-то не верится. У русских есть своя беспечность, небрежность, неспетость и отсутствие меры, свидетельствующие о душевной незрелости. Это ничего не говорит против народ-

кого характера вообще,— это говорит против среды и времени нашего развития.

— Конечно! — воскликнул Чернышевский, оживившись.— Эта пресловутая смиренность, покорность, безгласие имеют свое историческое происхождение. Крепостное право, царский абсолютизм обузили духовное существо русского человека...

— Вы помните,— задумчиво сказал Огарев,— шайки компрачикосов, о которых писал Гюго? Эти мерзавцы заключали малых ребят в тесные футляры и таким образом насильственно прекращали их физический рост и превращали их в уродливых карликов для своих надобностей. Отсутствие политических свобод задержало идейный рост русского человека, не дало развиться потребности в гражданских свободах, убило самое стремление к ним, поставило на их место безразличие, соглашательство, примирение с собственным уродливым состоянием, которого сам русский человек попросту не замечает, считает его естественной нормой жизни.

— Мало того,— подтвердил Герцен.— Эта жизнь под прессом развила в нашем соотечественнике бессознательно для него самого изворотливость, притворство, двуличие и в ущерб духовности — безудержную жажду материального накопления.

Чернышевский давно выказывал признаки нетерпения. Он не решился прервать Герцена. Но когда тот замолчал, чтобы промочить горло, и, подойдя к столу, пустил шипучую струю зельтерской в стакан с вином, Чернышевский быстро заговорил:

— Но вот сейчас падают самые тяжкие оковы, когда-либо теснившие русского человека. И это не может не повлечь за собой сдвиг в его душевном строе. Воздух свободы! Да он не может не пронизать самую душу человека!

Возражая Чернышевскому, споря с ним, был ли в этот момент Герцен в полном согласии с самим собой? Не было

ли в страсти, с которой он защищал свое оружие — обличительную иронию, желания убедить самого себя?

В одном пункте они сошлись безоговорочно: если «Современник» запретят, Герцен брался издавать его в Лондоне. Условились, что приток материалов для журнала обеспечит Чернышевский и на нем же будет лежать забота об оплате типографских расходов, что касается корректуры, то Герцен обещал, что он и Огарев возьмут это на себя.

— Но кто же все-таки этот «-бов», подписавший статью «Литературные мелочи прошлого года»? — спросил он.— Откройте же имя этого беспощадного судьи, вынесшего нам смертный приговор на страницах «Современника»?

Чернышевский удивленно посмотрел на Герцена. Ему трудно было представить себе, что Герцен не угадал в этой подписи Добролюбова.

В статье этой, так чувствительно задевшей Герцена, под невинным — для царской цензуры — названием Добролюбов осуждал такой способ борьбы с царским правительством, который сводился к мелким обличительным укусам по поводу отдельных злоупотреблений чиновников. Добролюбов называл это либеральным «пустозвонством».

И вообще, вся статья его восставала против соглашения с приспособленческой политикой «постепенных экономических улучшений», а заодно порицала обличительную литературу, всю эту хлопотливую погоню за взяточниками, кутерьму вокруг казнокрадов, внешне эффектную, но мало действенную войну с лихоимством и прочими частными злоупотреблениями.

Герцен воспринял статью «Современника» как выпад против обличительной публицистики вообще. Он понимал, что в статье речь о нем, о стиле «Колокола». И в самом деле, на его страницах Герцен отдавал огненный пыл сво-

его пера обличению всевозможных злоупотреблений царских чиновников.

Оценив статью Добролюбова (сразу же скажем: несправедливо) как прямой полемический удар по себе, Герцен решил отвечать. Помимо того что натуре его было в высшей степени свойственно то, что можно назвать рефлексом ответного удара, он считал, что от обличительной деятельности «Колокола» русскому народу прямая польза. Он считал, что своими смелыми разоблачениями «Колокол» расшатывает царскую власть и революционизирует сознание народа.

Все это вдохновило Герцена на написание резко полемической статьи «Very dangerous!!!»[1] — заголовок снабжен, как видите, тремя восклицательными знаками.

Уж он здесь дал волю своему возмущению, в котором была и изрядная доля острой обиды. В то же время наряду с негодованием против замаскированных упреков «Колоколу», его «Колоколу», Герцен испытал отраду оттого, что давал отповедь, или, как он выразился в письме к Рейхель, «головомойку», «Современнику».

Но, в сущности, это не было простой стычкой двух органов печати по маловажному, едва ли не стилистическому вопросу. Дело обстояло гораздо серьезнее. Эта полемика, замаскированная эзоповским языком, чтобы не привлекать внимания охранительных инстанций, была отражением борьбы двух противоположных политических программ — Герцена, тяготевшего к либеральным реформам, и Добролюбова с его резко революционным направлением.

В своей статье Герцен все еще верит, что «смех — одно из самых мощных орудий разрушения», имея в виду антинародную практику чиновного аппарата, тогда как Добролюбов и Чернышевский заострили свою деятельность против самого государственного строя.

---

[1] «Очень опасно!!!» *(англ.)*.

— Приведу вам слова автора этой статьи, Добролюбова,— сказал Чернышевский вместо ответа: «Мы никому не уступим в горячей любви к обличению... мы хотим более цельного и основательного образа действий».

— Понимаю,— перебил его Герцен,— что вы... простите, он, ну, кажется, это все равно, разумеете под этими словами. Здесь мы, Николай Гаврилович, расходимся. Но Добролюбову передайте, что я сожалею, если он задет моей статьей «Very dangerous!!!». Я ведь не знал, что это он, как и не знал, каков он. Только сейчас из ваших слов я догадываюсь, что это человек нашего ряда. В ближайшем же листе «Колокола» я помещу объяснение. Думаю, оно удовлетворит вас.

— Поверьте, Добролюбов глубоко уважает вас, Александр Иванович, и не теряет надежды, что вы и он сблизите свои точки зрения.

Молчание. Решительного слова не было произнесено. Оно висело в воздухе.

Молчание, которое становилось уже тягостным, прервал Чернышевский:

— Я не хотел бы возвращаться к уже сказанному, но для полного уяснения предмета вынужден сказать, что вы, Александр Иванович, простите, не поняли истинного смысла статьи Добролюбова и — еще раз простите — недооценили всю меру ее значительности. Выражение «пожилые мудрецы» не принимайте на свой счет. Сам Добролюбов замечает, что «пожилые мудрецы» «встречаются и между двадцатилетними».

Несмотря на примирительные слова с обеих сторон, собеседники, казалось, понимали, что им не договориться в том основном, что продолжало витать в воздухе.

Герцена несколько задевал наставительный тон Чернышевского. Герцен отдавал должное его уму. Но этот безапелляционный тон, это преувеличенное мнение о «Современнике», о Добролюбове, да, пожалуй, и о самом себе...

А Чернышевский в это время, не меняя своей напряженной позы на краю стула, не жестикулируя в разговоре, не меняя жестковатого выражения лица, думал о Герцене:

«Блеск ума удивительный... Но вот что значит оторванность от России... Весь в прошлом, в фехтовальных спорах в московских салонах сороковых годов...»

А вслух сказал:

— Вам следовало бы, Александр Иванович, поскольку вы свободны от цепей цензуры, давать в «Колоколе» программу войны с самодержавием. Тогда и обличение уместно.

Герцен усмехнулся:

— Боюсь, что вы смотрите на меня как на ценность исключительно археологическую, скажем, как на скелет мамонта.

Чернышевский, казалось, смутился. Он потупил глаза и сказал:

— Ваше отношение к самодержавию — примирение на известных условиях. Наше — никаких условий. Война!

Яснее нельзя было сказать. Это звучало как ультиматум. Но Чернышевский еще искал путей к компромиссу: сопротивление — да, бунт — нет. Да и Герцен еще не терял надежды найти пути согласия со своим гостем. Однако точек соприкосновения не находилось...

В конце концов Чернышевский понял это. Он не хотел тратить время на словесные препирательства со столь искусным спорщиком. Нет, больше ему здесь делать нечего. Его лондонская миссия кончилась. Щепкину не удалось потянуть Герцена вправо, Чернышевскому — влево.

А тут еще Герцен обрушился на редактора «Современника» Некрасова, которого он не жаловал за его путаные денежные дела, в частности с Огаревым.

Этого Чернышевский не выдержал, встал и, сухо попрощавшись, отклонив уговоры Герцена остаться, ушел с досадою и горечью в сердце.

И все же он считал, что известная доля пользы была достигнута этим его стремительным скачком в Лондон. Все-таки он подвинул Герцена к справедливому суждению о Добролюбове и о сегодняшней политической линии «Современника». А четкое размежевание в путях революционной работы также пойдет на пользу общему делу.

Теперь, когда к Герцену пришло понимание новой позиции «Современника», он сожалел, что с маху, в порыве своей демонической иронии свалил в одну кучу Добролюбова и Сенковского, мракобесного издателя реакционной «Библиотеки для чтения» николаевской эпохи, клеймя в полемическом задоре их, как пустых и циничных зубоскалов.

В ближайшем листе «Колокола» Герцен поместил заметку под названием «Объяснение статьи «Very dangerous!!!»». Это «Объяснение» (впору ему называться: «Извинение»!) вполне в духе рыцарского характера Герцена:

«Нам бы чрезвычайно было больно, если б ирония, употребленная нами, была принята за оскорбительный намек... Мы не имели в виду ни одного литератора...»

Герцен понимал, что и Чернышевский, и Добролюбов, и он сам — в одной шеренге борцов за свободу. И расхождение между ним и теми двумя начинается дальше — там, где встает вопрос о методах борьбы: они — за крестьянскую революцию, он — за крестьянскую реформу,— память о крахе революции сорок восьмого года не умирала в нем.

Но за исключением этого внешнее впечатление от свидания Герцена и Чернышевского таково, что они разошлись, не придя к согласию. Однако Добролюбов удовлетворенно улыбнулся, прочитав письмо Чернышевского: «...Разумеется, я ездил не понапрасну...»

А в статье Герцена «Лишние люди и желчевики», вскоре появившейся в «Колоколе», Герцен согласился с мнением Чернышевского, что обличительная литература не

то чтобы устарела, но, во всяком случае, ее одной недостаточно. «И люди, говорящие,— писал Герцен, имея в виду Чернышевского и Добролюбова,— что не на взяточников и казнокрадов следует обрушивать громы и стрелы, а на среду... совершенно правы».

Да, они шли — покуда! — разными путями в своей повседневной революционной практике. Но в коренном теоретическом вопросе — о будущем России — их взгляды совпадали. Пути разные, цель одна. Будущее России — социализм. А зерно социализма в его русском воплощении — в крестьянской общине. И в этом, полагали они, преимущество России над Европой. Это зерно живо сейчас. Не утратить бы его! Ведь оно — фундамент грядущего! Так они оба считали, не подозревая о глубине своего заблуждения.

Когда Чернышевский в разговоре с Герценом восставал против негативного направления «Колокола» и восклицал: «Покажите ваше политическое лицо! Объявите, за что вы и с кем вы!»,— Герцен не сразу ему ответил. Он предпочел сделать это в статье «Русские немцы и немецкие русские». С пером в руках он чувствовал себя увереннее. Это помогало ему упорядочивать и собственные мысли. Так получила известную определенность и «теория русского социализма». Герцен строит ее на трех китах. Для большей наглядности он, такой противник всякого схематизма и назидательности, составляет из них колонну и даже метит номерами:

1) право каждого на землю,
2) общинное владение ею,
3) мирское управление.

Он настаивает на этом. Он не перестает повторять это при каждом удобном случае. Да и неудобном — тоже.

Вот это и была та нить, которая связала лондонского изгнанника с вожаком революционных демократов. «Ученый друг, приходивший возмущать покой моей берлоги» — так с дружелюбной шутливостью именует его Герцен и

восхищается его образным определением общины, такой древней и такой юной провозвестницы русского социализма.

«Высшая ступень развития по форме совпадает с его началом... История, как бабушка, страшно любит младших внучат».

Чернышевский слишком мало пробыл у Герцена, чтобы между ними могла возникнуть личная дружба, но несомненно то влияние, которое в эти краткие дни произвела на Герцена сильная личность Чернышевского. Да он открыто признал это и именно в тех же словах, когда писал в «Колоколе» в статье «Порядок торжествует!» о том, что после петрашевцев «является сильная личность Чернышевского... Мы служили временным дополнением друг друга... В Петербурге, Москве и даже в провинциях готовились фаланги молодых людей, проповедовавших словом и делом общую теорию социализма, которой частным случаем являлся сельский вопрос. Но,— прибавляет Герцен, и в этом «но» заключается сердцевина вопроса,— в этом-то частном случае и была архимедова точка... выборное начало сельской общины... и общинное землевладение...».

Огарев находился в полном согласии с Герценом и Чернышевским. И не потому, что в этот период он совершенно растворился в личности Герцена, а потому, что он, как и они, странным образом упускал из виду, что социализм — это определенная организация производства. А ею и не пахло в общине. Ибо она, русская сельская община,— это, конечно, не почин будущего социалистического строя, а только пережиток «первобытного землевладения».

И это понимали даже утопические социалисты и настаивали на определенной социалистической практике производства.

Но в эти дни — тревожное и смутное начало шестидесятых годов — в этом месте, в насквозь прокуренной комнате герценовского дома по улице Вестбурн-террас, никто

не сомневался, что русская крестьянская община и есть действительно та архимедова точка, тот зародыш, который в России разовьется, опережая всю Европу, в воплощение мечты передового человечества — подлинный социалистический строй.

Недоставало только Архимеда. Еще на подступах к шестидесятому году Огарев убедил Герцена, что создание в России тайной революционной организации полезно, возможно и необходимо.

На первой странице «Колокола», начиная с номера 197, стал частым новый лозунг: «Земля и Воля»:

«Вся положительная, созидающая часть нашей пропаганды сводится на те же два слова, которые вы равно находите на первых страницах наших изданий, в ее последних листах,— на *Землю* и *Волю,* на развитие того, что нет *Воли без Земли* и что *Земля не прочна без Воли*».

## *В сумерки*

> Роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией. А чтобы хоть сколько-нибудь конкретно представить себе, чтó это означает, пусть читатель вспоминает о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский...
>
> *ЛЕНИН*

Ветошников понравился всем. Молчаливый, скромный, полная противоположность своему другу, развязному Кельсиеву, который ввел его в дом Герцена. Ветошников, однако, пленил Бакунина другими своими качествами. «Он человек очень верный,— сказал Бакунин,— нам преданный и для нас драгоценный». Ибо Бакунин, которого

никогда не покидала яростная целеустремленность, прежде всего оценивал каждого нового знакомого — в какой степени он может быть полезен ему в осуществлении его замыслов мировой революции. Ветошников, по мнению Бакунина, чрезвычайно пригоден для этого не только по своей основательности, серьезности, добросовестности, но еще и потому, что, как служащий русского отделения английской фирмы, он совершает регулярные рейсы между Петербургом и английскими портами. Более совершенного связного трудно себе представить.

Очередной рейс состоялся в разгар лета, в самую жару. Приятно было в июльский зной шестьдесят второго года гулять по палубе пироскафа, одолевавшего пространство от Кронштадта до восточного побережья Великобритании.

Пока судно, ошвартовавшись у причалов Гулля, выгружало мешки с пшеницей, лен и древесину и брало на борт хлопок, рельсы и колониальные товары, Ветошников совершил небольшую образовательную прогулку в Лондон.

Он осмотрел Вестминстерский дворец и, отдав должное его пышности, нашел, что он уступает нашему Зимнему, точно так же как Тауэр,— внушительный, конечно, но куда ж ему до Московского Кремля!

Под конец этой патриотической прогулки Ветошников пошел к скромному дому № 60 по улице Патерностер. Правда, и туда была протоптана туристская тропа, по которой пробирались как-то бочком и опасливо озираясь приезжие из России.

Толкнув застекленную дверь, Ветошников оказался в книжной лавке Трюбнера. С чувством, близким к благоговению, он посмотрел на прилавки, где лежали груды «Колокола», «Полярной звезды», «Общего веча», «Голосов из России» и других книг с русскими, иногда польскими названиями.

О книготорговле Трюбнера Ветошников еще в Питере

был наслышан от своих вольнолюбивых друзей. Сам-то он отнюдь не разделял их крайних взглядов. Но и не противоречил им. Он вообще обходился без взглядов. Смирный, покладистый, он вполне удовлетворялся своим приличным окладом помощника агента английского торгового дома Фрум, Грегор и К⁰ и размеренно спокойной жизнью в своей небольшой семье. Как истый обыватель, он испытывал любопытство, впрочем умеренное, ко всему сенсационному, необычному, редкостному, запретному. Сюда относились и издания Вольной русской типографии. Когда ему в руки попадалась русская листовка лондонского издания или даже «Колокол», он уважительно мотал головой и приговаривал: «Ишь ты!», что выражало высокую степень восхищенного удивления. Тот же звук он издавал, наблюдая в цирке головокружительные полеты воздушных акробатов.

— Ужели это ты, Павлуша? — услышал он голос за собой.

Ветошников обернулся и увидел высокого патлатого мужчину. Странная голова его, словно обрубленная с обоих боков, увенчивалась копной вьющихся волос, ниспадавших до плеч. Густые усы загибались книзу к бородке, лохматой и какой-то неряшливой.

Ветошников вгляделся и не без труда — все-таки лет десять прошло! — узнал в нем Васю Кельсиева, своего соученика по петербургскому коммерческому училищу. Его и там, в училище, считали оригиналом. Желчный скептик, с какой-то надорванной повелительностью в манерах, он был непомерно высокого мнения о себе.

Они обнялись.

— Признаюсь, я удивлен, Василий. Полагал, что ты в Аляске. Давно ли оттуда?

Еще в училище Кельсиев отличался успехами в изучении языков. Некоторые, поддавшись его бурному самовозвеличению, предсказывали ему блестящую карьеру, но

затруднялись сказать, в чем: в науке? в литературе? в открытии новых земель? Ветошников знал, что Кельсиев по окончании училища поступил переводчиком в Российско-американскую компанию в Петербурге и получил заманчивое назначение не то в Ситху, близ Аляски, не то в Уналашку. Когда друзья удивлялись его тяге на дикий Дальний Восток, он отвечал надменно: «Лучше быть первым на Алеутских островах, чем вторым в Петербурге».

— А я и не был там,— сказал он коротко.

Заметив, что Ветошников смотрит на него с удивлением, добавил:

— По дороге имел решающую встречу в Лондоне, да и остался здесь. Передо мной простерлась иная стезя.

Он кивнул куда-то вверх. Подняв голову, Ветошников увидел на одном из книжных шкафов белый мраморный бюст. Вглядевшись в его волевое бородатое лицо, Ветошников воскликнул:

— Слушай, да это же Герцен!

Кельсиев значительно посмотрел на Ветошникова:

— Вот я у него.

И затем:

— Хочешь, познакомлю?

— Шутишь!

И подумал, как это будет здорово — рассказать в Питере своим партнерам по преферансу, что он в Лондоне пожимал руку — кому, вы думаете? — только об этом молчок! совершенно доверительно! — самому Герцену!

— Сделаю. Только...

Кельсиев оглянулся. И хотя в магазине никого не было, сказал почти шепотом:

— Об этом замкни свои уста. Из Питера наслано пропасть шпионов. Попадешь на заметку, сыскная гнусь лезет во все поры. Поверишь ли, даже сюда, в это святое место, прокрался дьяволов сын в обличии нашего единомышленника и стал здесь продавцом. За мзду в двести

фунтов в год он посылал в III отделение сведения о русских посетителях, выкрадывал в типографии наши рукописи и все домогался выведать, кто корреспондирует в «Колокол» из России. Михаловский имя этой бестии. Кстати, никто не видел, как ты сюда входил? На всякий случай я выпущу тебя с черного хода.

— А когда к Герцену? Я ведь здесь не надолго.

Кельсиев задумался.

— Вот что,— сказал он решительно.— Сегодня вечером приходи в ресторан Кюна, это в центре, как пройти, объясню. Там сегодня маленькое торжество по случаю пятилетия «Колокола».

Сбор в ресторане Кюна был назначен на девять часов вечера. Времени вдоволь, можно еще поработать. Но Герцену не хотелось, голова устала, да и рука.

Тут же на полях рукописи появился недурно вычерченный силуэт водочного графинчика и рядом — высокого бокала, более приличествующего шампанскому. «Фу, какие глупости лезут мне в голову, а вернее — в руку, слишком уж самостоятельно гуляет она по бумаге! Чересчур много воли я дал ей...»

Он глянул на руку. Она не потеряла изящных очертаний. «Вот разве жилы набухли. Вино? Да я к нему сейчас почти не прикасаюсь. Лета? Ну, мне еще далеко до склеротических искажений. Заботы?»

Усилием воли он заставил себя не думать о том, что смутной тревогой стучалось — и все настойчивее — в его сознание. «Колокол»! Порой бывает так: еще только середина августа, пышный разгар лета, а глядишь, с березы летит, кувыркаясь, желтый лист, первенец увядания. Нет, нет! «Колокол» из породы вечно цветущих. Верно ведь?

Так, значит, дома? Как это ни странно, но свой первый брак, несмотря на то, что Натали, та Натали, причинила

ему мучительные страдания, он считал счастливым, в отличие от нынешнего брака со второй Натали. Не думать об этом! Упрятать в отдаленный запасник памяти, с тем чтобы потом разобраться. А сейчас, так как его работа не идет, а к Кюну еще рано, пойти посумерничать в гостиной.

Проходя мимо книжного шкафа, он снял с полки «Мертвые души». В гостиной устроился на диване поудобнее, закинул ноги и погрузился в этот истрепанный, видимо, порядком зачитанный том. Улыбка наслаждения показалась на его лице. Он любил перечитывать книги, к которым был привязан. Это были как бы встречи со старыми друзьями. Почти всегда он открывал в них нечто новое... Вот и сейчас добрался до разговора генерала Бетрищева и Чичикова:

«Нет, ты полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит».

Опустил голову, задумался, что-то скорбное появилось в его лице. Он до того углубился в свои думы, что даже не слышал, как отворилась дверь. В комнату вошел Огарев, бесшумно ступая в своих ковровых туфлях на толстой мягкой подошве.

— Сумерничаешь?

Герцен рассеянно посмотрел на него.

— Слушай, папа Ага...— вдруг сказал он порывисто.— Задумывался ли ты над тем, какие мы? Черненькие или беленькие?

И тут же сам ответил:

— Ты только не обижайся. Ты же знаешь: tout dire c'est ma faiblesse [1]. Не те мы и не другие. Серенькие мы!

Огарев внимательно вгляделся в него:

— Ты не в духе?

Герцен ничего не ответил.

---

[1] Все говорить — моя слабость *(фр.)*.

Сумерки медлительно истаивали, но еще нежные, еще подернутые смуглой позолотой заката.

Огарев потянулся всем телом, хрустя суставами.

— Сладчайший миг...— сказал он.

Зевнул, прикрыл ладонью рот.

— Только мечтать да вести сердечный разговор...

Если это был вызов, то Герцен его не подхватил. Молчал. А Огарев, видимо, впал в разговорчивый стих. Не умолкал. Не очень при этом заботился о связи между мыслями. По этому признаку да еще по слабости голоса Герцен понял, что Огарев после обморока, как они у себя в семье называли припадки падучей.

— Сильный обморок был? — спросил Герцен озабоченно.

— Да нет, небольшой. Нынче я в форме. Да и вообще сегодня все будет ладно. Ты только не смейся. С утра была гроза с ливнем, а потом солнце. Это у нас на Пензенщине считается счастливой приметой. Ты с Пензенской землей не шути. Она дала России Белинского и Лермонтова.

Не дождавшись реплики Герцена, продолжал:

— Мне твой дом приятен тем, что он небольшой. Это уютно.

Тут Герцен не смолчал:

— Ты считаешь его небольшим?

Кажется, он даже немного обиделся. У него ведь была еще одна слабость: он считал себя хорошим хозяином особенно по части устройства удобного жилья. Он любил менять квартиры.

Огарев невозмутимо возразил:

— У меня в Старом Акшене было сорок комнат. Я там болтался, как плотва в океане. Нет, право, ты, Александр, нынче не в себе. Уж не болит ли у тебя голова? Я помню, ты сказал однажды: «Я страдаю от головной боли, скорее приличествующей бешеной собаке, чем литератору-полиглоту».

Герцен впервые улыбнулся. Слабая, но все же улыбка. На хмуром лице его она напоминала солнечный луч, случайно вынырнувший из-под грозовой тучи.

— Или, может быть, тебя хандра одолела? — не унимался Огарев.— Лучшее средство от нее — путешествие. Ты легок на подъем. Бери чемодан и езжай.

— Куда? — устало пробормотал Герцен.

— Хотя бы в Швейцарию. Ты любишь ее горы.

— К черту горы! — сказал Герцен с отвращением.— Швейцария — это какой-то геологический террор...

Огарев мысленно выругал себя за ложный шаг: как он мог забыть, что у Герцена личная причина избегать Швейцарию — ведь там Гервег.

— Поезжай в Италию,— предложил он.— Венеция — жемчужина морей, она...

Герцен слегка охладил лирический накал Огарева:

— Венеция — самая прекрасная глупость человечества.

— Ну что ж,— не унимался Огарев,— и дома, в общем, неплохо. Наташа одолела свою сварливость и снова в любящем духе. От тебя все в совершенном восторге. Как сказал Белинский почти двадцать лет назад, что ты «необыкновенный талант в совершенно новом роде», так гул восхищения вокруг тебя не умолкает.

Тут Герцен не выдержал:

— Ну уж если ты разворошил старое, то напомню тебе, Ник, что Виссарион Григорьевич гораздо более любил наши повести, чем наши статьи. Да он и был прав. В статьях мы беспрерывно переодевались от надзора цензуры и раскланивались любезно с каждым будочником. А в повестях ходим гордо и никого знать не хотим.

— Это верно, только надо прибавить, что повести имеют более силу влияния на массового читателя, чем статьи, доступные только избранным. Твои «Былое и думы» тем

велики, что это совершенное соединение обоих жанров с прибавлением третьего: летописи.

— «Былое и думы» как будто нравятся... но кому? — сказал Герцен задумчиво. Он скинул ноги с дивана и зашагал по комнате.

Он говорил, не глядя на Огарева, и оттого казалось, что он не к нему обращается, а просто думает вслух:

— Кто читает меня? Народ? Нет. Образованное меньшинство? А его в России тонкий слой. Россия станет свободной и счастливой, только когда засыпется эта пропасть между образованной макушкой общества и народом, темным и смиренным. Да и образованному меньшинству сейчас стало трудно. Каналы проникновения «Колокола» в Россию сильно сократились из-за слежки, доносов, предательства. А время идет, мы стареем, силы истощаются.

Теперь молчал Огарев. Он сидел в кресле и поглаживал бороду, уже совершенно белую. Снежную белизну ее подчеркивали густые черные усы.

Наконец он сказал:

— Мы должны сблизиться с партией Чернышевского. Позиция «Колокола» уже не удовлетворяет людей. Они стремятся не к критике царского правительства, а к революционному действию.

Герцен резко повернулся.

— Стыдно нам бегать вприпрыжку за молодыми! — выкрикнул он.— Почему о молодежи говорят: наше будущее? Когда я смотрю на молодых, я вижу свое прошлое. Я вижу самонадеянность, веру в бессмертие, недомыслие и тому подобное. Я вижу свое будущее, когда я смотрю на стариков. Я вижу...

— Стоп! — сказал Огарев.

Неожиданная для него энергичная интонация удивила Герцена.

— Я спрашиваю тебя, Александр, какая наша программа?

Вопрос этот как будто застал Герцена врасплох.

— Ты молчишь, Александр? Мы приветствовали «Манифест» царя об освобождении крестьян. Мы ему поверили. Но народ обманут. Старое крепостное право заменено новым крепостным правом. Мы многое поняли за последнее время. Мы поняли, что наша крестьянская община — это равенство рабства. Мы поняли, что земля без воли — пустой звук.

— Подожди, это не плодоносный спор. Да это и вообще не спор,— прервал его Герцен.

— Почему?

— Потому что над «Современником» Чернышевского собираются тучи. Не сегодня, так завтра его прихлопнут. Я окончательно решил предложить Николаю Гавриловичу и Добролюбову перенести издание «Современника» сюда, к нам в Лондон.

— Александр, это мудро!

— И это же ответ на твой вопрос о программе.

— Ведь не показалось же тебе несвоевременным, что в «Колоколе» наряду со старым лозунгом: «Vivos voco!» теперь появился новый: «За Землю и Волю!»

— Это родные для меня слова,— проговорил Герцен.— Они стояли в наших первых листовках. Это был первый крик новорожденной Вольной русской типографии. И они же, я уверен, могли бы стать и названием для подпольной революционной организации в России, потому что это одновременно коротко, объемно и в самую цель.

Он подошел к окну. Сумерки уже испарялись, кое-где в их сквозную дымчатую прозрачность вползала чернильная густота. Вспыхивали газовые рожки.

Огарев смотрел на Герцена с беспокойством. Он видел, что какая-то новая мысль тревожит его, может быть, мучит. Он не хотел нарушать его молчания. Он ждал, чтоб Герцен заговорил. И он заговорил медленно, не поворачиваясь, глядя в туманную муть за окном:

— Я отлично знаю, что политические свободы, декларированные на бумаге, ровно ничего не значат, если рабочий народ продолжает прозябать в нищете. Мало иметь неприкосновенность личности, надо иметь еще и кусок хлеба. Но, Ник, эта перемена нашей программы — это начало конца «Колокола». И это больно...

Огарев подошел к Герцену и взял его под руку.

— Но это не первая потеря в моей жизни,— продолжал Герцен,— и есть вещи, которые стоят неизмеримо выше личных утрат...

— Ты имеешь в виду...— начал Огарев.

Герцен перебил его:

— Теперь, как никогда раньше, я понимаю, от кого зависит будущее людей, народов...

— От кого?

— От нас с тобой, например. Как же после этого нам сложить руки!

Они помолчали.

Заговорил Огарев:

— Оказия к Чернышевскому должна быть очень верной и человек очень надежным. Кажется, такой есть. Мы увидим его сегодня вечером в ресторане Кюна на глупой вечеринке, которую состряпал этот хлопотун Кельсиев.

## *„Концы и начала“*

...Весь характер мещанства, с своим добром и злом, противен, тесен для искусства.

*ГЕРЦЕН*

— Вот этот молодой человек, видите его? С залысинами и в дурно сшитом сюртуке. Узнаю питерскую школу модников. Шьет им, верно, бессмертный Петрович, некогда построивший шинель Акакию Акакиевичу.

Сказавший это сам захохотал, следуя старинному правилу записных остряков: если дожидаться смеха собеседника, то острота может провалиться в небытие. А говоривший дорожил своей репутацией застольного шутника. Кстати, и фамилия у него подходящая: Перетц Григорий Григорьевич.

— Какой же он молодой? За тридцать, верно,— отвечал собеседник, пристально вглядываясь в человека в литературном сюртуке.

— А что, разве это старый?

— Да не это в нем замечательно. Он здесь временно и на днях возвращается в Питер чуть ли не на собственном пароходе.

— Откуда ж у него собственный пароход? — удивился Перетц.

— Вот этого я не могу вам сказать, сам краем уха слышал.

Григория Григорьевича это так заинтересовало, что он решил собрать дополнительные сведения и с этой целью пошел бродить вокруг обширного банкетного стола, подсаживаясь то к одному, то к другому гостю.

Через некоторое время он уже все знал. Это нетрудно. Разговоры шумные, нестеснительные. А кого остерегаться? Правда, на взгляд публика разношерстная. Но ведь, должно быть, все свои. А если кого и не знаешь, так, значит, из новичков, из последней поросли эмигрантов. Впрочем, собрание почтил своим присутствием даже барон Лайонель Натан Ротшильд, банкир, ведший финансовые дела Герцена, полный господин с неподвижным лицом, похожий на сейф, который снизошел до того, что спустился к людям. Однако он оставался недолго, видимо, все же чурался этого странного общества политических изгнанников — возможны развязные вопросы, двусмысленные шуточки и, что опаснее всего, бестактные просьбы денег.

К Григорию Григорьевичу Перетцу Герцен относился

благожелательно: мил, образован, из числа фрондирующих литераторов. Вояжирует для расширения умственного кругозора, но подумывает, не остаться ли ему насовсем, отряхнув прах деспотического отечества. Герцен не советует: «Нам такие люди, как вы, нужны там...»

И наружность у Григория Григорьевича вполне пристойная. Не красавец, но добропорядочность так и прет из всех его пор. Вот только уши торчащие, иногда они двигаются, как крупные насекомые. Да ведь это главный орган Григория Григорьевича: он любит слушать. Уж очень любознателен. Глаза? Их не разглядишь, они тщательно укрыты в глубине глазниц под густыми бровями, по-клоунски вздернутыми. Круглый животик успокоительно выпячивается под сюртуком, как свидетельство несокрушимой солидности своего владельца.

Как пчела, Перетц порхал вокруг стола, собирая по каплям нектар сведений. И все ему уже известно: молодому человеку в сюртуке от Петровича имя Ветошников Павел Александрович, на днях возвращается в Россию на корабле, коего он, можно сказать, полный хозяин, поглавнее самого капитана. Вася Кельсиев, его школьный товарищ, переводчик Библии и пристрастившийся к церковнославянским речениям, даже в разговоре с ним не преминул ввернуть — Перетц сам слышал — древнее (с петровских времен) словечко: «Возьмешь и от меня эпистолию».

А в общем, скучно. Герцен был необычайно чувствителен к общественной атмосфере. Хоть и шум кругом, звон бокалов, нестройный гул голосов, а Герцен едва ли не кожей ощущал, что вечер не удался. Не сказалось ли здесь постарение «Колокола»? Польский эмигрант граф Браницкий, такой оживленный обычно, молча потягивал свою любимую белую марсалу. Суздальцев Володя уткнулся в «Полярную звезду» и глаз не подымет. Владимир Стасов катает из хлеба шарики и, кажется, совершенно погружен в это занятие. Николай Альбертини упорно смотрит в по-

толок, быть может, обдумывает очередную статью, да не в «Колокол», пожалуй, а в «Отечественные записки». Сережа Плаутин, как свой, муж сестры Огарева, человек светский, гусар, флигель-адъютант, пытается оживить стол, шутит, рассказывает анекдоты... Но все это повисает в воздухе... И потом, позвольте спросить, при чем здесь «Колокол»? Ведь это же его пятилетие собрало всех на торжественный обед под своды ресторана Кюна. Собрало? Или уломал их всех Кельсиев, которого терзает демон честолюбия?

Почувствовав на себе магнетизирующий взгляд Герцена, Кельсиев подошел к нему.

И прежде чем Герцен успел вымолвить слово, сам поспешно заговорил:

— Александр Иванович, вам надо вякнуть глагол. Это ваше торжество. Сонмище алчет вашего сладкословия.

Кельсиев запустил фразу в стиле, который он считал старорусским, не только из филологической страсти, сколько чтобы распотешить Герцена. Он понимал, что вечер не удался, и хотел в этом шутовстве растопить свою вину.

Герцен сказал недовольно:

— У вас, Василий Иванович, не только кудри поповские, но и речь поповская.

И он повторил брезгливо:

— Сладкословие...

— А это мой неологизм, Александр Иванович.

— Я ничего не имею против неологизмов, но в живом языке, а не на лингвистическом трупе. Но оставим это. Меня беспокоит другое: не все люди в этом зале мне знакомы.

— Помилуйте, Александр Иванович, это все из наших. Ведь банкет по подписке.

— Уж не слишком ли широко вы звали людей? Точно ли все здесь по подписке?

— Все решительно! За исключением Паши Ветошникова. Он как гость. Он может быть нам полезен.

— Он когда в Россию?

— Паша? Точно не знаю, но не ранее десятого июля.

Герцен искоса посмотрел на Кельсиева. Тот нервно кусал губы, как-то весь дергался, побледнел даже.

— Да вы сядьте,— сказал Герцен мягко и положил руку на плечо Кельсиева.

Он понял его состояние: Кельсиев мучится сознанием собственной виновности и — больше того — собственной ненужности. В нем только и есть, что эта его беспокойная энергия. Но и она расточается впустую. И он не признается себе в этом, а в своих неудачах обвиняет окружающих.

«Энтузиаст без цели»,— подумал Герцен. И в то же мгновение в мозгу его вспыхнул и огненно отпечатался целый строй мыслей для произведения, которое он сейчас писал и хотел назвать «Концы и начала». С ним это бывало: в такие рабочие периоды нужные образы приходили иногда в самую неподходящую минуту, да, да, «худой, суровый, постный тип испанца, задумчивого без мысли, энтузиаста без цели, озабоченного без причины, принимающего всякое дело к сердцу и не умеющего ничему помочь,— словом, тип настоящего Дон-Кихота Ламанчского...». А рядом воплощение мещанства, «дородный тип голландца, довольного, когда он сыт, напоминающий Санчо Пансу...».

Герцен смотрел на Кельсиева с жалостью. Он знал меру его самолюбия, знал, какой это ранимый человек. Но он знал и меру его бездарности. Ни одной строки его невозможно было напечатать в «Колоколе». Он мечтал о положении одного из главных публицистов зарубежной революционной печати, равного Герцену и Огареву. А пришлось ему довольствоваться разбором писем в «Колокол» и ответами кой-кому из авторов. Но и это он делал не очень умело.

— Вот что, Василий Иванович,— сказал Герцен.— Сегодняшняя вечеринка не в счет. Не спорьте со мной. Ближайший приемный день у меня в воскресенье, шестого. Вот тогда мы устроим истинное празднование «Колокола». Без посторонних. Все действительно свои. Это будет и душевно, и политически значительно. Не трудитесь звать людей, я сам, оно и сердечней и почетнее.

Ветошников просиял, увидев, что к нему направляется Герцен.

Мысли о Дон-Кихоте, мелькнувшие во время разговора с Кельсиевым, Герцен поспешил внести в «Концы и начала», в «Письмо третье». Он немного расширил этот пассаж. Вспоминая свои недавние споры с Тургеневым («Дон-Кихот — альтруист! Дон-Кихот — борец с мировым злом!»), он изобразил Дон-Кихота в немногих строках, вплетая их в разные места рукописи, последователем ложных идеалов, не сумевшим принести благо людям,— пример: Гарибальди и Мацдини. Перед их благородными помыслами Герцен преклонялся, но считал их политически наивными.

Он аккуратно сложил рукопись и понес ее на второй этаж к Огареву.

— Вот тебе моя болтовня о концах и началах,— сказал он.— Да, так я и назвал эти листки. Я уходил в них, как уходят в воскресный отдых от ежедневных стычек — ты знаешь, с кем, от газетных мерзостей, от будничных споров.

— Для «Колокола»?

— А еще куда же?

— Как подпишешь?

— Как обычно: Искандер.

— Ты, впрочем, можешь и вовсе не подписывать: все равно узнают ex ungue leonem [1]. Удивляет меня несколько

[1] — льва по когтям *(лат.)*.

самое название, а вернее, порядок слов в нем — в голове «концы», а в хвосте «начала». Не должен ли я отнести это за счет особенностей твоего остроумия, которое так любит взъерошивать обыденность?

— Все это проще, нежели ты предполагаешь. Но — касательно остроумия. Что оно такое? Разве не великолепно обмолвился Жуковский: «Острóта ума не есть государственное преступление»? Согласись, это сказано лукаво.

Огарев сказал сквозь смех:

— Я знаю, Александр, что у тебя слабость к этому придворному поэту.

— Да, но он выручил меня из ссылки. Хочешь ли еще примеры остроумия? Изволь. Цитирую на память. Спиноза сказал: «Счастье не в награде за доблесть, а в самой доблести».

— Назидательно.

— А вот из филимоновского «Дурацкого колпака»: «Если бы разум царил в мире, в нем ничего не происходило бы». Такого рода высокое остроумие есть освежение обычных понятий, представление привычного в новом свете — истинном! К этому я стремлюсь и в «Концах и началах». Достиг ли? Вот это ты мне и скажешь.

— Стало быть, это в письмах? — спросил Огарев, листая рукопись. Ему не терпелось прочесть ее.

— Да. Признаюсь, Ник, я пристрастен к эпистолярному жанру. Письма — это движущаяся раскрытая исповедь, в них все без румян и прикрас, все остается, оседает и сохраняется, как моллюск, зажатый кремнем. Рука моя невольно тянется к жанру письма.

— Понимаю тебя. Думаю, что для тебя в этом жанре есть еще одна приманка: ты представляешь себе воображаемого получателя письма и от его образа воспламеняешься.

— Кажется, ты прав. Ты увидишь в этой рукописи много вводных мест. Это мое счастие и несчастие. За эти-то

отступления и за скобки я всего больше и люблю форму писем — и именно писем к друзьям.

И он прибавил, смеясь:

— Можно, не стесняясь, писать, что в голову придет.

— Уж не Иван ли Сергеевич твой таинственный адресат? Ты с ним много спорил, когда он недавно был у нас.

Огарев угадал. Это были споры между своими. Различие мнений не отдалило их друг от друга, Герцен никогда не мог устоять перед его умом и талантом. Ради этого он забывал, что когда-то о Тургеневе сказала Натали: «Он для меня, как книга, рассказывает — интересно. Но как дело дойдет до души — ни привету ни ответу».

А что касается до принципиальных, иногда яростных споров с Тургеневым в один из его приездов в Орсетт-хауз, то дружбы тогда они, повторяю, не нарушили. Да, Тургенев проявил себя в этих спорах как фанатичный европеец, бесповоротно убежденный во всеобщем превосходстве Запада над косной Россией.

Герцен знал: Тургенев поймет, что «Концы и начала» обращены к нему. Некоторые строки в них дословно повторяли его — Герцена — доводы во время этих словесных (главным образом ночных) битв с Тургеневым. Хотя бы это:

— Мещанство — последнее слово цивилизации, основанной на безусловном самодержавии собственности... Снизу все тянется в мещанство, сверху все падает в него по невозможности удержаться.

Преодолевая своим звучным голосом возмущенный ропот Тургенева, Герцен почти кричал, что мещанство съедает европейское искусство, что в Европе нынче нет ни передовой философии, ни социальных учений.

— Мещанство,— говорил он,— окончательная форма западной цивилизации, ее совершеннолетие... После всех мечтаний и стремлений оно представляет людям скромный покой, менее тревожную жизнь и посильное довольство.

При этом Герцен отталкивал от себя мысль — просто запрещал себе об этом думать,— что этот образ жизни с радостью приняло бы большинство человечества.

Но эта идея потребительского общества живуча, черт побери! Она то и дело подымает голову и нагло заявляет о своем существовании. Чтобы доконать ее, Герцен втаскивает в «Концы и начала» героев из своей ранней повести «Поврежденный» и разносит одного из них:

«...И все-то это для того, чтобы дойти до голландского покоя и за эту похлебку из чечевицы проститься с лучшими мечтами, с святейшими стремлениями».

Конечно, Герцен не называл прямо Тургенева ни в «Концах и началах», ни в изустных боях, когда обвинял русских в пренебрежении собственной страной. Но все-таки это было обращение во втором лице:

— К язвам России и к той борьбе, которая в ней идет, вы поворачиваетесь спиной, чтобы не лишиться собственного благополучия.

Зная, что бурный водоворот спора иногда стихийно увлекает его за пределы реального, он в успокоительном тоне добавил:

— Я не считаю мещанства окончательной формой русского устройства, того устройства, к которому Россия стремится и достигая которого она, вероятно, пройдет и мещанской полосой...

Был еще пункт, и очень важный, о котором Герцен умолчал в «Концах и началах». И о своем умолчании он также умолчал.

Ну хорошо, таковы, значит, концы погрязшей в мещанстве Европы. (В скобках, столь любимых Герценом, надо сказать, что увлеченный своим тезисом, он, который так проницательно предсказал возвышение Бисмарка и франко-прусскую войну, проморгал близкий приход Парижской коммуны, на пороге которой он стоял.)

Ну хорошо, свет с Востока, Россия не повторит путь Европы, ее начала другие.

Какие?

Вот этим буквально вопросом Герцен завершает «Письмо восьмое» и последнее «Концов и начал»: «Да, но в чем же эти начала?»

Ответа нет.

А ведь естественно было бы ожидать от Герцена утверждения, что путь России, ее «начала» — это русская сельская община.

Но о ней в «Концах и началах» ни слова.

Не потому ли, что эта идея стала выветриваться из политических убеждений Герцена?

Когда наконец вся семья собралась за столом, Герцен глянул на часы:

— Нынче ужин запаздывает. Что за причина?

— Ждем папу Агу,— ответила Наталья Алексеевна.— Я уже дважды посылала к нему.

— Сегодня к нему не достучишься: он читает мои «Концы и начала». Однако это хороший признак для автора,— сказал Герцен, смеясь.

Он с живостью оглянулся, заслышав мягкое шарканье.

Огарев протянул ему рукопись. Но тут же передумал:

— Нет, она мне понадобится для разговора о ней. Позволишь совместить это с чревоугодием?

— Конечно, соединим приятное с... приятным.

— Ну, обычный твой блеск, Александр, глубина, картинность. Хотя...

Сказав это, Огарев отправил в рот рюмку джина и вслед за ней кусок лосося.

— Ну что же «хотя»? Добивай уже.

— Не все до конца ясно.

— Я избегаю догматического изложения.

— Ясность мысли не то, что ясность изложения. У меня в этом смысле две претензии. Первая. Ты расправля-

ешься со старинным врагом твоим — мещанством. Ты не жалеешь для этого слов. А почему ты их тратишь вопреки своему лаконизму так много? Потому что само понятие «мещанство» трудно определимо, если определимо вообще. Действительно, что это такое? Явление духа? Или — отсутствие духа? Взгляд на мир? Или равнодушное отсутствие его?

— Ник! Ты же сам отвечаешь на свои вопросы.

— Я — да. Но это должен был сделать ты.

— По-моему, сделал.

— Не нахожу. Ты, например, зачисляешь в мещанство фотографию, эту, как ты ее называешь, «шарманку живописи». Это несправедливо, в лучших своих образцах фотография — хотя это только еще первые ее шаги — достигает силы искусства. Туда же на свалку ты сбрасываешь Гогарта, называя его «Рембрандтом и Ван-Дейком мещанства». Согласен?

— Нет, конечно. Я все-таки остерегусь выдавать авансы фотографии. Пусть она поработает за свой счет. Если дорастет до истинного художества, буду только рад. Что касается Гогарта, ты, Ник, просто не понял этого места. Может быть, вкралась неясность? Проверю.

— Проверь. Это необходимо. Неровность, моменты спада — это привилегия наша, маленьких литераторов. Ты не имеешь права снижать свой уровень.

— А разве снижаю?

Огарев порылся в рукописи.

— Вот «Письмо пятое»,— сказал он.— Ты начинаешь его обширнейшей цитатой из «Былого и дум», из той, правда, части, которая не опубликована, но я читал ее в рукописи. И этим ты, сам того не желая, наглядно демонстрируешь преимущество «Былого и дум» перед «Концами и началами». Свобода эпистолярного жанра увлекла тебя в... ну, в некоторую распространенность.

— Скажи уж прямо: в болтливость.

— Я не о том, Александр: в сомнительную концепцию. Ты, не заметив промаха в самой посылке, возводишь огромное здание на шатком фундаменте. Не боишься ли ты, что первый же порыв критического ветра его повалит?

— Я знаю, Ник, твою теорию о логических ошибках, которую ты развиваешь в «Кавказских водах».

— Неужели помнишь? А я запамятовал.

— Изволь, напомню. Примерно так: ничего не стоит построить любую философскую систему на ложном основании, надо только не сообразоваться с действительностью, а вести логическую нить, которой самая форма неизбежно построится в систему.

— Слушай, Александр, а ведь это здорово!

Они оба захохотали.

— Остроумнейшая теория, Ник. Только здесь — я разумею в «Концах и началах» — неприменима. И по очень простой причине: нет ложной посылки.

Огарев вздохнул. В нем не было задора спорщика. И убеждение, что Герцен не прав, доставляло ему страдание. Он сказал без всякого оживления:

— Ты утверждаешь...— Он порылся в рукописи и продолжал, как-то неохотно подбирая слова: — ...вот, в «Письме шестом»... Я читаю: «Для меня...»

Огарев поднял голову и пояснил:

— То есть для тебя, Александр.

— Бог мой, как ты тянешь! — сказал Герцен нетерпеливо.

— «...Для меня очевидно, что западный мир доразвился до каких-то границ... и в последний час у него недостает духу ни перейти их, ни довольствоваться приобретенным...»

Огарев опустил рукопись и посмотрел на Герцена взглядом одновременно жалобным и сожалеющим.

— Александр, ты упорно не замечаешь огромную социальную формацию: работников. Ты до сих пор ушиблен

крахом революции сорок восьмого года. И ты не видишь, что именно пролетариату предстоит сказать решающее слово.

Герцен откинулся на высокую спинку «патриаршего трона», как прозвали кресло, на котором он сидел во главе стола, и уставился на Огарева с деланно-театральным удивлением.

— Я хотел бы знать,— воскликнул он,— кто передо мной: Николай Огарев или Мишель Бакунин?

— Что ж,— спокойно ответил Огарев,— в Бакунине, при всей фантастичности некоторых его идей, есть чутье современности, быть может более острое, чем у всех нас.

Вот теперь Герцен удивился по-настоящему: в Огареве появилось что-то новое — он линяет в левизну.

Но он промолчал: это не для разговоров за семейным обедом, это слишком серьезно.

## *Неосторожность*

*Издателю «Дейли Ньюс».*

Сэр, один из главных агентов русской тайной полиции, действительный статский советник Матвей Хотинский, снова в Лондоне. Мы считаем своим долгом оповестить о его приезде всех поляков и наших русских друзей в Англии.

*АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН,*
*издатель «Колокола».*

Народу собралось в воскресенье явно меньше, чем неделю назад у Кюна. Зато — гость отборный. Все хорошо известные. Или — с верной рекомендацией. А это сегодня особенно важно потому, что готовились письма в Россию — грех не воспользоваться такой надежной оказией, как Ветошников.

Герцен спешно скинул с себя домашнюю вязаную куртку, натянул сюртук и понесся к дверям встречать званых. Он услышал голос жены:

— Знаете, я сама себе представляюсь как бы смотрительницей музея, которая показывает путешественникам сокровище и объясняет его значение.

Взрыв смеха, последовавший в ответ на это, мог принадлежать только Володе Стасову. Тут вмешался второй голос — раскатистый бас, незнакомый:

— Одна русская дама — да вы, может быть, знаете ее,— Людмила Петровна Шелгунова, говорила, что их сборы, ее и мужа, к вам в дом походили на сбор мусульман к могиле пророка.

«Мрачноватая ирония»,— подумалось Герцену.

Со Стасовым он обнялся, как всегда при встречах, и шепнул ему на ухо:

— Есть разговор.

К другому — тот нестарый, высокий, статный, лицо живое, держится свободно — с легким поклоном:

— С кем имею честь?

Незнакомый улыбнулся. Что-то озорное мелькнуло в его приветливой улыбке.

— Да вот,— сказал он, кивая на Стасова,— Владимир Васильевич увлек меня к вам. Я, конечно, с радостью и с робостью. Николаем назвали меня отец с матерью. А если вам надобна и фамилия, Успенский.

Герцен вгляделся в него:

— Николай Успенский? Уж не автор ли очерков «Из простонародного быта»?

— Имею неосторожность быть им.

— Ваши рассказы — простите, как вас по батюшке? — украшают «Современник», Николай Васильевич.

— Ну и острое же у вас зрение, Александр Иванович, если вы с вашей орлиной высоты соизволили заметить столь микроскопическую мошку.

— Не придавайте значения словам Николая,— сказал Стасов невольно удивленному Герцену,— уж такой у него стиль: смирение паче гордости.

Герцен ласково улыбнулся. Успенский ему понравился — взгляд прямой, немигающий, ну, чисто соколиный, упрямо сжатые губы, выражение лица смелое, даже дерзкое. Герцен вспомнил отзыв о нем Тургенева: «Человеконенавидец». Но, впрочем, клички, выдаваемые Иваном Сергеевичем, слишком часто носят сугубо личный характер.

Герцен, напротив,— представьте! — не понравился Успенскому. И Александр Иванович это почувствовал: «Вероятно,— подумал он,— Некрасов настроил его против меня».

Большая гостиная наполнялась быстро. Вокруг длинного стола — ни одного стула. Хочешь есть, пить — только стоя. А потянуло присесть — ступай к любой из стен, вдоль них стулья.

Главное украшение стола — грандиозный торт в виде колокола. Герцен не удержался от шутки:

— Ба! Старый знакомый: ведь этот торт был на трехлетии «Колокола». Вообразите, он совсем не изменился за эти два года.

Взяв Стасова под руку, Герцен отвел его в сторону. Гул разговоров и звон посуды за столом позволили беседовать, не снижая голоса.

— Будете возвращаться в Россию,— сказал Герцен,— не берите с собой ничего нелегального. На границу в таможенные пункты разослан список лиц — и вы там первый! — коих должно обыскивать и в случае надобности арестовывать. Список мне сообщен верными людьми, моими польскими корреспондентами. Что из недозволенного хотите перевезти, оставьте у меня: на днях будет надежная оказия.

— Александр Иванович! — Стасов смотрел на него с обожанием.— Я так хотел бы иметь какую-нибудь вашу рукопись, чтобы написанное вашей рукой осталось навеки для России.

— Ну, это значит прямым ходом за решетку. Дать-то я вам дам хотя бы мои «Концы и начала», только не сами повезете, я перешлю все с той же оказией. Ну, а теперь пойдем в люди, не годится нам шептаться в углу, как заговорщикам.

По дороге Герцен знакомил Стасова с теми, кого тот не знал, в первую голову со своими детьми, прибывшими специально на это торжество — Тата, красивая девушка лет восемнадцати, надежда отца и о которой он говорил, что «у нее наши симпатии, она de notre genre» [1], приехала из Бельгии. Он обожал ее, но острый язык его не щадил иногда и любимую дочь. «Моя дочь до того увлеклась живописью, что начала петь»,— сказал он, когда она переменила одно увлечение на другое.

Саша, он же Александр Герцен-junior, примчавшийся из Швеции, красивый, как все Герцены, двадцатидвухлетний студент, изучавший естественные науки, до того молчаливый и корректный, что Стасову не понять было, что же он такое.

Одно для него было ясно, и он не скрывал этого от Герцена.

— Из ваших детей самый молодой — это вы,— сказал он.

Герцен рассмеялся.

— Моложе даже ее? — спросил он, указывая на маленькую четырехлетнюю Лизу на руках у матери.

— Ну, она ведь не ваша,— смеясь же, ответил Стасов.

Герцен закусил губу: проговорился!

До сих пор скрывали его неофициальный брак с Туч-

---

[1] — нашего духа *(фр.)*.

ковой. И за отца их детей выдавали Огарева. А Огарев уже был женат на Мери Сетерленд. Но тоже неофициально. Какое путаное положение!

Немудрено, что Герцен то и дело проговаривался. Особенно же — Наталья Алексеевна. Это естественно при ее порывистости и несдержанности. «Какое причудливое и странно-застенчивое существо»,— сказал о ней кто-то из близких к дому Герценов. Вот и сейчас Наталья Алексеевна, заметив, что разговор идет о них, подошла к Стасову.

— Как вам нравится наша Лизочка? — сказала она, прижимая к себе девочку.— Правда, она вылитый Герцен?

— Натали...— пытался остановить ее Герцен.

Но она не слушала и продолжала в каком-то самозабвении:

— Она как осколок блестящей ракеты!

Вдруг поняв, что она сделала неловкость, попробовала перевести разговор и затараторила в тоне светской болтовни:

— Не правда ли, сейчас здесь в Лондоне страшная жара? Но мы здесь не остаемся. Мы все, то есть я с детьми, уезжаем на остров Уайт в прохладу, к морю. А потом к нам присоединится Герцен.

Она была с Герценом на «ты», но называла его не по имени, а «Герцен».

Кельсиев напомнил Герцену о его намерении сказать речь.

— Ну, речь не речь, но несколько слов скажу.

— Воздвигнитесь на возвышение, Александр Иванович,— сказал Кельсиев, придвигая стул,— зане ваш глагол не внимут окрест.

Он подхватил Герцена под локоток, еще кто-то — под другой.

Герцен оглянулся; это был Григорий Григорьевич Перетц.

— Не трудитесь,— сказал Герцен досадливо.

Что-то в внезапной услужливости Перетца ему не понравилось.

— Помилуйте, это нам честь,— сказал Перетц.

Узкая щель его рта восторженно раздвинулась, показав дурные зубы.

Мимолетно мгновение, пока Герцен утверждался на этом подобии трибуны, но мысль его, как всегда молниеносная, успела в него уместиться: есть тайные агенты из страха, из-за денег, из злобной зависти, из карьеризма, ради ощущения своей невидимой власти. Но он тут же отторгнул от себя подозрение, поскольку стало известным — правда, от самого Перетца,— что недавно, возвращаясь в Россию, он был задержан и обыскан на таможне.

Герцен начал свою речь с нападения. Ему так было легче, атака — его стихия:

— Господа! Доктринеры упрекают «Колокол» в том, что он нравственно ломает старые учреждения и не предлагает никаких новых порядков. Упрек этот несправедлив. Перед вами «Колокол» за пять лет. В нем нет догматической схоластики, но вы найдете там наши мнения о том, что нужно народу. Кстати, именно так озаглавлены статьи Николая Платоновича Огарева в одном из листов «Колокола». Нет, господа! Мы не представляем собой громовержцев, возвещающих молнией и треском волю божью. Манна не падает с небес, она вырастает из почвы,— вызывайте ее, помогите ей развиться, отстраните препятствия — вот задача «Колокола», которую он посильно решал за пять лет...

Герцен воспламенился. Глаза его под высоким великолепным лбом и низко сдвинутыми бровями пылали. Иные слова он подкреплял энергичными взмахами рук. Широкий торс, слегка наклоненный вперед, как бы выражал

порыв к действию. Он не казался в эту минуту ни тучным, ни сутулым. Годы слетели с него, как пыль. Звучный голос его лился под сводами зала, и то, что он говорил, казалось непререкаемым.

— Господа! «Колокол» остается вне России только потому, что там свободное слово невозможно, а мы веруем в необходимость высказывать его. Мысль наша, наш колокольный...

Это слово он выделил подчеркнутой интонацией.

— ...колокольный звон ни на волос не отошел от тех оснований, на которых мы жили, во имя которых говорилось каждое слово наше!..

Он откашлялся. От пафоса перешел к рассудительному тону:

— Освобождение народа — дело самого народа. Но мы — часть его. Господа!..

Оказалось, что эта рассудительность — только подготовка к завершающему прыжку:

— ...Русь подымается от тяжелого сна и идет навстречу своей судьбе!..

Он протянул руку, шевеля пальцами. Значение этого жеста первый понял, как это ни странно, нерасторопный тугодум Аяин. Он быстро вдвинул в развернутую ладонь Герцена бокал с вином.

— Господа, я пью за грядущее величие свободной России! — воскликнул Герцен.

Со всех сторон к нему спешили с бокалами.

До слуха его вдруг сквозь смутный говор и бряцание посуды донеслось чье-то замечание, по-видимому, человека, который не стеснялся, что его могут услышать:

— Похоже на поминки...

Герцен живо повернулся и увидел Николая Успенского. Он смотрел на Герцена как будто с насмешливым вызовом.

На него сбоку в волнении, чуть ли не приплясывая, наседал Аяин, видимо шокированный его словами:

— Как вы можете так говорить... Прекрасное торжество... Похоже на день рождения.

— Увы! — вздохнул Успенский и сказал тоном слишком театральным, чтобы его слова звучали искренне: — Каждый знает свой день рождения, но никто не знает дня своей смерти.

— А я...— начал Аяин.

Окружающие с любопытством посмотрели на него.

Герцен не сдержал смеха.

— Слушайте, Аяин,— сказал он,— из-за преувеличенного внимания к собственной персоне вы только что чуть не сморозили величайшую глупость, притом довольно зловещую.

— За что вы его так? — пробасил Успенский, когда Аяин отошел, не столько задетый, сколько недоумевающий.— Ведь он человек, в сущности, безобидный.

— Он меня обижает своей пошлостью,— ответил Герцен резко.

Он давно чувствовал, что Успенский непрерывно следит за ним взглядом, точно изучает его. Это забавляло Герцена. Полный дружелюбия, он спросил Успенского:

— Тургенев говорил мне, что вы тоже из семинаристов. Верно? Вот и отец Добролюбова, я слышал, священник, даже иерей большого собора.

— Отец мой — сельский поп,— коротко отозвался Успенский.

— Подумайте,— продолжал Герцен,— сколько духовные школы дали нам прекрасных борцов с самодержавием и с верой. Я думаю, с безбожия все и началось у них. Не так ли?

— Ну, я хоть и попович, а вырос среди дворни.

— Ах вот почему,— воскликнул Герцен,— в вас есть что-то и мужицкое и поповское!

Лицо Успенского неприятно исказилось.

«Уж не обиделся ли он? Малый, видимо, с воспаленным самолюбием»,— подумал Герцен и поспешил сказать приветливо:

— Вы, Николай Васильевич, к нам прямо из Парижа? Ну как он вам? Верно ли, что правительство Гизо предпринимает новый поход против свободы печати?

— Знаете, Александр Иванович...— сказал Успенский, сделал маленькую паузу и даже как бы облизнулся, заранее наслаждаясь своим ответом,— в Париже я больше интересовался гризетками. Невероятно хороши там девочки!

Это была, конечно, намеренная грубость, неуважение явно подчеркнутое, к серьезному тону собеседника.

Герцен решил не обращать внимания на мальчишескую выходку Успенского. Черт возьми, он вынудит, в конце концов, его перейти от бравады к настоящему разговору!

— Я читал,— сказал он,— ваши рассказы в «Современнике». Это, пожалуй, самое мрачное в нашей литературе изображение крестьянского быта. Но этим рассказы значительны и...

Успенский перебил его:

— Назовите их,— сказал он задорно.

Герцен затаил улыбку в уголках рта. «Э, да он проверяет меня».

— С удовольствием,— сказал он вежливо.— «Сельская аптека», «Хорошее житье». Мне нравится в них полное отсутствие сентиментальности, всех этих беллетристических слюней и филантропических слез над горькой участью русского мужика. Самой своей мрачностью эти картины обличительны.

— Вот в этом и разница между нами,— сказал Успенский уже серьезно и даже с назидательностью в тоне.— Вы, Александр Иванович, обличаете господ, чтобы их извести, а я обличаю рабов, чтобы их поднять.

— Вы мельчите наши цели,— сказал Герцен сухо (он начинал раздражаться),— надо засыпать пропасть между образованным меньшинством и народом. Надо школы открывать в деревнях.

— Зря вы, Александр Иванович,— сказал Успенский едва ли не с презрением и не очень скрывая его,— предлагаете просвещать мужиков. Они с голодухи жрут лебеду да мякину. Сперва надо накормить человека, а уже потом ему и книжку подкладывать.

Подошел Огарев. Он поглядывал на Герцена, удивляясь его молчанию. Герцен нервно крутил кончик бороды, иногда покусывал его.

— Я, Николай Васильевич, намерен с вами говорить, как с совершеннолетним,— наконец сказал он,— и думаю, мне нет надобности прибегать, чтобы вы меня поняли, к детскому лепету или лицемерить, ибо лучше молчать, если нельзя иначе.

Успенский даже пошатнулся. Губы его беззвучно зашевелились. Было похоже, что у него захолонуло дыхание. Высокий, широкоплечий, со скрещенными руками — из засучившихся рукавов вылазили могучие запястья,— с грозно сдвинутыми бровями и дерзким изломом рта, он был так живописен, что Герцен невольно залюбовался им. «Васька Буслаев с университетским образованием»,— подумал он.

— Детский лепет? — проговорил Успенский (в басе его послышались грозовые рокоты).— Довольно вы уже налепетали в вашем «Колоколе» про крестьянскую общину. А община — это, к вашему сведению, деспотизм. Я знаю случай, и он не единичный, когда община отняла у мужика его единственную соху. За что? За то, что он ослушался ее. В чем? А в том, что этот день община назначила для поголовного пьянства, а он не подчинился и вышел в поле пахать...

Он оборвал свою речь внезапно.

— Да ...— проговорил Герцен медленно.— Видимо, Тургенев все-таки прав — вы настоящий нигилист. Вы отрицаете в народе все: разум, честность, совесть.

— Я отношусь к народу, как к равному себе, без барской чувствительности.

Огарев заметил:

— Туманный ответ.

— Нет, дельный,— сказал Герцен задумчиво.

— Вы с вашим «Колоколом»,— продолжал Успенский,— вы не идете дальше отмены крепостного права, телесных наказаний и требований свободы слова.

— Мало, по-вашему?

— Накормить мужика надо!

Герцен хотел сказать: «Именно об этом я и писал!» Но не сказал, не захотел оправдываться перед этим питерским буяном из вольницы Чернышевского. К тому же он устал. И потом какая-то правда, пусть безобразно выраженная, в словах Успенского все же есть. Но надо же что-то сказать, чтобы закруглить разговор:

— До тех пор,— сказал Герцен,— пока народ безмолвствует, по слову Пушкина...

— Ваш Пушкин — великосветский шалопай и пустышка,— буркнул Успенский.

Тут Герцена взорвало. Ему захотелось ударить Успенского. Или выгнать. Он сдержал себя. Все равно, почему Успенский болтал о Пушкине — по убеждению или из желания публично покощунствовать.

— Пустышка, по-вашему? — повторил Герцен сквозь сжатые зубы.— Что ж, каждый выбирает Пушкина себе по плечу.

Успенский заметил, что попал в чувствительную точку. Он решил растравить ее.

— Неужели вы не видите, Александр Иванович,— сказал он невинным тоном, смягчая бас, почти учтиво,— что Пушкин поверхностен и безнадежно устарел?

— Я вижу,— отчеканил Герцен,— что вами владеет мечта обывателя: стянуть гения в ту лужу, в которой он сам барахтается.

Успенский досадливо щелкнул пальцами, как бы пытаясь извлечь из воздуха недававшуюся ему реплику. Но воздух ему ничего не выдал.

Он отошел к столу и налил себе водки, выбрав бокал пообъемистее.

— Il a un air de grand distinction [1],— сказала Наталья Алексеевна, подойдя к Герцену.

Когда она хотела сказать о ком-нибудь, что он изящен, она почему-то переходила на французский.

— Чисто женское суждение. А я в каждом ищу человека,— отозвался Герцен сурово.

— Герцен, это невежливо по отношению ко мне!

— Прости... Мне он чем-то напоминает Энгельсона: та же возбужденность, в которой есть что-то истерическое и несомненно наигранное, почти лицедейское, как и у того.

— Ты прав,— сказал Огарев.— И это истерическое роднит его и с нашим Кельсиевым.

— Пожалуй... С той только разницей, кстати очень существенной: Успенский несомненно даровит. А бедный наш Кельсиев, человек в чем-то способный, безнадежно бездарен в литературе и принимает за талант собственную нервозность.

— Быть может, это вообще в человеческой природе.

— Конечно. Но в наших оно с русским коэффициентом,— живо, не задумываясь, ответил Герцен.— Все лучшее и худшее, что есть в русском человеке, есть в Успенском: стихийность, безалаберность, одаренность. В конце концов в каждом из нас есть что-то от Николая Успенского.

— Как ты понимаешь «стихийность»?

---

[1] Он очень изящен *(фр.)*.

— Безудержность. И в святости, и в растленности.

— Неужели нет разумной середины?

— Почему же? Сколько угодно. Ведь и в самой умеренности можно быть неудержимым.

— В этом человеке,— сказал Огарев глядя на Успенского, наливавшего себе второй бокал,— сидит демон. Его страсть — неприятие. Он «неприятель» всем и всему. Следственно, бездушен. Помяни мое слово — он кончит плохо.

Огарев словно прозревал будущее...

Герцен глянул на часы.

— Ветошников уезжает в Гулль завтра с утра,— сказал он озабоченно.— Стало быть, сейчас самое время передать ему письма. Надобно оповестить всех наших.

Так как считалось, что здесь все свои, то разговоры о письмах — хоть и не громко, но и не шепотом — возникали то там, то здесь, то за столом, где закусывали стоя, то у стен, куда удалялись посидеть, захватив с собой чашечку кофе или бокал с вином. Герцен и Огарев поднялись на второй этаж в кабинет.

«Давно не удавалось побеседовать с вами, дорогой друг. В минуту жизни трудную — мы как-то разобщены...» — писал Огарев.

— Николаю Серно-Соловьевичу? — спросил Герцен, заглянув через его плечо.

Он решил не писать ему отдельного письма, а приписать к огаревскому. Пока что он опустился в кресло и закурил сигару.

«...Мне кажется,— продолжал писать Огарев,— что уяснить необходимость земского собора становится делом обязательным...»

Герцен по-прежнему глядел через его плечо.

«...Я думаю, что из всех последних событий вы убедились, что мое озлобление на литературную дрязгу не было слишком пусто...»

— Надо бы,— вмешался Герцен, осторожно отводя руку с сигарой, чтобы не стряхнуть с нее пепел,— что-нибудь о том, чтобы они там не замыкались со своей пропагандой в Питере.

Огарев кивнул головой и продолжал:

«...Если у вас нет корня в провинциях — ваша работа не пойдет в рост. Я даже рад, что Петербург не в силах ничего сделать... Уясняйте цель — провинциям... Рознь верхушек и народа слишком велика, чтобы понять друг друга, и сближение их всего меньше возможно на невской набережной и Марсовом поле; оно возможно только при реках черноморско-каспийских...»

Огарев устало откинулся на спинку кресла.

— Я только несколько строк,— сказал Герцен, придвигая к себе письмо,— у меня сегодня голова болит, не горазд писать. Только о самом главном.

Он быстро набросал несколько строк. Огарев следил за его рукой. Герцен остановился, кинул значительный взгляд на Огарева и решительно приписал:

«...Мы готовы издавать «Современник» здесь с Чернышевским или в Женеве... Как вы думаете?»

Посмотрел вопросительно на Огарева. Тот согласно кивнул, вложил письмо в конверт, надписал: «Николаю Александровичу».

Внизу в большом зале Бакунин примостился за посудным столиком и заканчивал уже третье письмо.

Кельсиев устроился на подоконнике. Он строчил письмо, которое по торжественности слога впору назвать посланием. Оно предназначалось также для Николая Серно-Соловьевича и содержало намеки на то, что основной столп «Колокола» по-прежнему, конечно, Герцен, но истинной душой «Колокола» постепенно становится... словом, не будем уточнять, сами понимаете, «понеже в руцех моих вся корреспонденция...»

Ветошников упрятал письма во внутренний карман кителя.

— Это лучшее хранилище,— сказал он, улыбаясь,— нас ведь не обыскивают. Да и досмотру не подвергают.

Он попросил Герцена:

— Очень хотел бы иметь на память ваш дагерротип.

— С удовольствием дам,— сказал Герцен,— да он больно велик, в карман не упрячете.

— А я его заверну в «Таймс» и на дно чемодана, под белье. Да нет, еще такого случая не было, чтобы таможенники или полиция нам надоедали.

Герцен подошел к Кельсиеву и обнял его за плечи. Кельсиев просиял: в последнее время Герцен не очень баловал его своей приветливостью.

— Вы нам оказали драгоценную услугу,— сказал Герцен ласково,— мы обязаны вам Ветошниковым, то есть периодической связью с Россией.

Николай Успенский уже в порядочном подпитии уходил не прощаясь.

— Что-нибудь передать хозяевам? — спросил его неизвестно откуда взявшийся Григорий Григорьевич Перетц.

Успенский глянул на него мутными глазами и сказал коснеющим языком, придерживаясь одной рукой за притолоку:

— Герцену пора отпеть отходную, а то и просто прочесть вечную память...

Ушел, оставив дверь на улицу распахнутой. В ночном рыжеватом тумане его очертания тотчас расплылись гигантской тенью.

А вслед за ним нырнул в туман и Григорий Григорьевич. Добравшись до почтамта, он стряхнул с плаща сырость и быстро набросал депешу.

Телеграфист с сонными глазами долго ее отстукивал. Работа трудная, приходилось латинскими литерами отбивать русские слова. А русские имена такие диковинные, например: «Ветошников», хоть сама телеграмма и была довольно лаконичной:

«Едет Ветошников с опасными документами корреспонденциями от лондонских эмигрантов».

## „Колокол" на изломе

Молодость напоминает стрелу, направленную в будущее.

*МАРКОС АНА*

Только пришвартовался пироскаф Ветошникова у Кронштадтского мола, как по трапам взбежали на палубу в поразительно большом количестве полицейские чины разных званий и тут же обыскали его. Они так тщательно охлопывали Ветошникова со всех сторон, что он, не выдержав, проворчал:

— Куда уж дальше: под кожу, что ли, ладитесь...

— Надо будет — и под кожу заберемся, работаем на совесть,— невозмутимо ответил чин.

— Для этого надобно ее иметь,— буркнул Ветошников.

Впрочем, гражданское мужество из него довольно быстро выдохлось, и он написал полное признание, за что и получил послабление в каре.

По письмам, взятым у него, было привлечено и схвачено много людей. А главное, был арестован Чернышевский.

«Страшно больно, что Серно-Соловьевича, Чернышевского и других взяли,— это у нас незакрывающаяся рана на сердце»,— писал Герцен одному из друзей.

Рана эта не закрывалась всю жизнь. Герцен не переставал скорбеть, его мучила мысль, что несколько строк, приписанных им к письму Огарева, стали причиной ареста Чернышевского.

Это не так, конечно. Арест этот был давно предрешен. Чернышевский был обречен. Ждали первого повода.

К этому у Герцена присоединилось сознание, что с уходом Чернышевского из практической деятельности все надежды и ожидания революционной России обращены на него: движению нужен новый вождь.

— На одной сильной личности,— воскликнул Герцен,— держалось движение, а сослали — где продолжение?

Да! Молодая Россия обезглавлена. Но Герцен не считал, что он может заместить Чернышевского. Не говоря о других препятствиях, уже по самому эмигрантскому положению своему, то есть физической оторванности от России, он не мог стать во главе внутрироссийской революционной организации.

Но даже не в этом дело. Герцен не ощущал в себе, ну, что ли, влечения, да и способностей к практической деятельности руководителя — просто по самой сути своей натуры. При всем динамизме своей энергии он был человек пера, литератор, великий мастер письменной пропаганды. Вся его сила собралась на кончике пера. Он был гениальный писатель.

Как бы отвечая на возможные призывы, он заявлял:

— Пора сосредоточить мысль и силы, уяснить цели и сосчитать средства. Пропаганда явным образом разбивается надвое: с одной стороны слово, совет, анализ, обличения, теория, с другой — образование кругов, устройство путей внутренних и внешних сношений. На первое мы посвящаем всю нашу деятельность, всю нашу преданность, второе не может делаться за границей. Это — дело, которого мы ждем в ближайшем будущем.

Ждем... Но от кого? Где продолжение?

— Не во мне оно,— убеждал Герцен себя, быть может, не без горечи.

И после раздумья прибавлял с искренностью, которая потрясала всех слышавших его, близких и далеких:

— Россия не виновата, что ее лучшие люди...

Он усмехнулся:

— ...и мы в том числе...

Ни Огареву, ни Наталье Алексеевне, ни Стасову, бывшему у них в это время, не показалось это нескромностью, а, наоборот, правдой, ибо это действительно была правда.

— ...не имели...

Он поискал слово. Нашел:

— ...смысла...

Это слово вполне удовлетворяло его:

— ...именно смысла стать в практические деятели, когда это было можно, а были старые студенты, швермеры...

Он произнес это немецкое слово «Schwärmer» — мечтатель — на русский лад:

— ...поэты и революционных дел мастера и эмигранты...

Но Александр Александрович Слепцов не был «швермер», а, наоборот, весьма практический человек, каким он и показался Герцену, когда прибыл к нему в Лондон как уполномоченный «Земли и Воли».

Довольно быстро договорились о делах типографских, главным образом выпуске прокламаций и вообще революционной литературы.

— Если вы только за этим приехали...— удивился Герцен.

— Во-первых, не только за этим. Сейчас услышите, не будем сбиваться, во всем нужен порядок. Прокламации

вы должны выпускать в несравненно больших тиражах, чем до сих пор!

Герцена резануло это «должны». Ему не понравился начальнический тон Слепцова. Поначалу это его смешило, а потом он с печалью подумал: «Даже у них в подполье есть своя иерархия. Неужели даже революционеры не свободны от бюрократического членения на чины...»

По-видимому, Слепцов заметил ироническую нотку в обращении с ним Герцена. И несколько укротил начальственные рокоты в своем голосе. И нисколько не удивился Герцен, узнав, что довольно скоро этот член Центрального комитета «Земли и Воли» отошел от революционной деятельности и превратился в смирного чиновника, изредка позволявшего себе либеральные ужимки. Встретив Герцена в Ницце, этот экс-революционер не поклонился ему. «Слепцов боится ходить ко мне — хорош!» — писал Герцен Огареву.

Однако — нельзя было это отрицать — опустела русская тропа в Лондон. Секретные сотрудники (сокращенно: сексоты) царского правительства, следившие за домом Герцена, за его русскими посетителями, как говорится, припухали от безделья.

Поначалу Герцен недоумевал, тревожился. Помилуйте, раньше отбоя от русских не было. Постепенно им овладевала горькая догадка, что от столь длительного пребывания за рубежом в сознании изгнанников линяет истинная картина родины и что этого рокового вычерка не восполнить никакими корреспонденциями из России. Да и самый поток писем, когда-то такой обильный, начал мелеть. Причина? Все та же: оторванность, отчужденность и, как самое погибельное следствие, устарелость. Увядание... И это мучило Герцена гораздо больше, чем диабет, который у него недавно обнаружили врачи.

Идиллия, да и только! Одна из наиболее пламенных прокламаций создана в... полицейском участке. Двадцатилетний студент, сидя в Тверской полицейской части в Москве, в порыве революционного вдохновения написал воззвание «Молодая Россия», где в самых решительных выражениях ниспровергались все авторитеты, в том числе власть, собственность, семья. Эта литературная бомба была передана на волю через... часового как партикулярное письмо. Еще раз подтвердилось, что, чем проще революционная техника, тем она успешнее. Студенты тиснули прокламацию литографским способом и пустили в самое широкое распространение, расклеивали ее на стенах, рассылали по почте, проникнув в театры до начала спектакля, раскладывали ее на креслах, раздавали в церквах. А однажды посреди дня по многолюдному Невскому проспекту вихрем промчался человек на белом рысаке и раскидывал прокламации направо и налево. Этим человеком был Александр Серно-Соловьевич, и этот странный поступок впервые вызвал у его друзей тревогу по поводу его психического состояния.

Шум невероятный. Власти избегались, ища автора прокламации, которого они рисовали себе в образе мощной революционной организации, тогда как это были юноша Петр Заичневский и его друг, не менее юный Перикл Аргиропуло. Конечно, нельзя все это представлять себе как личное творчество двух революционно настроенных юнцов. Они, в сущности, опирались на новое поколение русской интеллигентской молодежи, а непосредственно — на небольшой численно, но идейно крепкий центр.

Возможно, что эта группа не ожидала, какой широкий резонанс получит их прокламация. Будто бы и не очень серьезная на первый взгляд, она с течением времени стала значительным событием в общественной жизни России и отозвалась эхом в Лондоне в кругу Герцена. Диалог шел через всю Европу. После нескольких вежливых реверансов

в сторону Герцена прокламация обрушивалась на него. «Молодая Россия» заявляла:

«Несмотря на все наше глубокое уважение к Александру Ивановичу Герцену как публицисту, имевшему на развитие общества большое влияние, как человеку, принесшему России громадную пользу, мы должны сознаться, что «Колокол» не может служить не только полным выражением мыслей революционной партии, но даже и отголоском их...»

Беспощадно? Да. Уязвлен ли этой характеристикой Герцен? Нисколько.

В то же время нельзя сказать, чтобы он был вовсе равнодушен к суждениям о нем русской революционной молодежи. И не только в Питере или в Москве, но даже и на заграничной периферии. Эту порой болезненную чувствительность его подметил один из поклонников Герцена, Николай Белоголовый. От наблюдательных глаз его не ускользнуло, что Герцен, «несколько избалованный,— как он замечает,— атмосферой поклонения и почета в Лондоне, был разочарован резким неприятием его молодой эмиграцией в Женеве».

Однако к критике «Молодой России» Герцен отнесся благодушно, по-отечески. «Ясно,— откликнулся он в «Колоколе» на их вылазку против него,— что молодые люди, писавшие ее, больше жили в мире товарищей и книг, чем в мире фактов; больше в алгебре идей с ее легкими и всеобщими формулами и выводами, чем в мастерской, где трение и температура, дурной закал и раковины меняют простоту механического закона и тормозят его быстрый ход. Речь их такою и вышла, в ней нет той внутренней сдержанности, которую дает или свой опыт, или *строй организованной партии».*

Тем не менее увядание «Колокола» было неотвратимо. Он чахнул на чужбине. Попытки радикализировать его ни к чему не привели. Даже связь с революционным под-

польем в России, с «Великорусом» и «Землей и Волей» не могла оживить поникший организм «Колокола». Он не поспевал за развитием социалистической мысли, он стал ее вчерашним днем, он отстал, как отстает уставший путник в конце дороги, до него не дошло огромное значение создававшегося вокруг Маркса I Интернационала, он не дозрел до идеи классовой борьбы поднимавшегося пролетариата.

Создателям «Колокола» было ясно, что их детище остановилось в росте. Однако жаль было выпускать из рук столь хорошо отточенное оружие. Быть может, оно притупилось временно? Герцен и Огарев делают одну попытку за другой, чтобы влить в «Колокол» новую пропагандистскую силу. Одна из них — обращение к Николаю Утину.

Этому добровольному изгнаннику из России, члену Центрального комитета «Земли и Воли» они предложили участвовать в руководстве «Колоколом». Конечно, совместно с ними, с тем чтобы объединенными усилиями впрыснуть живительный идейный раствор в застоявшуюся кровь журнала.

Как и следовало ожидать, Утин уклонился, не захотел связывать себя. Слишком уж отличались его взгляды на пути революционного развития России от убеждений создателей «Колокола». Другое дело, если бы совсем перенять из их рук это издание. Но такой крутой поворот под силу только группе. Сюда и устремились усилия Николая Утина.

Тогда Герцен и Огарев задумали перенести выпуск «Колокола», да и вообще всю Вольную русскую типографию из Лондона на континент.

Дело не только в том, что к этому времени Англия, ее быт, ее национальный характер потеряли в глазах Герцена былую привлекательность.

— Удивительная страна,— как-то отозвался он об Англии,— глупая и великая, пошлая и эксцентрическая, бык с львиными замашками.

А в том дело, что Лондон перестал быть средоточием революционной демократии. Некоторое время Герцен колебался, в какое место перенести типографию: куда-нибудь в Швейцарию или в Милан, а может быть, в Брюссель? Или в Женеву? Именно этот город становился тогда центром международной оппозиционной мысли, русской, в частности. И здесь снова возник вопрос о преобразовании «Колокола». Во что? В какую новую ипостась?

Вот об этом шел разговор весьма горячий в Женеве между Герценом и той группой, которая бралась произвести реанимацию умирающего журнала.

Герцен с жадным интересом вглядывался в лица встретившей его молодежи. Он ожидал увидеть в ней гребень новой волны и то, что он называл покуда в надеждах своих: «Эта фаланга — сама революция, сурова в семнадцать лет».

Впервые он видел представителей «Молодой России» в таком количестве, вероятно сплоченных единодушным к нему отношением. Каково оно? Сейчас это выяснится.

Надо думать, что все они, чтобы избежать каторги, а то и виселицы, бежали за границу и здесь из «Молодой России» стали Молодой Эмиграцией. Это уже что-то другое, конечно. Впрочем, некоторые из них приехали вполне легально, как, например, эта белокурая дама, что посматривает на него так недоброжелательно. А вообще, манеры большинства их отличает странное смешение стеснительности и развязности. Герцен пытается разбить это, он держится, как всегда, легко, свободно, дружески.

Пожелания — впрочем, правильнее их назвать требованиями группы — излагает все тот же Николай Утин, человек практический, даже, как показала впоследствии его жизненная линия, слишком практический: он сумел заинтересовать группу подпольщиков судьбой «Колокола».

Иногда его речь перебивают другие, и он тогда недовольно озирается. На Герцена он смотрит невидящим

взглядом, как на неодушевленный предмет, хотя временами отпускает ему покровительственные комплименты за былую (он так и сказал «былую», Герцен даже вздрогнул) работу в «Колоколе». Теперь он явственно чуял под комплиментарными заверениями в уважении и симпатии оппозицию, позу превосходства и желание подчинить своему влиянию «Колокол», ибо, хоть и надтреснутый, он все еще гремел.

К чему сводятся эти требования? Они возрастают, по мере того как разворачивается речь Утина. Поначалу это: переменить направление «Колокола». Далее — сделать его органом, который станет руководить революционным движением в России.

Герцен не выдержал и вставил вопрос:

— Отсюда? Из Женевы?

— Натурально! Откуда же еще?

Следующий этап речи Утина коснулся руководства «Колоколом». Тут оратор отвалил щедрую пригоршню синонимов: реконструировать, видоизменить, расширить...

Герцен замотал головой:

— Нельзя ли яснее?

Внезапно отозвалась та белокурая дама, Герцен только сейчас узнал ее: это, оказывается, Людмила Петровна Шелгунова. Ну как же! Несколько лет назад, в один из туманных лондонских дней, она с мужем была у Герцена, и он их как-то приметил в потоке посетителей и даже набросал Людмиле Петровне в альбом: «Я не умею писать в альбомы...» И далее вписал ей страничку из «Былого и дум».

Сейчас она, глядя на Герцена так, словно прежде не была знакома с ним, сказала, четко отделяя одно слово от другого, как говорят с детьми:

— Мы требуем равного участия в руководстве «Колоколом».

Герцен нахмурился:

— То есть это надо понимать так, что...

Утин хотел вмешаться, но его самого перебил плечистый парень в выцветшей студенческой куртке:

— Подожди, Николай, я скажу.

— Говори, Гулевич,— неохотно согласился Утин.

— Мы составим, господин Герцен,— сказал поспешно Гулевич,— совет для обсуждения статей, поступающих в редакцию.

— Так...— медленно проговорил Герцен.

Он старался подавить подымающуюся в нем бурю. Он успокаивал себя тем, что, может быть, он неправильно их понял. Надо задать вопрос в лоб:

— Значит, вы нас с Огаревым оттесняете?

— Зачем же...— возразил Утин с вежливо протестующим жестом, в котором, однако, Герцену почудилась снисходительность, может быть, даже жалость.— Вы будете главная редакция.

— И наши функции?

— За вами остается верховное материальное руководство, вы полные финансовые хозяева, и в вашем безраздельном распоряжении типография.

Это было так неожиданно, что Герцену стало смешно. Он улыбнулся:

— Почетная ссылка?

— У вас деньги! — раздался из угла чей-то возглас.

К Герцену обратился человек, которого он хорошо знал: Александр Серно-Соловьевич. Брата его, Николая, Герцен высоко ценил и скорбел о его аресте. А вот этого, Александра, не жаловал и считал не совсем нормальным. Сейчас Серно-Соловьевич встал, до этого он сидел там, в углу, со скрещенными на груди руками и с отсутствующим видом. А сейчас выпрямился во весь немалый рост свой и повторил громогласно:

— Вам легко, у вас деньги!

— Не только,— коротко ответил Герцен.

Не слушая его, Серно-Соловьевич продолжал:

— Вы, господин Герцен, поэт, художник, артист, рассказчик, романист, но только не политический деятель и еще меньше теоретик, основатель школы, учения. Что ж вы удивляетесь, если люди революционного дела,— он сделал широкий жест, обводя всех присутствующих,— стремятся стать во главе революционного органа.

Герцен молчал.

— Если вы действительно верите в то, что говорите, Александр Александрович...

Эта неожиданная реплика заставила всех обернуться в сторону говорившего. Он стоял спиной к окну, и виден был только его силуэт, тощий, на голове как бы дымка от взлохмаченных волос.

Серно-Соловьевич вспыхнул:

— Вы что ж, Лугинин, сомневаетесь в том, что я говорю правду?

Он шагнул к Лугинину. Они стояли друг против друга, оба высокие, чуть по-интеллигентски сутулые.

Утин поспешил стать между ними:

— Александр Александрович! Владимир Федорович! Будет вам!

— Нет, я только хотел сказать,— молвил Лугинин,— что как же можно говорить такое о господине Герцене? Я не знаю другого такого крупного политического — именно политического! — деятеля, как он. И его линию в нашем революционном движении я считаю вполне разумной и всецело поддерживаю ее.

— И я так думаю! — раздался голос.

Через всю комнату прошел не так уж чтоб очень молодой человек и стал рядом с Лугининым, как бы подчеркивая этим свое единение с ним.

— Коля, кто они такие? — шепотом спросила Шелгунова у соседа, молодого грузина Николадзе.

— Тот, повыше,— ответил он,— Лугинин Володя, он

член подпольного «Великоруса», а второй — Степан Усов, о нем знаю только, что он математик и эмигрант. Видать, оба герценисты.

Заговорил Герцен:

— Друзья,— сказал он мягко,— я обращаюсь ко всем, ибо мы все друзья по нашей общности в революционном движении. Я хочу согласия с вами. Но что мы, пишущие, можем отсюда? Это вы там, в России, работаете среди народа. А «Колокол» здесь станет вашим органом. Ибо я считаю по-прежнему, что «Колокол» должен остаться органом социального развития России.

По комнате пошел гул:

— Туманно-с...

— Спиной к сегодня...

— Пустое сотрясение воздуха...

— Господа,— продолжал Герцен, легко перекрывая шум своим звучным голосом,— в чем сила «Колокола», его пафос, его значение? В слове! В анализе, в обличении, в теории. «Колокол» бессилен руководить практически революционным движением в России отсюда из Женевы. Что нужно народу? Земля и воля!

Утин устало махнул рукой. Снова выметнулся вперед Серно-Соловьевич:

— Вы все о том же! А как их взять эту землю и волю? Вот о чем надо писать — о взятии земли и воли, а не о покорном ожидании, когда кто-то сверху нам их отпустит! Ваши политические убеждения — это пустой звук. Это — juste milieu[1], по-русски сказать — середка наполовину! Вы типичный постепеновец, господин Герцен!

Герцен не терял хладнокровия. Он сказал спокойно:

— Я не верю в серьезность людей, предпочитающих ломку и грубую силу развитию и сделкам. Между конечным выводом и современным состоянием есть компромисс.

---

[1] — золотая середина *(фр.)*.

Я на вас не сержусь, господа. Более того, ваш юношеский *через край* мне дорог. И помните, страницы «Колокола» широко открыты для вас, для самых крайних мнений. Но если мы будем не согласны с ними, давайте спорить на тех же страницах.

Серно-Соловьевич выбежал на середину комнаты. Он оттолкнул Утина, который хотел его задержать, и закричал почти в лицо Герцену:

— Вот эти юноши со святыми ранами — вы о них когда-то проливали слезы,— а сейчас, когда они, спасаясь от каторги и виселицы, ободранные и голодные, обратились к вам, вождю, миллионеру и неисправному социалисту, с предложением общей работы, вы отворачиваетесь от них с гордым презрением...

Последние слова он произнес с трудом, почти шепотом, они вырывались у него из груди с хрипом. Он упал на стул в совершенном изнеможении, бормоча что-то нечленораздельное. Шелгунова поднесла ему воды.

Ее поразила недобрая гримаса, исказившая его лицо. Он вдруг напомнил ей один персонаж из «Сверчка на печи». Она недавно перевела «Рождественские повести», и Диккенс бродил в ней. Да это Текльтон, фабрикант игрушек. Только игрушки его другого рода... Она вспомнила фразу о Текльтоне, над которой она столько трудилась, ей хотелось перевести ее как можно точнее: «Все, что напоминало кошмар, доставляло ему наслаждение».

Подошел к Серно-Соловьевичу и Герцен. С глубокой жалостью он смотрел на него. Положил руку ему на лоб. Прохлада руки, ее бархатистая мягкость, а может быть, и самая ласка успокоительно подействовала на Серно-Соловьевича. Он начал ровно дышать. Поднял глаза.

Герцен сказал тихо:

— Вы, кажется, не любите меня?

— Но главным образом Ермака. Я его ненавижу,— сказал Серно-Соловьевич, сверкнув белками глаз.

— Вот уж не ожидал! — искренне удивился Герцен.— Что я вам не по вкусу, могу понять: это блюдо слишком острое для вас. Но Ермак-то чем вам не угодил?

— Тем, что он завоевал Сибирь. Сибирь — это каторга.

— Ну, знаете. Была бы власть, а каторга найдется,— сказал Герцен и отошел, сразу потеряв интерес к этому неприятно-нервному человеку.

К Герцену подходили то один, то другой. Он смеялся про себя: «Я «отсталый», я «устарелый», однако робеют они». Николадзе после разговора с ним имел такой смущенный вид, что Усов полюбопытствовал:

— О чем это вы с ним, Александр Иванович? Он отошел от вас в полной растерянности. А ведь он горячий, похож на молодого тигра.

— Только снаружи,— усмехнулся Герцен.— «Я к вам пришел спросить совета,— сказал он,— я хочу по возвращении в Питер дать пощечину Скарятину. Он в своей дрянной газетенке «Весть» выливает ушаты помоев на реформу, последними словами клеймит освобождение крестьян». Ну-с, я в ответ рассказал ему притчу об императоре Карле V. Во время осмотра римского Пантеона его сопровождал юный паж. Вернувшись домой, юноша признался отцу, что ему приходила в голову мысль столкнуть императора с верхней галереи вниз. Отец взбесился: «Дурак! Как могут такие преступные мысли приходить в голову? А если могут, то иногда их исполняют, но никогда об этом не говорят!» И этот молодой тигр с молоком в жилах отошел от меня, изрядно сконфуженный.

— Здесь не все такие,— сказал Усов.

В скуповатой лаконичности его слов Герцен услышал сдержанный упрек.

— Конечно,— сказал он.— Но за длительность революционного запала у Николадзе я не поручусь, как и у Шелгуновой. Ей нравится романтическая игра в революцию. Ей нравится, что одна знакомая дама сказала ей: «От вас

пахнет каторгой». В мечтах своих она видит себя всходящей на эшафот. Но, в сущности, она и Николадзе — мещане, затеявшие короткий флирт с революцией. Думаю, что будет достаточно извилист и жизненный путь некоторых других из ныне здесь присутствующих. Когда в человеке нет стойкости, жди от него сюрпризов.

Предсказание это, как и некоторые другие предвидения Герцена, сбылось. Михаил Элпидин, поиграв в революцию, вошел в сношения со швейцарской полицией, а через нее с царской охранкой, Николай Утин, поплутав по революционным дорожкам, обратился к царской власти с просьбой о помиловании и получил его. Так же как и Михаил Гулевич, энергичнейший демократ, одно время учитель в доме Герцена. Все они устроились на казенных службах, на теплых местечках — обычная история: отступников власть принимает с распростертыми объятиями. Отступники для нее самый золотой народ.

Не предвидел Герцен только конца Александра Серно-Соловьевича: он покончил с собой, удушив себя угарным газом.

— Нет,— сказал Бакунин,— ты не прав, Герцен.

Высокий, можно сказать, громадный, лицом во всех Муравьевых, большеносый, толстогубый, с пламенем в глазах, постоянно рвущимся из него и никогда не унимающимся, как неопалимая купина,— на этот раз Бакунин помимо привычного ровного возбуждения был особенно взволнован и вдвойне огорчен: и за Герцена, которого он все же любил, поскольку был вообще способен на это чувство, и за молодых революционеров, с которыми Герцен не сошелся, а Бакунин считал своими единомышленниками.

— Допускаю,— говорил он,— что Александр Серно-Соловьевич выступил против тебя гадко, может быть, кле-

ветнически. Пусть так. Но ведь ты кладешь страшное проклятие не на него одного, а на поколение. Извини, в этом есть что-то старческое. Не дозволяй ослеплять себя, не произноси страшных для тебя старческих слов.

Герцен, как всегда, когда был взволнован разговором, не сидел на месте.

— Не вижу,— сказал он, устремляясь мелкими шажками из одного угла в другой,— не вижу ни смысла, ни чести в том, чтобы превратиться в суетливого старичка, вприпрыжку семенящего за молодыми. «Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел». Пойми, Мишель, мне с этими функционерами из молодой эмиграции ужасно скучно. Все у них так узко, ячно, лично и ни одного интереса — ни научного, ни по-настоящему политического. Никто ничему не учится, никто не читает. Серно-Соловьевич явно не в себе. Утин хуже всех, держится этаким социалистическим барином, жаждет играть первую скрипку, боюсь сказать, но мне сдается, что в любом оркестре. И все они бесталанны. По безмерной моей снисходительности, делая ряд уступок, я могу признать, что некоторыми знаниями обладает Гулевич, что честнее и чище других Усов и Лугинин и что писать из них умеет один Лев Мечников. Им всем хочется играть роль, и они хотят употребить меня и Огарева как пьедестал.

— Подожди, Герцен, не спеши с выводами. Я допускаю, что у некоторых молодых есть неприятные, может быть, и непорядочные, даже грязные стороны. Но десятки из них пошли на смерть и сотни — в Сибирь. Да, пусть есть между ними, как всегда и везде, хвастуны и пустые фразеры, но есть и герои без фраз. Воля твоя, Герцен, но эти неумытые, неуклюжие в общении пионеры новой правды и новой жизни, эти нигилисты в миллион раз выше стоят всех твоих приличных, хорошо отутюженных поклонников. Не старей, Герцен, не проклинай молодых.

— Как ты можешь, Мишель, зачислять людей в герои только по признаку возраста? Ты мне сейчас напоминаешь эту доморощенную Теруань де Мерикур, эту романтическую дамочку Шелгунову, которая восклицала: «Молодость всегда права!» Нет, Бакунин, они не нигилисты. Нигилизм — явление великое в русском развитии. А тут всплыли на пустом месте халат, офицер, поп и мелкий помещик в нигилистическом костюме. Это люди, которые обратили на меня ненависть. Они не могут переварить художественной стороны моих статей...

## *Честь имени русского*

> Бакунин просит тебе кланяться. Я вчера увидел его в первый раз после 16 лет разлуки. Должен сказать, что он мне очень понравился, больше, чем прежде.
>
> *МАРКС*

> Для г-на Бакунина его доктрина (чепуха, составленная из кусочков, заимствованных у Прудона, Сен-Симона и т. д.) была и остается делом второстепенным, лишь средством для своего собственного возвеличения. Но если в теоретическом отношении он нуль, то как интриган чувствует себя в своей стихии.
>
> *МАРКС*

По-видимому, работа над этой главой «Былого и дум» доставляла Герцену явное наслаждение.

Он то и дело счастливо улыбался, не отрывая пера от бумаги. Написав страницу, перечитывал ее с нескрываемым удовольствием. А иногда приваливался к спинке кресла и смеялся от души. Один из этих приступов хохота

был так оглушителен, что в комнату поспешно вошла Наталья Алексеевна, не на шутку встревоженная.

— Друг мой...

— Все в порядке, Натали.

— Просто ты пишешь о чем-то смешном?

— Скорее о трагическом.

— Но ты смеешься!

— Потому что это трагическое — Бакунин. Не тревожься: это смех удачи. Уж очень мне задалась эта глава. Ты помнишь, я как-то, наскучив бытовыми мелочами, шутя сказал: «Как хорошо было бы, если бы все делалось само — само стелилось, само одевалось, само убиралось, а мысленно я тогда прибавил: «И само писалось». И вот оно пришло! Мое вдохновение всегда подчинено умыслу, даже расчету. А сейчас, вообрази, перо само бежит по бумаге и выделывает такие сальто-мортале, что я против воли веселюсь. Да вот, суди сама:

«Деятельность его, праздность, аппетит и все остальное, как гигантский рост и вечный пот,— все было не по человеческим размерам, как он сам; а сам он — исполин с львиной головой, с всклокоченной гривой. В пятьдесят лет он был решительно тот же кочующий студент с Маросейки, тот же бездомный bohème с rue de Bourgogne; без заботы о завтрашнем дне, пренебрегая деньгами, бросая их, когда есть, занимая их без разбора направо и налево, когда их нет, с той простотой, с которой дети берут у родителей — без заботы об уплате, с той простотой, с которой он сам готов отдать всякому последние деньги, отделив от них что следует на сигареты и чай. Его этот образ жизни не теснил, он родился быть великим бродягой, великим бездомовником... В нем было что-то детское, беззлобное и простое, и это придавало ему необычайную прелесть и влекло к нему слабых и сильных, отталкивая одних чопорных мещан... Он любил не только рев восстания и шум клуба, площадь и баррикады — он любил также и приго-

товительную агитацию, эту возбужденную и вместе с тем задержанную жизнь конспираций, консультаций, неспаных ночей, переговоров, договоров, ректификаций, шифров, химических чернил и условных знаков. Кто из участников не знает, что репетиции к домашнему спектаклю и приготовление елки составляют одну из лучших и изящных частей...»

Герцен прервал чтение.

— Каково? — спросил он.

Да и спрашивать не надо было: Наталья Алексеевна смеялась вместе с ним.

— Это, разумеется, он,— сказала она.— Точно и живописно. Но...

— Ах, у тебя есть «но»?

— Одно-единственное. Где Бакунин в серьезном?

Герцен ответил не сразу, сгреб в руку бороду, куснул ее кончик.

— А ведь это,— сказал он, выйдя из задумчивости,— и есть он — в серьезном, потому что — в главном. Я ему и в письме пишу примерно то же.

Он вытащил из рукописи листок бумаги и прочел:

«Оторванный жизнию, брошенный с молодых лет в немецкий идеализм... не зная России ни до тюрьмы, ни после Сибири... ты прожил до 50 лет в мире призраков, студентской распашки, великих стремлений и мелких недостатков. После десятилетнего заключения ты явился тем же — теоретиком со всею неопределенностью du vague [1], болтуном... с долей тихенького, но упорного эпикуреизма и с чесоткой революционной деятельности, которой недостает революция...» Ну как, справедливо?

— Но резко.

— Нам уже не до церемоний. Я так и заканчиваю: «Прощай, не сердись за откровенность.— Пора — ведь полвека прожито,— пора знать свою силу».

[1] — расплывчатых выражений *(фр.)*.

Бакунин не ответил на письмо. Потому ли, что сознавал справедливость этих жестоких слов? Потому ли, что в программе основанного им международного «Альянса социалистической демократии» было в избытке этой vague? Ибо, оснастив себя революционными фразами, «Альянс» не имел ясной последовательной экономической программы.

Нет, не ответил Бакунин на горькое в своей правдивости письмо Герцена. Но не потому, что обиделся. А потому, что не обиделся. Он был лишен этого чувства. И у него, в противоположность Герцену, не было страсти к писанию. В отличие от откровенной беспощадности Герцена к себе, Бакунин при всей его говорливости предпочитал не распространяться о некоторых событиях своей жизни.

А было ли в его жизни такое?

Да, «Исповедь», его покаянное письмо из Петропавловской крепости Николаю I, где он называет царя своим «духовным отцом», свою революционную деятельность — «безумием и преступлением», а себя — «кающимся грешником». .

Но обо всем этом и о многом другом из своей пространной «Исповеди», написанной в унизительных выражениях, Бакунин не рассказывал Герцену, а, напротив, говорил ему, что его обращение к царю «было написано очень твердо и смело».

Трудно сказать, как реагировал бы Герцен, если бы он ознакомился с подлинным содержанием «Исповеди». Осудил бы Бакунина? Может быть, и так. Но так же вероятно, что простил бы, отнеся поступок Бакунина за счет общей безалаберности его натуры, той чудовищной смеси душевной чистоты и нравственной неряшливости, которая побудила Белинского сказать о Бакунине: «В нем сущность свята, но процессы ее развития и определений дики и нелепы».

А может быть, Герцен согласился бы с Бакуниным, что мировая революция так нуждалась в его освобождении из тюрьмы, что для такой высокой цели все средства хороши. И все-таки более всего вероятно, что Герцен простил бы Бакунину его недостойное письмо к царю просто из личной привязанности к нему, которая сквозит даже в его упреках и осуждениях.

Два события, почти столкнувшись во времени, потрясли Россию: реформа шестьдесят первого года и польское восстание шестьдесят третьего года.

Польша еще не восстала, шли только конспиративные приготовления к восстанию, но и они уже подействовали на Бакунина, как молния, ударившая в бочку с порохом. Он потребовал, чтобы «Колокол» решительно вмешался в это дело.

— Польша и Россия — это два сообщающихся сосуда,— сказал он.— Революция не может не перелиться из одного в другой...

Этот период — канун восстания — Герцен называет «затишьем перед грозой». В разговоре с организаторами будущего восстания он, как и Огарев, отзывался о его перспективах довольно скептически и предостерегал поляков от бесплодного кровопролития. Этим он немало злил Бакунина.

Молчаливый свидетель переговоров с поляками — жена Герцена запомнила слова мужа:

— Россия сильнее вас... Ваше восстание ни к чему не поведет... Освободите крестьян с землею, и у нас будет почва для сближения.

Инициаторы восстания на это не пошли, а Герцен не мог, как он выразился, «жалея Польшу... сочувствовать ее аристократическому направлению...»

Бакунин пренебрег этими соображениями. Он был за восстание в любом случае. Он не слушал никаких доводов.

Герцен и не пытался переубедить его, зная, что это бесполезно. Огарев еще не терял надежды.

— В нашем народе нет бунтарского начала,— сказал он,— он как сырое дерево, его не разожжешь, одно тление и шипение. Он больше склонен к мечтательности, чем к действию, к поэзии, чем к мятежу. Маркиз Кюстин в своей книге «La Russie en 1839» — ты, Бакунин, помнится, одобрял ее — пишет о русских: «Этот народ так величав, что даже в своих пороках он полон силы и грации».

— Это ты себя, Огарев, меришь аршином маркиза Кюстина,— сказал Бакунин (он иногда умел быть язвительным).— Пугачева и Пестеля в эту маркизову мерку не втиснешь. Умный русский мужик — прирожденный социалист.

— Я нахожу в нашей русской душе,— нетерпеливо вмешался Герцен (он не любил, когда задевали Огарева и немедленно бросался в его защиту),— в нашем характере что-то более мирное, нежели в западных европейцах. Немцы, например, при всей своей учености, при освобождении теоретической мысли не имеют даже притязания на то, чтобы быть народом будущего. Кент говорит прогнанному Лиру: «В тебе есть что-то заставляющее меня называть тебя царем». Я вижу это помазание на нашем челе.

— Это, братцы,— махнул рукой Бакунин,— все поэзия и теория. Это писк кабинетных крыс. А я — за дело.

Огарев, изменив своей обычной мягкости, сказал с досадой:

— Ты, Бакунин, потому и выступаешь за польское восстание, что оно тебе дает занятие, хотя бы и вредило делу.

Бакунин не нашелся что ответить. Он просто ушел, хлопнув дверью и забыв на столе кулек с остатками табака.

Герцен заметил, с грустью глядя ему вслед:

— Он запил свой революционный запой, с ним не столкуешься теперь. Он принимает второй месяц беременности за девятый. Он хочет верить и верит, что Жмудь

и Волга, Дон и Украина восстанут, как один человек, услышав о Варшаве...

Ночь с 22 на 23 января шестьдесят третьего года положила конец предварительной суете: началось восстание.

Как только оно стало фактом, Герцен выступил за его поддержку. В нем родилась отчаянная надежда, что восстание сыграет роль бикфордова шнура, по которому бунтарский огонь из польских земель перебежит в соседние русские области и подожжет там крестьянское восстание.

Увы, Россия не сыграла роль порохового погреба, да и польский фитильный огонь был слаб, ведь даже польские хлопы не поддержали восстания. Что касается до России, то вопреки уверениям Бакунина, что русскому народу свойственна страсть к мятежам, «умный русский мужик» остался холоден и безгласен.

Один только русский голос прозвучал в защиту поляков: голос Герцена. Он сожалел, что восстание произошло. Он считал это большим несчастьем. Он прямо так и написал в «Колоколе»:

«Большое несчастие, что польское восстание пришло рано; многие, и мы в том числе, делали все, нашим слабым силам возможное, чтобы задержать его...»

Но скорбя об этом, он со всем пылом бросался в защиту борьбы поляков за свою свободу. Он делал это упорно, как всегда, остро. Он дал волю своему гневному негодованию. Он клеймил угнетателей, злодейски попиравших освободительную борьбу поляков. Он обращался с пламенными призывами к русским воинам не подымать оружия против борцов за независимость Польши.

«Мы спасли честь имени русского» — этими полными достоинства словами отозвался Герцен о деятельности «Колокола» в дни восстания.

Через десятилетия, из XX века в XIX, Ленин, прорвав плотину времени, протянул руку Герцену и процитировал эти его слова:

«Когда вся орава русских либералов отхлынула от Герцена за защиту Польши, когда все «образованное общество» отвернулось от «Колокола», Герцен не смутился. Он продолжал отстаивать свободу Польши и бичевать усмирителей, палачей, вешателей Александра II. Герцен спас честь русской демократии. «Мы спасли честь имени русского,— писал он Тургеневу,— и за это пострадали от рабского большинства»».

Итак, Герцен окончательно переезжает в Женеву. Легкость и быстрота, с какой он менял квартиры, города, страны, поразительна. Им владела охота к перемене мест. Это была как бы обратная сторона ностальгии. Он всюду искал Россию. Когда он находил пейзаж, похожий на русский, опушку леса, степную гладь, излучину реки, он привязывался сердцем к ним. А вот горы, чуждые ему, прирожденному обитателю средней России, оставляли его холодным.

И все же на этот раз он избрал Швейцарию, ибо Женева— это новый центр революционной эмиграции. А он не мыслил себя вдали от средоточия политических страстей.

Когда говорят: «Герцен», это значит: «и Огарев»: «папа Ага» — член семьи. Когда говорят: «Герцен и Огарев», это значит: «Колокол». Он тоже переехал в Женеву. Огарев говаривал, что он ощущает «Колокол» как живое существо.

Но горный воздух не пошел ему впрок. Когда у человека нарушен обмен веществ, значит, он серьезно болен. «Колокол» поразил этот недуг: не стало каналов проникновения «Колокола» туда, в Россию, и обмелел приток корреспонденций оттуда, из России. «Колокол» не шел.

Что ж, Герцен примирился с этим. Он слишком уважал себя, чтобы ловить за хвост свою исчезающую популярность. Он понимал: период обличений кончился. Надо готовить народ к революционному действию. Но, по глубокому

убеждению Герцена, бессилен делать это орган, издающийся за границей.

Но если «Колокол» больше не нужен, то это нисколько не трагедия. Наоборот, Герцен сумел разглядеть в этом отрадную сторону.

— Одна из наших великих наград состоит именно в том, что мы меньше нужны! — воскликнул он.

В самом падении спроса на «Колокол» он увидел рост политической сознательности в русском обществе. Это мужественное признание он сделал на страницах французского издания «Колокола». Ибо с некоторого времени русский «Колокол» умер и родился его преемник — французский с задачей давать Европе представление о современной России и ее освободительной борьбе. Но и этот французский отпрыск «Колокола» оказался неживучим. В самом зародыше его было что-то искусственное, лабораторное, Герцен скоро признал это.

— Год назад,— сказал он Огареву,— я предполагал, что французское издание сможет заменить русский «Колокол»; то была ошибка. Нашим истинным призванием было сзывать своих живых и издавать погребальный звон в память своих усопших, а не рассказывать нашим соседям историю наших могил и наших колыбелей.

И «Колокол» перестал существовать. Не без колебаний со стороны Огарева совершилось это. Но Герцен был непреклонен, хоть и нелегко ему было придушить собственное детище. Он назвал это, пытаясь шуткой прикрыть горечь, «государственным переворотом».

— Без постоянных корреспонденций с родины,— сказал он,— газета, издающаяся за границей, невозможна, она теряет связь с текущей жизнью, превращается в молитвенник эмигрантов, в непрерывные жалобы, в затяжное рыдание.

Одновременно оскудела и «Полярная звезда». Последняя ее книга, восьмая, вышла в половинном размере и со-

держала только произведения Герцена и Огарева. А девятая, несмотря на анонс о предстоящем ее выходе, вовсе не появилась.

Прекращение «Колокола» прошло почти незаметным для России, а тем более для Европы, которая не так уж интересовалась Россией, и для русской эмиграции, давно полагавшей «Колокол» дряхлым старцем, но вызвало бурный протест со стороны, неожиданной для Герцена,— со стороны Бакунина.

А что ж, быть может, это был один из тех редких случаев, когда его устами говорил здравый смысл. Разве так уж невероятно, что падение интереса к «Колоколу» было только временным? Дождись он революционного подъема в России семидесятых годов и перестрой негативное, то есть обличительное, направление на положительное, то есть на революционную пропаганду, он, возможно, вступил бы в пору нового расцвета. Легко ли было Герцену и Огареву выслушивать гневные упреки Бакунина:

— А мне жаль очень, что вы прекращаете «Колокол»... Кончить легко, но начать вновь будет очень трудно — и это доставит торжество нашим врагам в России. Что за дело, что продается только по 500 номеров — по крайней мере, 3000 читателей. Говорить 3000 русским свободно теперь не шуточное дело. Я бы на вашем месте не прекратил его — ну, а переменил бы несколько не направление, а тон, манеру,— менее церемонился бы с властями и дал бы вновь полную волю твоему бичующему юмору, Герцен, который ты напрасно взнуздал и тем себя значительно обессилил.

«Обессилил» — это было довольно точное определение того упадка сил, который в эти дни переживал Герцен. Что чему предшествовало, смерть любимого детища — «Колокола» — депрессии или наоборот, трудно сказать. Были разные причины падения его жизнелюбивого тонуса, и немалую роль здесь сыграли семейные неурядицы, а едва

ли не главнейшая — та, что дети Герцена становились чужеземцами. «Обиностранивание» их было для него горем.

Он ничего не ответил Бакунину, но Огареву сказал:

— Время идет, силы истощаются, пошлая старость у дверей... Мы даже работать продуктивно не умеем — работаем то невпопад, то для XX столетия. Ни успеха, ни денег... И серая скука маленькой дрянненькой ежедневности.

Какая необычная для Герцена речь! Но она не потеряла ни силы, ни пронзительности. Даже в своей упадочности он сохраняет мощь.

Однако Огарев, чья мягкая женственная натура в последнее время стала заметно испытывать влияние Бакунина, внял его протестам и повел разговор о воскрешении «Колокола» — обиняками, но достаточно явственно:

— Как ни скверно положение, но мне работать хочется, и задач так много, что не знаю, как и сладить.

Сочувственного отклика у Герцена эти ламентации Огарева не встретили. К прежним доводам против воскрешения «Колокола» прибавился еще один: появившаяся у Огарева склонность следовать призывам Бакунина, его философии разрушения. Герцен оставался тверд. В ответе его Огареву есть оттенок осуждения нового увлечения Огарева. Ответ этот короток и произнесен с какой-то хмурой решительностью:

— Для возобновления «Колокола» нужна программа — даже для нас. На таком двойстве воззрений, которое мы имеем о главном вопросе, нельзя создать журнала. Читать нас никто не хочет.

Значит ли это, что между старыми друзьями пробежала черная кошка? Конечно нет! Пусть жизнь и потрепала их тюрьмами да ссылками, изгнанием с родины, женскими изменами и смертями близких, они остались все теми же верными друг другу восторженными мальчуганами, которые поклялись на Воробьевых горах в преданности делу борьбы за свободу народа. Мало есть вещей на свете, могу-

щих по крепости своей сравниться с мужской дружбой, если в ней личная симпатия сливается с идейной близостью, как это бывало не раз в жизни людей,— у Герцена и Огарева, у Маркса и Энгельса, у Пушкина и Нащокина, у Толстого и Черткова.

Да, в своем решении прекратить издание «Колокола» Герцен был тверд. До него начали доноситься иные веления времени. У него было явственное ощущение перелома эпох. Он как бы слышал скрип поворота истории. Он всегда ощущал время как живую материю, подвижную и предсказуемую. Отсюда его поразительные догадки о будущем, предвидения, почти пророчества.

«Если не в нынешнем, то в будущем году весной будет война...» — сказал Герцен накануне франко-прусской войны.

Ему возражали. Особенно кипятилась Наталья Алексеевна. Она со свойственной ей несдержанностью почти кричала о том, что Германия разрознена на отдельные маленькие государства, и как раз сейчас граф Бисмарк погружен в хлопоты по их объединению, и Германии, стало быть, не до войны. А Франция, доказывала она с жаром, смакует свое мирное процветание, чему свидетельством всемирная выставка в Париже.

Герцен хладнокровно возражал, стараясь умерить пыл жены: ее горячность легко переходила в обиду и затяжную ссору:

— Модный оттягивающий пластырь — всемирные выставки. Пластырь и болезнь вместе, какая-то перемежающаяся лихорадка с переменными центрами. Все несется, плывет, идет, летит, тратится, домогается, глядит, устает. Ну, а выставки надоедят — примутся за войну, начнут рассеиваться грудами трупов, лишь бы не видеть каких-то черных точек на небосклоне...

Благородного намерения хладнокровным тоном пролить спокойствие на возбужденность Натальи Алексеевны Гер-

цев придерживался недолго. Темперамент брал свое, и речь его, начатая так плавно... словом, лед быстро превращался в пламень.

В эти дни Герцен писал Огареву: «Был Тургенев... сед как лунь». Но и сам Герцен был сед, а ведь ему и шестидесяти не было. Но необычайной своей подвижности он не утратил. Его видели в политических клубах Парижа, на лекциях, на митингах, особенно многочисленных в те тревожные дни. Париж кипел. Произошло политическое убийство: был убит радикальный журналист Виктор Нуар. Террористом оказался член императорской фамилии принц Жозеф-Шарль-Пьер-Наполеон-Бонапарт, кузен императора Наполеона III.

«Все это волновало Герцена,— писал Петр Дмитриевич Боборыкин, бывший тогда в Париже,— точно молодого политического бойца. Он ходил всюду, где проявлялось брожение...»

Чутье не обманывало Герцена: он чувствовал приближение чрезвычайных событий — революции, но также и войны. Он не знал, что из них ближе. «Что будет, не знаю, я не пророк; но что история совершает свой акт здесь... это ясно до очевидности».

Он возвращался домой поздно вечером, усталый, непривычно молчаливый. Он мягко попрекал жену за то, что в эти бурлящие историей дни она не покидает дома.

— Ты бы видела эту демонстрацию! — говорил он.— Более ста тысяч парижан вышли на улицу, чтобы протестовать против убийства Нуара. И я думал: где же моя Натали, где моя Консуэла, которая когда-то шагала с красным знаменем в руках в рядах итальянских революционеров?

Воспоминания эти растрогали их. Впрочем, Герцен говорил мало. И не только потому, что он устал. Странное раздумье овладевало им.

Он подошел к книжным полкам и снял томик своих статей — статей ли? Какое холодное слово! Художественной публицистики? Ну, в этой терминологии пусть разбираются критики. Пророчество? Вот то слово! Истинный жанр. И если библейские пророки, все эти Даниилы, Исайи, Иеремии, сколько их там ни было,— публицисты своего времени, то кто я такой, если не сегодняшний вариант библейского пророка нашей современности? И он прочел в «Концах и началах»:

«...Еще много прольется крови, еще случится страшное столкновение двух миров.— Зачем она польется? — Конечно, зачем? Да что же делать, что люди не умнеют? События несутся быстро, а мозг вырабатывается медленно».

Мозг!.. «Провентилируй свой интеллект...» — вспомнил он почему-то песенку, которую ему когда-то напели колеса, когда он впервые катил по железной дороге. Почему вдруг вспомнилось? Это-то он знал. Этого не объяснишь ни Натали, ни кому другому. «Провентилируй свой интеллект!» Это значит разбуди или, еще лучше, подыми на ноги дремлющие силы твоего мозга — те, что покоятся в таинственном сером мраке коры больших полушарий. Там не видно ни зги и только иногда сверкающими зигзагами проносятся мысли, пророчества, к коим я отношу мое предсказание франко-прусской войны. Надо об этой сокровенной силе мозга сказать Саше, пусть он исследует явление как физиолог. Или Фогту? Нет, Фогт слишком скептик. А в науке необходимо некоторое количество веры — веры в конечное торжество истины.

Он отбросил книгу с такой досадой, что Наталья Алексеевна удивленно посмотрела на него.

— Каждый год,— сказал он довольно мрачно,— сбывается что-нибудь из того, что мы предсказываем; сначала это льстило самолюбию, потом стало надоедать...

— Даже когда ты оказывался прав?

Она искренне удивилась. Ей было непонятно, как это человек может досадовать на то, что он оказался прав.

— Мне жаль, что я прав,— сказал Герцен с силой,— я — словно соприкосновенный к делу тем, что в общих чертах его предвидел.

Он усмехнулся невесело и добавил:

— Я досадую на себя, как досадуют дети на барометр, предсказавший бурю и испортивший прогулку.

Наталья Алексеевна легко переходила от раздражения к веселости. Но и обратно, конечно. Слова Герцена показались ей балагурством, неуместным в серьезном разговоре. Что ж, он считает ее недоросшей до идейного общения и отделывается от нее пошловатыми шуточками в своем излюбленном стиле.

— Значит, наш капризный ребенок захныкал: «Не хочу войны! Война — бяка!» — сказала она, вкладывая в свой тон язвительность.

Герцен понял ее состояние. Ему стало жаль ее. Он встал, подошел к ней, обнял ее за плечи, сказал мягко, стараясь говорить как можно более убедительно, словно с балованным ребенком:

— Как только немцы убедились, что французский берег понизился, что страшные революционные идеи поветшали, что бояться ее нечего, из-за крепостных стен прирейнских показалась прусская каска. Ты помнишь из шиллеровского «Дон Карлоса» слова Филиппа великому инквизитору: «Святой отец, теперь ваше дело!» Эти слова мне так и хочется повторить Бисмарку: «Груша зрелая, и без его сиятельства дело не обойдется. Не церемоньтесь, граф!»

Когда Герцен говорил эти пророческие слова, откуда ж ему было знать, что примерно в это же время, всего года на полтора раньше, другой мощный ум в другом конце Европы сказал то же самое и даже отчасти теми же словами:

«...Бисмарк уже много лет тому назад сказал ганноверскому министру Платену, что он подчинит Германию прусской каске, а потом, чтобы «сковать ее воедино», поведет против Франции».

Но разве это единственный случай, когда взгляды Маркса и Энгельса совпали с мнением Герцена?

Разве не писал Маркс о немецких эмигрантах в своем памфлете, иронически озаглавленном «Великие мужи эмиграции»:

«Личные дрязги, интриги, козни, безудержное самовосхваление — на такие пакости уходили все силы великих мужей».

И разве это не похоже на то, что писал Герцен в главе «Былого и дум», озаглавленной «Немцы в эмиграции», о тех же самых людях, что они «раздирали друг друга на части с неутомимым остервенением, не щадя ни семейных тайн, ни самых уголовных обвинений».

Можно подумать, что Герцен и Маркс сговорились, до того совпадают их оценки столпов немецкой эмиграции. Герцен называет Арнольда Руге «брюзгливым стариком, озлобленным и злоречивым». Еще более решительно выражается о нем Маркс: «Сточный желоб, в котором удивительным образом смешиваются все противоречия философии, демократии и, прежде всего, фразерства...» О другом «великом муже» немецкой эмиграции Готфриде Кинкеле Герцен пишет, что в нем «что-то судейское и архиерейское, торжественное, натянутое и скромно-самодовольное... он с изученным снисхождением выслушивал другого и с искренним удовольствием — самого себя». Энгельс в письме к Марксу попросту назвал Кинкеля «пустой, манерной и прилизанной обезьяной» и уличал его в «подлостях... в которых он по трусости не смеет сознаться». О третьем вожде немецкой эмиграции, Густаве Струве, Маркс писал в своем памфлете: «...его выпученные, глуповато лукавые глаза...» Это недалеко от впечатлений Герцена: «Лицо

Струве с самого начала сделало на меня странное впечатление: оно выражало тот нравственный столбняк, который изуверство придает святошам и раскольникам».

После всего этого естественно возникает недоуменный вопрос: если Герцен и Маркс любили и ненавидели одних и тех же людей, почему же не были расположены друг к другу?

Вопрос этот волновал, даже мучил многих. Вот один из ответов на него:

«Он (Герцен) был знаком почти со всеми корифеями международной демократии».

Далее автор этого ответа перечисляет их. Здесь и Прудон, и Мишле, и Виктор Гюго, и Гарибальди, и Маццини, и другие славные имена демократов и революционеров.

«Только с Марксом и его кружком у него, как нарочно, были дурные отношения».

Почему?

Вот объяснение автора ответа, Георгия Валентиновича Плеханова:

«Это произошло вследствие целого ряда печальнейших недоразумений».

И дальше — примечательное заключение:

«Точно какая-то злая судьба препятствовала сближению с основателем научного социализма того русского публициста, который сам всеми своими силами стремился поставить социализм на научную основу».

Значит, судьба?

Так ли это?

## *Недоразумения или трагедия?*

> Герцен меня убедил, что память Натали не оскорблена нашим союзом.
>
> *ТУЧКОВА-ОГАРЕВА*

Герцен и Маркс не были знакомы, но им случилось несколько раз находиться в близком соседстве. Например, летом сорок девятого года на манифестации в Париже или зимой пятьдесят пятого года на митинге в Лондоне. Они не приближались друг к другу. При взгляде на них бросались в глаза и некоторые сходные черты: оба широкоплечие, крепкие, устойчивые. И еще мнилось, что за Герценом тянулись бесконечные вереницы крестьян в лаптях, да избенки с соломенными крышами, да съезжие, где слышался свист плетей, которыми пороли крепостных. А за Марксом мерещились закопченные лица сталелитейщиков и шахтеров, дымные султаны над трубами Рура, пикеты забастовщиков...

Где же пролегал водораздел? И как велик был он? Да, Герцен — социалист. Но в России еще не было класса, который уже сложился в Европе,— пролетариата. А было многомиллионное крестьянство с его общиной, которой и увлекался Герцен, что и дало Ленину основание сказать, что в социализме Герцена не было ни грана социализма.

Мучительный образ русского мужика застлал Герцену, хоть он и жил на Западе, образ европейского пролетариата, и он не ощущал его исторического значения в развитии общества. Марксу же была чужда «крестьянская» направленность Герцена. Впоследствии социальная философия Герцена стала меняться: он приближался к признанию роли рабочего класса. Первые признаки этого появились в «Колоколе».

В статье «Порядок торжествует!» Герцен сочувственно приводит слова престарелого Бланки:

«...Вы не знаете, что бродит и зреет в парижских массах... парижский работник выручит Францию, Республику, всю Европу...»

По-видимому, что-то прояснилось и в отношении Маркса к Герцену: переиздавая I том «Капитала», он исключил оттуда критические замечания о Герцене. Надо сказать, что и Герцен воздержался от опубликования главы «Былого и дум», содержавшей выпады против Маркса. Не свидетельствует ли это о некотором — увы, запоздалом! — пересмотре, а может быть, и о возникающем интересе или даже тяготении друг к другу двух блистательных умов?

— Большая наивность с твоей стороны, Натали, упрекать меня в нелюбви к немцам,— сказал Герцен нехотя.

Разговор об этом не вдохновлял его. Это вклинивало в его сознание образ немца, которого он ненавидел,— Гервега. И может быть, эту нестихающую ненависть он подсознательно разливал и на тех немецких эмигрантов, на которых он обрушивал шквал своей беспощадной иронии:

«...Немцы, лишенные всякого такта, фамильярные и подобострастные, слишком вычурные и слишком простые, сентиментальные без причины и грубые без вызова...»

— Ты забываешь,— сказал он глухо,— что у меня есть близкие друзья-немцы — Фогты... И наконец, моя мать — немка...

— И все-таки ты их не любишь,— упрямо повторила Наталья Алексеевна (душевная чуткость не значилась в числе ее добродетелей).— Вся твоя глава «Немцы в эмиграции» кричит об этом...

Глава, действительно, не из мягких. Но разве она может сравниться с сокрушительной характеристикой, которую дает своим соотечественникам Энгельс!

«Вина за эти гнусности,— писал Энгельс в статье «Внешняя политика Германии»,— совершенные с помощью Германии в других странах, падает не только на немецкие правительства, но в значительной степени и на немецкий народ. Не будь его ослепления, его рабского духа, его готовности играть роль ландскнехтов и «благодушных палачей», служить орудием господ «божьей милостью»,— не будь этого, слово «немец» не произносилось бы за границей с такой ненавистью, с таким проклятием и презрением...»

Право, здесь можно усмотреть даже некоторое сходство с огнедышащим стилем Герцена в «Былом и думах», по которым, кстати сказать, Маркс изучал русский язык.

Конечно, нельзя говорить о расовом отвращении этих двух великих человеколюбцев к целому народу. Да и вообще, способно ли вместить сердце ненависть к целому народу? Нет сомнения, памфлетная характеристика немцев и у Герцена, и у Маркса и Энгельса относится только к отдельным людям. Питать же нелюбовь ко всему народу — это свойство мещан, которые тем самым расписываются в собственной неполноценности.

И, конечно, Наталья Алексеевна была не права, обвиняя Герцена в неприязни к немцам вообще. Она и сама была не свободна от антипатии к некоторым людям, к дамам из семьи Фогтов например, о которых она довольно презрительно отзывается в своих воспоминаниях: «...немки, деятельные в узкой сфере обыденной жизни и только...» Еще язвительнее выражается она о Готфриде Кинкеле, который удостоился таких же уничтожающих характеристик от Герцена и Маркса:

«Он был так проникнут своим величием,— пишет о нем в тех же воспоминаниях Наталья Алексеевна,— что не мог обратиться к жене за куском сахара во время питья чая без необыкновенной торжественности в голосе, что нам, русским, казалось очень смешно».

Наталью Алексеевну не покидало ощущение, что история ее жизни, связанной с именами Огарева и Герцена, должна быть широко распахнута для русского общества. Это подстегивалось сознанием, что существует «Былое и думы», разворачивающее картины не только событий исторических, но — и притом с беспощадной откровенностью — и личной драмы. Правда, этих страниц Герцен не публикует при жизни. Но Наталья Алексеевна понимала, что настанет час и все, написанное великим писателем, увидит свет.

Это толкнуло ее к мысли написать и опубликовать свои маленькие «Былое и думы». В них — в отличие от предельной искренности Герцена — нетрудно различить два языка, два способа описания действительности: один — такой, какой эта действительность была на самом деле, и другой — такой, какой Наталье Алексеевне хотелось, чтобы эта действительность была.

Когда Лев Толстой узнал, как Тучкова-Огарева описала его посещение дома Герцена и беседу с ним, он сказал, что «она просто сочинила разговор».

Дочь Герцена, Тата, называла Наталью Алексеевну «странным, негармоничным и несчастным существом».

В этой характеристике, при всей ее краткости, есть полнота необходимая и достаточная. Почему «странная»? Потому что к некоторым ее поступкам нельзя отыскать разумных побуждений. Почему «негармоничная»? Потому что взбалмошность и необъяснимые причуды, метания из истерической доброты в озлобленный эгоизм делали ее поведение неумным и непредвиденным. Почему «несчастная»? Потому что этими качествами своей натуры она портила жизнь не только окружающим, но и свою собственную. Это определение «несчастная» повторяет и сам Герцен, говоря с Огаревым о характере жены:

— Я настоящее зло вижу в несчастном характере Натали...

Тут же он с присущим ему правдолюбием, беспощадным и по отношению к самому себе, не снимает и с себя вину за свое семейное неустройство:

— Зачем я, зная о страшной истории прошлых лет, убившей ту Натали, дерзко и необдуманно бросился на увлеченье?.. За это я унижен в своих глазах и страдаю. Верь мне, что это не фразы...

При всем том Наталья Алексеевна прожила долгую жизнь, пережила на полвека и Герцена и Огарева, вернулась в Россию и опубликовала книгу своих воспоминаний, носящих порой характер самооправдания, а то и самолюбования и даже кое-где самовозвеличения. Вряд ли она была справедлива к заведующему Вольной русской типографией Чернецкому, написав о недружелюбном якобы отношении к нему Герцена, тогда как в действительности и он и Огарев относились к нему с величайшей приязнью. Она объясняет уход Мальвиды Мейзенбуг из дома Герцена выходкой ее якобы дурного характера, тогда как тот уход был спровоцирован самой Тучковой из чувства ревности, кстати совершенно зряшной. Явным недружелюбием проникнуты строки о Мери Сетерленд, вопреки той душевности и взаимной любви, какой были связаны друг с другом Огарев и его английская подруга.

В сближении с Герценом, закончившемся их гражданским браком, инициатива принадлежала Наталье Алексеевне. Оставаясь формально женой Огарева, она заносит в свой дневник запись о Герцене:

«...Бесконечное чувство любви к нему захватывает меня все более и более...»

Она поверяет своему дневнику самые интимные чувства. Нигде она так не искренна, как в беседе с самой собой:

«...Побежденный моей страстной любовью, Герцен тоже меня полюбил...»

Брак Герцена и Тучковой-Огаревой не был счастливым. Не в одну ли из тяжких минут разочарования вырвались у Герцена слова, сказанные Огареву:

«...Нам надо отринуть женщин».

Снова это заклинание, которое Герцен преступал столько раз. Как эти слова, вернее — чувство, пронизавшее их, похоже на то, что несколько лет назад он писал в гневе и горечи Маше Рейхель:

«...Вообще я женщин глубоко ненавижу, они звери, да и притом злые: довели эгоизм до бешенства и все скрывают под личиной любви. Зато если выищется исключение — ну, так женщина головой выше мужчины, который даже не зверь, а животное».

Герцену трудно было привыкнуть к зигзагам в настроении Натальи Алексеевны. Между тем достаточно было одного ее доброго слова — и он чувствовал себя растроганным и прощал ей все ее враждебные выходки. Когда она выходила утром с лицом, опухшим от слез, и в ответ на его обеспокоенный взгляд говорила:

— Обо мне не спрашивай, каждая ночь как будто несет свою тяжесть, чтоб прибавить к остальным,— нечего мне жаловаться на судьбу свою, я сама судьба.

Он вздрагивал от этих слов. Она подходила к нему, брала его за руку. Он ощущал, как холодна («Мертвенно холодна»,— мелькало у него в голове) ее рука.

— Дай мне твою руку,— говорила она таким мягким, таким сердечным голосом («Непривычно сердечным»,— мелькало у него в голове),— крепко, крепко... Крепись, не думай слишком много о нас, с нами ничего не случится...

Даже эта малость вызывала в наболевшей душе его благодарность.

Он отвечал тихо, он глотал слезы, то внутреннее рыдание, которое не в глазах, а в горле он не хотел, чтобы она их заметила. Он сказал только:

— Спасибо тебе...

Возможно, что Герцен видел в Тучковой-Огаревой лишь отблеск той Натали, первой. Но и этого было довольно, чтобы дорожить ею. Наталья Алексеевна догадывалась об этой сложности чувств, и это, при ранимости ее характера, терзало ее. Она не могла заставить себя не думать о Натали. «Я вижу ее в ее длинной мантилии, в белой шляпе, с белым вуалем,— такого лица, такого выражения не было и не будет,— боже, если бы она была жива! Все было бы хорошо, и я была бы не я...» Так ей думалось, и это шло от сердца, от благостной минуты просветления. В такие мгновения она тяготилась собой, ощущала неровности своей натуры и была свободна от недобрых чувств к памяти Натали.

Но гораздо чаще ее охватывала мучительная ревность. И тогда она со злорадным удовольствием повторяла то, что когда-то говорил Тургенев о Натали в отместку за то, что она находила его равнодушным и неглубоким:

— Я читал в каждой черте ее лица, что у нее все обдуманно.

Вспышки ревности Натальи Алексеевны были обращены не только к памяти Натали, но и к детям Герцена. Через дом пролегла черта, рассекавшая его на два лагеря: в одном — дети Герцена от Натали, в другом — Наталья Алексеевна и Лиза, ее дочь от Герцена. (Двое других ее детей, близнецы Алеша и Леля, умерли в младенческом возрасте.)

Пожалуй, более всех детей Герцен любил Лизу. Пылкостью нрава, обаянием, быстротой реакции, творческим воображением она походила на отца сильнее других детей. Натали энергично отрывала ее от отца.

Семейные бури шатали дом Герцена.

— Она,— жаловался он Огареву,— вчера была в страшном excitement [1].

[1] — возбуждение (*англ.*).

Эти excitement иногда сменялись затишьем, когда, изнеможенная очередной истерикой, Наталья Алексеевна запиралась у себя в комнате.

«Дома совершеннейший штиль,— писал Герцен в одну из таких минут Огареву,— но из этого не следует, чтоб на волос было что-нибудь gagné [1]».

Нетрудно представить себе, какая напряженная атмосфера таилась за этим предгрозовым штилем.

Впрочем, иногда Наталья Алексеевна спохватывалась и молча выслушивала слова Герцена, где ласка мешалась с горечью:

— Ну, что же, ты снова успокоилась и одержала над собой победу? А ведь я думаю, что потом тебе стыдно,— беда в том, что еще потом забудется, что стыдно...

Конечно, нельзя не признать, что одним из могущественных возбудителей, создававших у Натальи Алексеевны неуравновешенность, было ее скользкое положение неофициальной жены Герцена. Она требовала узаконения их отношений и удочерения Лизы, которая продолжала носить фамилию Огарева. Однако Герцен медлил, боясь впечатления, которое это «открытие» произведет на Лизу. Только через много времени, когда Лизе исполнилось уже одиннадцать лет, Герцен открыл ей тайну ее рождения.

Все это омрачало жизнь Герцена. Временами он впадал в несвойственный ему пессимизм и заносил горестные строки в свой дневник, который он прозвал «Книгой Стона»:

«...Мы сложились разрушителями; наше дело было полоть и ломать, отрицать и иронизировать. Мы и делали его. А теперь, после 15—20 ударов, мы видим, что мы ничего *не создали,* не воспитали...»

Страшное признание! И несправедливое. Дневник Герцена не объемен. Он односторонен. Он, по собственному

---

[1] — выиграно *(фр.).*

признанию Герцена, содержит только «боль — беду — тревогу». «Удары» — это семейное. Обе Натали принесли ему горе. «Семья, семейная жизнь,— писал он старинному другу Мальвиде Мейзенбуг, с которой он был предельно откровенен,— были у меня на втором плане — и дважды это отомстилось мне». Признание беспощадное. Признание сильного. А «сознается в вине,— пишет он там же в дневнике,— только сильный». И дальше крик души, отчеканенный со спартанской краткостью: «Скромен только сильный, прощает только сильный... да и смеется сильный, часто его смех — слезы».

Но в увлечении самобичеванием Герцен теряет верный взгляд на самого себя. «Не воспитали...» — говорит он, тогда как вся его яростная публицистика и художественная проза воспитали, переделали, возвысили сознание тысяч русских людей. А ведь именно в этом, а не во внешних знаках отличия состоит истинная, величайшая награда писателя.

## *Четыре письма*

> Человек будущего в России — мужик, точно так же как во Франции работник.
>
> *ГЕРЦЕН*

От горячки эмоций — к трезвости здравого смысла. От чувства — к уму. От социализма веры — к социализму экономики — так прочерчивалась в жизни Герцена восходящая кривая его социальной философии. Медлительно и трудно. Не без зигзагов. Но все вверх и вперед.

За год до конца своего жизненного пути он убеждает сына:

— Когда я вглядываюсь в силу социального движения, в глубь его и в его страстность, я вижу ясно, что настоя-

щая борьба мира доходов и мира труда не за горами — даже в Англии...

Он не хотел слышать возражений сына. Он ополчился на мир доходов. Для наглядности от мировых обобщений он перешел к примерам из окружающего быта, даже из обихода собственной семьи. Он никого не щадил: ни своего собеседника, ни других своих детей, ни жены, ни даже друга, которому обычно прощал все его промахи, идейные и бытовые.

— Мы все,— втолковывал он сыну,— вполовину парализованы, вполовину развращены — наследством и рентой. От ренты ты занимался спустя рукава до 1863 года. От ренты — Тата не рисует и не поет. От ренты — Ольга безграмотная. От ренты — Натали ставит вверх дном воспитание Лизы. Пора понять эту простую истину. Если б отец Огарева, а не он сам прокутил бы свое именье, наш Огарев был бы признанный гений и не имел бы эпилепсии...

Пагубная власть денег... Наш замечательный историк Михаил Николаевич Покровский при всем пиетете к имени Герцена не удержался в своем увлечении социологизмом, чтобы не кольнуть Герцена — как бы мимоходом, меж запятых, в коротеньком вводном предложении,— сказав, что Герцен трудом и копейки не заработал в жизни. Не правда ли, более чем странный упрек, вернее — придирка к человеку, вся жизнь которого беспрестанный титанический труд!

Россия далеко с ее многомиллионными угрюмо и таинственно молчащими крестьянскими массами, с ее воображаемым общинным коллективизмом. Европа тут, рядом, вокруг, Герцен мечется по ней, и все резче, все явственнее вырисовывается перед ним новая встающая сила — пролетариат. Попав в промышленную область Италии, в Турин, город, который «так и обдает своей прозой», он замечает в одной из глав «Былого и дум»:

«...Взгляните на его работничье население, на их резкий, как альпийский воздух, вид — и вы увидите, что это кряж людей бодрее флорентийцев, венециан...»

Он пристально вглядывается в рабочее движение в Европе. Своим полемическим темпераментом растерев в прах Каткова, сказавшего «с видом деревенского школьного учителя»: «Время социализма прошло»,— Герцен продолжает:

«И это на следующий день после Брюссельского конгресса, на следующий день после женевской забастовки, в двух шагах от немецкого рабочего движения».

И достав свой дневник, свою «Книгу Стона», он заносит в него строки, отдающие уже не стоном, а, напротив, дышащие уверенной надеждой:

«Я думаю, что есть силы у Запада, пробуждающиеся к свету, которые могут оплодотвориться разумом и спасти организм, но им-то и помешает война, религия и даже революция. Силы эти, оставленные на свою злобу, уже подняли голову; это уже не Гарибальди, и не 93 год, и не Июньские дни — работничьи лиги и фенианизм».

Он делает первые шаги навстречу рабочему движению. Его еще не наторевший глаз сливает в одно явление фенианизм, то есть борьбу ирландских националистов, и I Интернационал, созданный Марксом,— «работничьи лиги», по терминологии Герцена, в одном месте или «социальные сходки» — в другом:

— Я больше верю, чем когда-нибудь, в успех именно этих социальных сходок.

Такие чувства, новые для него, вызвал у него Базельский конгресс I Интернационала.

Между тем Огарев неудержимо «бакунизировался». Герцен отнюдь не был приверженцем единомыслия среди своих близких. Наоборот! Еще в молодости он заявил Натали: «Я ненавижу покорность в друзьях». Однако и разногласие имеет свои пределы. Герцен с грустью наб-

людал, как старый друг его, который столько лет — да что там! — всю жизнь шел рука об руку с ним, все легче и восторженнее покоряется влиянию Бакунина. Отнюдь не снисходительно взирал Герцен на впадение Огарева в анархическую ересь. В письмах своих — он был тогда вне Швейцарии — сначала мягко, потом все резче Герцен силится образумить Огарева.

Иногда он делает это со слегка насмешливой укоризной:

— Настоящий ты мой Робеспьер — с одной стороны, грозный, с другой — и пасторальный, и сентиментальный...

Пока еще осторожно, чтоб не сделать больно Огареву, он называет суматошную деятельность Бакунина «бестолковой мудростью». А прибывшего из России террориста Нечаева сравнивает по ошеломляющему действию на них с алкоголем: «Нечаев, как абсент, крепко бьет в голову». А всю их совместную работу определяет как «казенно-бюрократическое устройство уничтожения вещей».

А дочке своей Тате, с которой он делится самыми сокровенными мыслями, он сказал прямо:

— Нельзя себе представить, как удушлив Бакунин и как Огарев совершенно под влиянием дома этой дурочки и вне — резвых юношей.

«Дурочкой» Герцен в сердцах — и уже по одному этому несправедливо — называет верную подругу Огарева Мери Сетерленд. А «резвые юноши» — это главным образом Нечаев, заразительную, почти гипнотическую силу его личности Герцен недооценил. Он и в письмах для конспирации называл его «бой», то есть «мальчик» по-английски. Это была необходимая предосторожность: в эмигрантских кругах стало известно, что царское правительство заслало в Женеву несколько секретных агентов для слежки за русскими революционерами. И язык писем Герцена становится сугубо сдержанным. Для того чтобы заявить Огареву о своем несогласии с деятельностью его, Бакунина и

Нечаева, Герцен в письме из Парижа в Женеву прибегал к такому иносказанию:

«Юношу видеть я могу и мужеству его отдаю полную справедливость — но деятельность его и двух старцев считаю положительно вредной и несвоевременной...»

Под юношей Герцен разумеет Нечаева, а старцы — Огарев и Бакунин. Горячие споры возникают между друзьями. Они не утихают вообще никогда, и чем далее, тем горячее. Они происходят и на прогулках по улицам Женевы, и в доме у Герцена. Принципиальные расхождения не пресекли близких отношений. Редкий обед и ужин проходят без Огарева и Бакунина, который, как поделился Герцен с Татой, иронически окрашивая эти глубокие разногласия с Бакуниным, «раза три ужино-обедает у нас, Огарев почти всякий день. Но в общем зато идет война. Я — как и в Ницце — не согласен с Бакуниным и петербургски-студентской пропагандой, и тут совсем расхожусь не только с Бакуниным, но и с Огаревым...».

Тата понимала конспиративные иносказания отца: «петербургски-студентская пропаганда» — это Нечаев. Обрывки этих споров доходили до нее.

*Огарев* (как бы чувствуя за спиной незримое присутствие Бакунина). Разделение общества на сословия — это экономический промах.

*Герцен* (удивляясь его наивности). Нет, сословность не промах, а возраст. Молочные зубы — не промах, а выпасть должны.

*Огарев* (упрямо). Люди в революции не могут ясно представить себе, куда они идут.

*Герцен* (возмущенно). На авось мы не пойдем! Люди пойдут, зная, куда идут, зная, что ломают и что сеют.

Бакунинское влияние странно отозвалось на Огареве. Он стал мельчить. Количественно его плодовитость не уменьшилась. Но качественно... Статьи и прокламации попрежнему обильно выпархивают из-под его уже не очень

твердой руки. Герцен восстает не только против содержания статьи Огарева «Русские студенты», но и против ее формы. В нем запротестовал не только революционер, но и художник. Сам-то он ничего не делал кое-как и считал, что революционная пропаганда и серость несовместимы:

— Отчего ты — поэт и музыкант — потерял чутье формы и меры? Зачем искусственный vulgar[1] — в словах и выражениях?.. Нет, это не те звуки, которыми юный «Колокол» потрясал молодежь... Прими в любовь, а не в гнев замечания.

Но Огарев не принял в любовь эти драгоценные замечания мастера. Он обиделся. Нет ничего уязвимее авторского самолюбия. Он отозвался, и в словах его есть оттенок высокомерия, ранее ему несвойственного:

— Мне становится жаль, что ты не подписал моей прежней статьи из-за чувства изящной словесности...

Но хоть редкая встреча Герцена с Бакуниным проходила без спора, эти идейные распри, однако, никогда не выплескивались на страницы печати, никогда Герцен публично не полемизировал с Бакуниным — несомненно, вследствие давней дружбы с ним, и без того травимым и преследуемым властями разных стран. Главы о Бакунине в «Былом и думах» остались в рукописи, так же как полемические письма «К старому товарищу».

Независимо от того, знал ли Герцен истинную цену Бакунину, сознавал ли всю глубину его заблуждений, он был верен старому товарищу. Он прощал ему многое, не приносил в этом случае в жертву убеждениям личные чувства, хотя, вообще говоря, стоял за чистоту принципов, за их монолитность,— недаром так восхищался он твердостью Робеспьера. Нет, нельзя представить себе подобной неумолимой позиции Герцена! Восхищение Робеспьером — чисто теоретическое. Оттенок восхищения пламен-

[1] — грубость *(англ.)*.

ной натурой Бакунина всегда был свойствен Герцену. Даже негодуя против Бакунина, он не мог не любоваться им.

Добродушная нотка звучит в его насмешливом отзыве о Бакунине:

— Мастодонт Бакунин шумит и громит, зовет работников на уничтожение городов, документов... ну, Аттила, да и только.

И всякий раз для определения Бакунина Герцен прибегает к образам гиперболическим, раблезианским:

— Бакунин — это локомотив, слишком натопленный и вне рельсов — несется без удержу...

Но разве только Герцен характеризует этого «мастодонта» и «локомотив» в таких сильных выражениях? Даже французский премьер-министр, выславший Бакунина из Франции, назвал его «une personalité violente» [1]. А почти полстолетия спустя Александр Блок, зондируя душу Бакунина в своей статье о нем, писал, что он «одно из замечательнейших распутий русской жизни... способный к деятельности самой кипучей... Бакунин был вместе с тем ленивый и сырой человек — вечно в поту, с огромным телом, с львиной гривой, с припухшими веками, похожими на собачьи, как часто бывает у русских дворян. В нем уживалась доброта... с глубоким и холодным эгоизмом... Только гениальный забулдыга мог так шутить и играть с огнем... О Бакунине можно писать сказку... Займем огня у Бакунина!..»

Со сложной натурой и отношения сложные. «Не вполне с ним согласный — я очень в хороших ладах»,— рассказывал Герцен Маше Рейхель о встречах с Бакуниным.

«Не вполне» — слишком мягко сказано. Герцен не считал нужным раскрывать даже своей приятельнице всю противоречивость своих отношений с Бакуниным. И об-

[1] — необузданная личность *(фр.)*.

ратно, конечно. Чуть ли не специально для применения к Герцену Бакунин изобрел слово «прекраснодушие» — а заодно и по-немецки: «Schönseeligkeit». В нем есть оттенок презрительности, оно обозначает, быть может, и возвышенное, но несостоятельное умонастроение, лишающее возможности самостоятельного суждения в вопросах истории и политики,— «искусственное благодушие в невинных строках»,— добавляет Бакунин, претендуя на остроумие, что — увы! — этому «мастодонту» не было дано.

В душевном составе Бакунина начисто отсутствовало чувство самоконтроля. В людях он разбирался плохо. Только идеи что-нибудь стоили в его глазах. По бурному своему темпераменту он тотчас бросался воплощать их в жизнь. Это был догматик в действии. «Все в самом деле непосредственное,— замечает о нем Герцен в «Былом и думах»,— всякое простое чувство было возводимо в отвлеченную категорию и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной алгебраической тенью».

Бакунин, без сомнения, еще одна модификация русской интеллигенции, причем самое характерное для людей такого профиля — догматизм, достигавший у Бакунина и Нечаева почти мистической силы. С этим сочетался неукротимый анархизм Бакунина, фальшивая монета, которой он бряцал, как полновесной золотой, и звоном ее увлекал людей.

И был один момент в разногласиях друзей-противников, когда слова Герцена «не вполне с ним согласный» следует понимать в усиленном смысле: «вполне несогласный». Безоговорочно. Категорично. Это в вопросе об использовании для успеха революции низменных страстей. В статье под бесстрастным академическим названием «Постановка революционного вопроса» Бакунин призывает молодежь к разбою, который он назвал «одной из почтеннейших форм русской народной жизни». Конечно, самое соседство слов «разбой» и «почтеннейших» говорит

о катастрофическом отсутствии чувства юмора у Бакунина. Но до юмора ли тут! Недаром Герцен сказал, что «вещь эта наделает страшных бед».

Возможно, что перед мятежным воображением Бакунина стояли благородные разбойники мелодраматического типа вроде Робина Гуда или шиллеровского Карла Моора. Да Бакунин и сам поминает его в брошюре «Начало революции»:

«Дела, инициативу которых положил Каракозов, Березовский и проч., должны перейти, постоянно учащаясь и увеличиваясь, в деяние коллективных масс, вроде деяний товарищей шиллерова Карла Моора...» И тут же деловито прибавляет:

«...С исключением только его идеализма...»

От Герцена не ускользнуло своеобразное революционное тщеславие Бакунина.

— Бакунин,— сказал он Огареву,— как старые нянюшки и попы всех возрастов, любят пугать букой, сами хорошо зная, что бука не придет. Для чего все это делается — неизвестно; но думаю, что на том основании, на котором купец, строивший на свой счет Симоновскую колокольню, поставил одно условие — быть выше Ивана Великого хоть одним вершком...

Без сомнения, Герцен еще больше укрепился бы в этом своем мнении о Бакунине, если бы знал, что в случае успеха социальной революции и установления анархического общественного строя Бакунин сохранял за собой пост «незримого кормчего» в тайной диктатуре, скрытой от народа. И как пример для подражания Бакунин приводил организацию ордена иезуитов.

В то же время независимо от этих соображений о иерархии, которая в любой стране и во всякое время существует в эмигрантских кругах, как, впрочем, в каждой стае живых существ, будь то, например, галки или шимпанзе,— Герцен понимал, что призыв к разбою не только

выбрик честолюбия Бакунина и уж во всяком случае не оговорка и не случайная прихоть вулканического темперамента. Нет, это одна из заповедей, которую Бакунин вещает человечеству и внес в программу основанного им «Альянса социалистической демократии».

«Мы понимаем революцию в смысле разнуздания того, что теперь называют дурными страстями...»

Герцен тщетно старался вырвать Огарева из его восторженного поклонения разбойничьим тезисам Бакунина. Этот кроткий фанатик возражал Герцену своим медовым голосом:

— Террор, предполагавшийся декабристами, был беспощаден. Ты все пугаешься перед словом «разбой» или «грабеж».

Герцен выходил из себя:

— Ты думаешь, что призыв к скверным страстям — отместка за скверну, делающуюся в России, а я думаю, что это — самоубийство партии. Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей...

Но может быть, еще большим заблуждением Бакунина Герцен считал его стремление превратить людей чаемого социалистического общества в «мешки для пищеварения». Он был возмущен перспективой потребительского социализма.

— Что Бакунин так старается стереть личность? — восклицал он.— Он проповедует совершенное уничтожение собственности и семьи — но ведь это вздор,— и это было бы действительно возвращение в обезьяны и в скуку однообразия, которую человечество, по своему фантастическому элементу, не вынесет... Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту, который из всего былого и нажитого сделает скучную мастерскую, которой вся выгода будет состоять в одном пропитании, и только в пропитании.

Невысок. Лоб низкий. Рот изредка подергивает судорога. Глаза черные, огненные. Иным становилось не по себе, когда этот взгляд останавливался на них, сосредоточенный огонь их пугал. Но бывало и наоборот: привлекал, манил, покорял. Пятидесятипятилетний Бакунин, сам мальчишеская натура, подчинился влиянию двадцатидвухлетнего Нечаева. Поверил всем его небылицам, что он якобы совершил дерзкий побег из Петропавловской крепости, что за ним в России стоит мощная революционная организация, что Россия созрела для восстания...

Призывая к террору, Бакунин стремился взрастить в людях революционный дух. А тут — этакое везенье! Такой дух возник перед ним в готовом виде, как говорится, в сборе, в комплекте: Нечаев.

Бакунин называл его «тигренок». И когда Нечаев нервно ходил по комнате, развивая свои всесокрушающие теории, старый тигр провожал его ласковым взглядом.

Огарев присоединился к восторгам Бакунина, который говорил о Нечаеве:

— Они прелестны — эти юные фанатики, верующие без бога.

И добавлял, что рабочие — «это единственный мир, в который я верю на Западе, точно так же, как у нас в России — в мир мужицкий и грамотный мир беспардонных юношей».

Огарев принес стихи «Студент» с посвящением: «Моему молодому другу Сергею Нечаеву». Там были, между прочим, такие строки:

...нелицемерен —
Он борьбе остался верен.
До последнего дыханья
Говорил среди изгнанья:
«Отстоять всему народу
Свою землю и свободу»...

Прочтя их, Герцен заметил:

— Стихи, разумеется, благородны, но того звучного порыва, как бывали твои стихи, нет...

Кроме того, Герцена удивило, что все в них изложено в прошедшем времени. Оказалось, что стихи-то старые и уже однажды были посвящены совсем другому человеку — Сергею Астракову, вернее — его памяти.

Узнав об этом, Герцен вспомнил небольшую притчу, рассказанную ему одним проезжим. Герцен с удовольствием повторял ее. Полные губы его, которых не закрывала борода, сохраняли при этом насмешливый изгиб. На небольшой почтовой станции после воцарения Александра II повесили его портрет. Но голова нового царя как-то неестественно держалась на его плечах. Оказалось, что на портрете Николая I замазали голову покойного императора и пририсовали голову Александра II.

Выслушав эту притчу, Бакунин кисло улыбнулся и сказал, что переименование стихов полезно для революции.

Стихи с новым посвящением, прославляющим Нечаева, были изданы и распространены в России.

Гипнотическая сила Нечаева отскакивала от Герцена, как мяч от стены. Экзальтированность Нечаева на него не действовала. Слишком хорошо он знал эту породу. У него был печальный опыт — Натали Захарьина, Наталья Тучкова, Энгельсон, Кельсиев. Немного ему понадобилось времени, чтобы распознать основные черты в характере Нечаева — непомерное честолюбие, страсть главенствовать — этот человек с неудержимой силой рвался в вожаки. И второе: полная аморальность, все позволено, если это полезно для революции, а полезно ли — решает он сам.

Неприятно поражала Герцена и неинтеллигентность Нечаева, вернее — полуинтеллигентность, что еще хуже. В сущности, Нечаев ненавидел интеллигенцию. Сила ха-

рактера, волевая натура соединились в нем с комплексом неполноценности. Из этого теста формируются деспоты. Когда им повезет, они вскарабкиваются на трон, и тогда горе народу.

Понадобился целый ряд неблаговидных поступков Нечаева, чтобы у Бакунина наконец открылись на него глаза. Предприимчивость «беспардонного юноши» вызвала возмущение даже у него, не слишком церемонного в вопросах морали. Одно дело разбой как теоретический тезис, другое дело, когда с тебя живьем сдирают шкуру.

«Способ действия его отвратительный,— признавался с горечью Бакунин,— он похитил наши письма, он нас страшно скомпрометировал, одним словом, он вел себя, как негодяй...»

— Но кто он, в конце концов, такой, этот ваш экс-любимец? — спросил Герцен.

Огарев пожал плечами:

— Одним он говорил, что он сын мещанина, другим — что сын священника.

— Думаю,— заметил Герцен,— что справедливо второе. В Нечаеве есть что-то протопопоаввакумовское.

— Что ж, поповское сословие дает немало славных революционеров.

— Да...— задумчиво молвил Герцен.— Что-то есть в служении богу такое, что отвращает от него мыслящих людей и зарождает в них протест против владык небесных и земных.

— Во всяком случае,— сказал Огарев,— хорошо, что Нечаев не дворянин, а разночинец.

И с некоторой опаской посмотрев на Герцена, заговорил быстро, боясь, чтобы Герцен не перебил его:

— Справедливо говорит Бакунин, что Маркс искусственно раздувает значение рабочего класса. Есть в обществе более революционные силы...

Герцен устало вздохнул. Снова он услышал в негром-

ком голосе Огарева эхо бакунинского громыхания. Потом принялся терпеливо втолковывать ему:

— Присмотрелся бы ты, Ник, получше к тем, кто идет за Бакуниным и его «Альянсом»: швейцарские кустари-часовщики. Их разоряет развитие крупного производства, и, растерянные и озлобленные, они кинулись в сногсшибательную любительскую болтовню Бакунина и Нечаева о блаженном царстве безвластия.

Огарев замотал головой:

— Нет, Александр, не зажмуривай глаза на действительность. В лице Нечаева подымается в России новый пласт людей, даже если он сам из попов. А это вполне возможно, ибо он преподавал в питерском Сергиевском приходском училище закон божий.

Герцен захохотал:

— Это все равно, что поручить преподавание закона божьего сатане!..

Их было всего четыре письма «К старому товарищу». Эти восемнадцать страниц Герцен писал более полугода. Не все сразу, конечно. И не только их. Но они дались ему ценой длительных раздумий над ходом современной ему истории.

Адресат — Бакунин. Но был у этих писем Герцена еще один адресат: он сам. Это в некотором роде исповедь — нет, не нравственная, а, так сказать, философски-историческая, отчет, что ли, самому себе в некоторых решительных переменах, происшедших в сознании. Сам-то Герцен называл их как будто и не очень серьезно: то «дельные и едкие письма», то «премеморий». Но это его façon de parler[1]. Дочь его Лиза читала параллельно «Записки» Мейзенбуг и «Былое и думы». Вот ее «рецензия»:

[1] — манера выражаться *(фр.)*.

«Твои мемуары лучше, потому что ты все весело рассказываешь».

Право, эти непосредственные слова девочки обрадовали Герцена, пожалуй, не меньше, чем давний отзыв Грановского, назвавшего его «великим писателем». Да, великий, но и «веселый», то есть легкий и глубокий. Его слово веско и жизнерадостно. В нем пульсируют ум и энергия.

Бакунин прочел в рукописи Первое письмо (в своем раннем варианте оно называлось «Между старичками»). По словам Огарева, оно Бакунину понравилось, но он просил не публиковать его. В том, что оно так уж понравилось ему, можно усомниться — почему же он в таком случае возражает против его публикации? Не потому ли, что Герцен восстает против бакунинской тактики насилия? Не потому ли, что приравнивает социальные идеалы Бакунина к «каторжному равенству Бабефа» и «коммунистической барщине Кабе»? «Из нашего мира не сделаешь,— восклицает Герцен,— ни Спарту, ни бенедиктинский монастырь».

Второе письмо еще категоричнее. Оно начинается с похвалы «международным работничьим съездам», то есть конгрессу I Интернационала, основанного Марксом:

«Работники, соединяясь между собой... составляют первую сеть и первый всход будущего экономического устройства...»

Нередко в жизнеописаниях Герцена отмечают со вздохом сожаления, что он повернулся лицом к I Интернационалу только под самый конец своей жизни. Или: «Герцен признал огромную роль I Интернационала накануне своей смерти». И так далее. Это выглядит так, словно Герцен знал, что умирает, и принялся спешно спасать свою душу, приняв отпущение своих либеральных грехов и причастившись к святым дарам марксизма.

Пятидесятивосьмилетний Герцен отнюдь не предвидел своего близкого конца. Во всяком случае можно со значительной долей вероятия допустить, что после того,

как политическая мысль Герцена нащупала истинный ход общественного развития, она в своем дальнейшем логическом росте могла привести его в стан Маркса.

Разумеется, Бакунину пришелся не по вкусу этот новый поворот в убеждениях Герцена. И Герцен прямо говорит об этом Огареву не без тайной мысли воздействовать и на него:

— Бакунин поссорился из самолюбия, он поссорился из-за того, что я с иронией смотрю на ложь его речей и расплывчатость его программы. Он на меня дуется, потому что я прав.

Спор со Старым товарищем продолжается в Третьем письме. В нем Герцен временами сливает в образе Старого товарища Бакунина и Огарева,— тогда, например, когда он говорит об их провинциализме:

«Маленькие города, тесные круги страшно портят глазомер. Ежедневно повторяя с своими одно и то же, естественно дойдешь до убеждения, что везде говорят одно и то же».

Это выражение о «порче глазомера» перелетело из Третьего письма «К старому товарищу», писанного в августе шестьдесят девятого года, в личное письмо Герцена к Огареву, писанное примерно через месяц:

«Ваше кенобитическое (то есть монастырское.— *Л. С.*) житье вредит глазомеру, и ты с Бакуниным в вашей истине — столько же далеки от истины прикладной, возможной — как были первые монахи христианства. Тут, может, лежит главная причина, почему следует жить в Париже».

Герцен усматривает в этом самоуговаривании Бакунина, да и Огарева, в этом распропагандировании самих себя слепое подчинение событиям. Он резко, как всегда, в острой, образной форме восстает против этой страдательной позиции:

«Быть страдательным орудием каких-то независимых

от нас сил — как дева, бог весть от кого зачавшая, нам не по росту».

И видит в этом соединение «дикого фанатизма и непочатого младенчества мысли».

И снова, как и в предыдущих письмах, обращается к образу рабочего движения:

«Самые массы, на которых лежит вся тяжесть быта, с своей македонской фалангой работников, ищут слова и понимания...»

В Четвертом, последнем, письме, как и в прежних, Герцен, не называя Бакунина по имени, выводит его в собирательном образе безымянного иконоборца. Какие же иконы сокрушает он? «Их усердие,— поясняет Герцен,— идет до гонения науки. Тут ум оставляет их окончательно».

Это прямо направлено против брошюры Бакунина «Постановка революционного вопроса», где он, между прочим, ниспровергает и науку:

«Не хлопочите о науке, во имя которой хотели бы вас связать и обессилить. Эта наука должна погибнуть вместе с миром, которого она есть выражение...»

Как ребенку, с трогательным терпением (на дне которого трепещет ирония) Герцен втолковывает Старому товарищу:

«Наука — сила, она раскрывает отношения вещей, их законы и взаимодействия... Механика равно служит для постройки железных дорог и всяких пушек и мониторов... Дикие призывы к тому, чтоб закрыть книгу, оставить науку идти на какой-то бессмысленный бой разрушения, принадлежат к самой неистовой демагогии и к самой вредной...»

По Европе в тот год вояжировал литератор Петр Дмитриевич Боборыкин. Он давно уже понравился Герцену своей живостью и не понравился тем, что был, по словам Герцена, «немного офранцужен». Это было больное место Герцена. Он видел, как его дети становятся иностранца-

ми. Да и вообще, зрелище людей, теряющих свою русскую первородность, отдавалось в нем болью. Наблюдательный и схватчивый Боборыкин запечатлел в своих записках живые черты современников Герцена в тот переломный для него период:

«Герцен признает Маркса великим инициатором в борьбе пролетариев с капиталистическим строем... Он ставит в великую заслугу Маркса создание Международного Союза рабочих...»

Таковы были эти замечательные четыре письма «К старому товарищу», о которых Ленин сказал, что, «разрывая с Бакуниным, Герцен обратил свои взоры не к либерализму, а к *Интернационалу*, к тому Интернационалу, которым руководил Маркс,— к тому Интернационалу, который начал *«собирать полки»* пролетариата, объединять *«мир рабочий»*, «покидающий мир пользующихся без работы»!»

## *Зову живых!*

> Нельзя сказать, что он умер, ибо в нем заключалась жизнь целого народа; и этот народ мы будем в нем находить все более и более.
>
> *АДЕЛЬ МИШЛЕ*

У Всегдаева слетело с носа пенсне — так оживленно он мотал головой, рассказывая о своих впечатлениях о Базельском конгрессе. Он бросился подымать, но Герцен опередил его. Садясь на корточки, он заметил, что опускается на растопыренных ногах, как это делают старики. Это неприятно поразило его. Он даже пытался оправдаться перед Всегдаевым, словно он совершил какую-то неловкость.

— Вот засидишься,— сказал он, вручая ему пенсне,— мышцы немеют, суставы сохнут, наступают застойные явления.

Он усмехнулся и добавил несколько удивленному этой сентенцией гостю:

— В жизни общества тоже бывают застойные явления.

— Но нам, социалистам, известен рецепт против этого — революция,— сказал Всегдаев, скромно улыбаясь.

— Ах, вы социалист? — искренне изумился Герцен.— Вот не ожидал.

Тут же подумав, что это может прозвучать обидным для Всегдаева, сказал, стараясь резкость своих слов умерить мягкостью тона:

— Друг мой, сказать: «Я социалист» — это еще ничего не значит. Это не дефинитивно, то есть не определительно. Какого рода вы социалист? Прудоновского толка? Марксова? Фурьерист ли вы? А может быть, придерживаетесь бакунинской ереси, не к ночи будь упомянута? Ветви социализма, его оттенки многочисленны. Я назвал только несколько. Социализм отнюдь не монолит, по нему вьются трещины.

В последнее время Герцен не раз повторял: «Я стар». Но это было несерьезно, скорее — кокетство. Он всегда щеголял физической крепостью. Когда ему сделали маленькую операцию в носу, он сказал Тате:

— Для меня странно иметь болезнь — слишком глупо.

Почему-то перед своими детьми ему особенно хотелось казаться молодым.

— Если бы не моя деятельность,— сказал он сыну,— не постоянное напряженное занятие, состарился бы я...

А сейчас... Он с отвращением оглядывал свое вянущее тело. Да, с некоторого времени... А между тем, несмотря ни на что, он ощущал в себе юность где-то совсем близко. Ему все казалось, что он может окунуть в нее руку — и она вернется к нему упругой, розовой, вместо той костистой деревяшки, какой она становилась сейчас. Он вспомнил того старого поляка, который когда-то сказал ему:

— Порядочный человек приобретает годы, но он не стареет.

Ну, а как обстоит дело с психикой, с духом? Он начал мысленно перебирать свой домашний обиход. Он заметил, что стал приписывать вещам волю. Притом злую. Конечно, это была игра для себя. Так он разряжал свое дурное настроение. Он включал непокорные вещи в число своих врагов за непослушание. Он их казнил. И не раскаивался в этом. Ах, проклятый стакан, ты не повинуешься мне, ты выскальзываешь из рук, так я уничтожу тебя! Уж лучше срывать свое раздражение на вещах, чем на людях.

Сказать по правде, он, конечно, баловень. Есть, есть это. Бытовых неудобств он не выносит. Чего стоит один только обряд приготовления ко сну. Он так тщателен, так прихотлив, что малейшее нарушение, при его любви к порядку, воспринималось им как хаос. Яковлевская черта, отцовская привередливость вдруг проступила в нем. Он с испугом подумал: «Я становлюсь похож на своего отца... Да, я становлюсь несносен, ворчлив...»

Взять хотя бы эту историю со сливками.

Наталья Алексеевна с видом мученицы, по которой сладостна эта жертва, наливает в чай всем сливки — Лизе, Тате, Герцену.

Лиза:

— Мама, опять ты себя обижаешь, все нам, себе ничего.

Герцен опускает газету, обводит взглядом стол, лицо его принимает раздраженное и мучительное выражение. Он восклицает, переходя с баса на пискливый тон и обратно:

— Натали, не мучай меня! Ты что это надумала? Почему ты терзаешь меня такой дребеденью?

Натали:

— Бог с тобой, это смешно,— из-за чего? Ну, возьму, возьму сливок.

Герцен:

— Господи... Что это со мной... Старею... Нервы никуда... Стыдно тебе, Натали, подчеркивать свое самопожертвование...

И он внезапно хватает кувшинчик и выбухивает все сливки в чай Натали.

Тата и Лиза аплодируют. Герцен, очень довольный, победоносно хохочет.

Огарев, спокойствие и ровность характера которого ничто не могло нарушить, счел нужным предупредить друга:

— Я с горем смотрю на возрастание твоей нервности. Я вижу этому несколько причин: и неладные отношения с Натали, и падение популярности «Колокола», и расхождение с «Молодой Россией». Ты страдаешь всем — и современной нелепостью, и подлостью властей, и бедностью мира молодого поколения.

Герцен кивал головой и грустно оправдывался:

— Я, как каждый человек, имею лицевую сторону и изнанку...

Была, впрочем, еще одна немаловажная причина, но о ней никто не знал — ни сам Герцен, ни кто другой: развивавшаяся у него болезнь — диабет, уловленный непоспевающей медициной много времени спустя. «Как крепок я был в молодости! Тогда я жил в согласии со своим организмом. Теперь между нами раздоры: нагнешься — колет в пояснице, идешь по лестнице — ноют колени, повернешь голову — боль в шее... Как не раздражаться!..»

Герцен заставлял себя гулять. Откровенно говоря, не хотелось. Но он брал себя за шиворот и вытаскивал на улицу. Как няня ребенка, он прогуливал свой организм. Подтрунивая над собой, он называл это «тюремная прогулка».

И вдруг он бросился в скитания. Он метался по Европе, как Наполеон в период Ста дней: Женева, Мар-

сель, Париж, Люцерн, Берн, Цюрих, Милан, Турин, Венеция...

— Есть люди,— сказал он Огареву,— предпочитающие отъезжать внутренне при помощи опиума или алкоголя... Я предпочитаю передвижение всего тела. Я спасаюсь легкой и поверхностной удободвижимостью, которая развлекает, да работой, которая занимает...

Эти два «островка спасения» — работа и метания — отпечатлелись великолепными заключительными главами «Былого и дум». Герцен отнюдь не полагал их завершающими. Но они такими получились стихийно. Да, они оборваны. Но ведь и жизнь так обрывается. Это еще более усиливает сходство «Былого и дум» с жизнью. Хоть они и оборваны — эти последние страницы, но это — подведение итогов. Здесь больше дум, чем былого.

Семнадцать лет создавалась эта удивительная книга. Действие ее тогда и теперь — обжигающее. Потрясенный этим современный Герцену рецензент писал:

«...Стремительный, торопливый, гневный и пламенный стиль Герцена, делающий правдоподобным слух о том, что автор родился во время московского пожара».

Благодаря этому «Былое и думы» со всеми своими трагедиями и смертями — жизнеутверждающее произведение, ураган оптимизма, даже в самой своей словесной плоти это легкие души.

Отрадно восхищение, но и наивно удивление, с которым иные зарубежные рецензенты отмечали «русские достоинства Герцена», который «наделен всеми свойствами, отличающими русский ум,— проницательностью, глубиной анализа, живостью мысли, гибкостью и выразительностью, блестящей остротой сарказма».

В этот январский день в Париже шел мокрый снег с ветром. Как домашние ни уговаривали Герцена, он закутал шею толстым шарфом и побежал на митинг протеста против убийства принцем Бонапартом журналиста Нуара.

Вернулся с ломотой в теле и болью в боку и груди. Даже ложиться не хотел, считал это ерундой.

Все-таки Тата и Натали заставили его лечь в постель и вызвали доктора, знаменитого Шарко. Он тотчас установил воспаление легких.

Герцен нацарапал несколько строк в письме Таты к Огареву:

«Умора да и только — кажется, дни в два пройдет главное. Прощай».

Не проходило...

Временами на него нападало легкое забытье. Болезненная истома разливалась по телу. Ему казалось, что все маленькие лаборатории и мастерские, встроенные в человека и работающие всегда бесшумно, вдруг в нем возмутились, подняли голос, вопят...

Он очнулся. Зазвенело в правом ухе. «Я знаю, кто это рвется ко мне...» Тоненький голосок пел в ухе: «Это я, склероз...» И вот наконец благостная путаница в голове, преддверие сна... И одно и то же лицо стало появляться на маленьких экранах, коими являются изнанки прикрытых век,— Натали, но не эта, а та...

Постепенно он стал удаляться в мир неясных ощущений. Все они нанизывались на стержень мыслей о конце.

Один раз он очнулся и сказал совершенно явственно:

— Врачи все делают вздор...

Ему еще хотелось сказать, что это очень странно из существа превратиться в вещество. Но у него не было сил для слов.

Шарко приходил два раза в день. Герцен к его приходу силился казаться здоровым. Ему мнилось, что если он обманет врача, то обманет и самую болезнь.

У него появились странные желания. То он приказывал завесить зеркало. То требовал, чтобы ему приготовили рябчика. То ему казалось, что он едет в омнибусе. То он принимался сооружать из одеяла шляпу, чтобы куда-то уйти.

Потом в изнеможении падал на подушки.

Внезапно к нему возвращалось ясное сознание. Как звали ту женщину, которую он отговорил кончать жизнь самоубийством? Он ей сказал: «Жизнь — вещь случайная, дайте ей случайно кончиться». И она осталась жить. Да, пусть конец придет так же случайно и бессмысленно, как начало... Вот бы сейчас Грановского сюда! Он, как поп, утешал бы меня сказочками о загробной жизни...

Потом ему почему-то вспомнилось язвительное замечание о нем, о «Колоколе», брошенное вскользь кем-то, он даже не помнил кем:

«Издали браниться нетрудно...»

Ах, как это его ударило, как это его ранило, даже сейчас, когда все ему в общем все равно...

«Оставьте нас в нашей опале,— подумалось ему,— быть в опале у царизма не беда еще...»

Он лежал с закрытыми глазами. Но зрение не бездействовало. Сейчас он видел нечто сплошное белое. Ах, это та комната в Ницце!

Стены обтянуты белым, ведь белое, как и черное,— цвет траура. А к нему цветы, красно-желтый гераниум. И если потянуть носом, можно ощутить их запах. Вот он! Как электрический удар. И ее лоб, холодный лоб...

Он вспомнил все. И боль пронзила его сердце так сильно, что он удивился тому, что она так сильна. Он удивился живучести боли и подумал: «Пожалуй, это единственное живое, что во мне еще есть...»

Он вдруг встал с постели, как это иногда делают люди в предсмертную минуту, губы его беззвучно шевелились, а ему показалось, что он произнес внятно и звучно:

— Не забывайте меня...

Рухнул на постель. И его не стало.

Разве можно забыть его...

## *Содержание*


Дело у Синего моста 3
Ребяческий сон души 7
У Никитских ворот 11
Добрые мечтания 19
Кучка бессильных 24
«Кто виноват?» 33
Наташа — Natalie 38
Развитое меньшинство 44
Муза доноса 61
«Для лечения легких жены...» 73
Харя мещанства 80
Чтения 87
1848-й 97
Истина по наследству 112
Маццини. Прудон 117
Под бормотание колес... 131
Завязка 141
Дремлющий Везувий 149
Любовь небесная и земная 153
Мартовские иды Герцена 166
Экзальтация 173
Акварель 181
Новый год 186
Логический роман 199
Напрямик! 206
Видения 223
Старый неверный друг 230
Мощь и немощь русской интеллигенции 239
Катастрофы 248
My dream 258
Раскрепощенное слово 267
Если предположить, что... 279
Огарев 291
«Колокол» — рождение 312
«Колокол» — расцвет 322
Умеренность или подлость? 330
Собратья 337
Архимедова точка 348
В сумерки 361
«Концы и начала» 371
Неосторожность 383
«Колокол» на изломе 398
Честь имени русского 414
Недоразумения или трагедия? 431
Четыре письма 439
Зову живых! 456

**Славин Л. И.**

С47 Ударивший в колокол: Повесть об Александре Герцене.— 2-е изд.— М.: Политиздат, 1983.— 463 с., ил.— (Пламенные революционеры).

С $\frac{0505010000-066}{079(02)-83}$ 269—83

84Р7+87.3(2)
Р2+1ФС

ЛЕВ ИСАЕВИЧ СЛАВИН

**УДАРИВШИЙ В КОЛОКОЛ**

ПОВЕСТЬ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ГЕРЦЕНЕ

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *Г. Е. Щербакова*
Художник *Л. Д. Бирюков*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Н. П. Межерицкая*

ИБ № 3748

Подписано в печать с матриц 15.12.82. А 00220.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая.
Условн. печ. л. 20,91. Условн. кр.-отт. 24,76. Учетно-изд. л. 20,96.
Тираж 300 000 (1—200 000) экз. Заказ № 466. Цена 1 р. 60 к.

Политиздат. 125811, ГСП,
Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Набрано и сматрицировано
в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.

Отпечатано с матриц
в типографии изд-ва «Уральский рабочий»,
г. Свердловск, пр. Ленина, 49.

ЛЕВ СЛАВИН

УДАРИВШИЙ
В КОЛОКОЛ